

№18(928) · 1981

РОМАН-
ГАЗЕТА

ISSN 0131-6044



ИВАН ШАМЯКИН

ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ

ИВАН ШАМЯКИН

Имя Героя Социалистического Труда народного писателя Белоруссии Ивана Петровича Шамякина хорошо известно читателям «Роман-газеты»: многие его произведения были опубликованы на ее страницах¹.

Родился писатель в 1921 году в деревне Корма Гомельской области, в крестьянской семье. С 1940 года служил в Красной Армии, суровыми военными дорогами прошел от Мурманска и Карелии до самой Германии — участвовал в боях на Одере. После войны учительствовал, одновременно учась заочно в Гомельском педагогическом институте.

Уже одно из первых произведений Шамякина — роман «Глубокое течение» (1949) — получило широкое общественное признание: писатель был удостоен Государственной премии СССР. В 60-е годы дважды (за книги «Сердце на ладони» и «Тревожное счастье») ему была присуждена Государственная премия БССР имени Я. Коласа.

Тема Великой Отечественной войны — ведущая в творчестве писателя. Диапазон художественного исследования народной жизни в его произведениях очень широк. Шамякин пишет об архитекторах и врачах, сельских механизаторах и партийных руководителях. Его произведения завоевали популярность актуальностью поставленных проблем, остро-драматическим построением сюжета, жизненной достоверностью характеров наших современников.

Повести «Первый генерал», «Бронепоезд «Товарищ Ленин» и другие произведения заняли видное место в советской многонациональной Лениниане.

Шамякин известен также как драматург, он является автором ряда сценариев по своим произведениям. Его романы и повести переведены на многие языки мира.

Многогранна общественная и политическая деятельность Шамякина. Он является депутатом Верховного Совета СССР, членом Центрального Комитета Компартии Белоруссии, Председателем Верховного Совета республики.

¹ «Криницы» («РГ», 1957, №№ 18—19), «Сердце на ладони» («РГ», 1964, №№ 10—11), «Снежные зимы» («РГ», 1971, №№ 5—6), «Первый генерал», «Бронепоезд «Товарищ Ленин» («РГ», 1972, № 8), «Атланты и кариаиды» («РГ», 1975, №№ 19—20), «Торговка и поэт», «Брачная ночь» («РГ», 1977, № 9).

РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927г.

№18(928)
1981

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР
МОСКВА

ИВАН ШАМЯКИН ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ

Роман

*Авторизованный перевод с белорусского
Т. СМОЛЯНСКОЙ и Т. ШАМЯКИНОЙ*

Кончали жатву.

Убирали ячмень в Козинном урочище — на ста гектарах осушенного торфяника. Про ячмень этот говорили в селе с усмешкой: подвел он и науку агрономическую, и начальство, которое требовало сеять как можно раньше. Майские заморозки опалили всходы, и весь клин на торфяниках пересевали, несмотря на невеселые прогнозы главного агронома. Ячмень, однако, вырос отменный, намолачивали по сорок пять центнеров. Но, загущенный, он полег, и косить поэтому пришлось трудно. Составленный плановиками график трещал и рвался.

Комбайнеры над графиком посмеивались, потому что смеялась над ним и сама природа: то полегло все там, где переудобрили, то вдруг дождик... Чего только не бывает на земле, под открытым небом, не то что под заводской крышей на конвейере. Но люди, составлявшие графики, невольно начинали думать и жить по этим графикам. Еще накануне телефонные провода понесли

весть: на следующий день до обеда в совхозе «Добранский» все зерно будет на току.

Хорошая новость, высоко взлетает. Она тут же долетела до области. Управление сельского хозяйства и облсовпроф решили немедленно отметить победителей и премии вручить, не откладывая, прямо на поле, как только обмолят последний гектар.

Астапович после звонка из области о приезде гостей вызвал с поля по рации главного агронома Виктора Кузю, а профсоюзному лидеру Якову Качанку просто постучал в стенку. С улыбкой, как всегда, пожалуй, когда возникали острые ситуации, осведомился:

— Кто давал сводку?

— Оперативность... — начал было Качанок, надеясь угодить.

— Ну, раз вы такие оперативные, — перебил его Астапович, — и выкручивайтесь сами. А я на комплекс. — Кузя увидел, как под седыми бровями в глазах директора сверкнули веселые чертики. И его, богатыря, тяжелоатлета, даже пот прошиб.

«Выкручивайтесь». Ему-то что, Астаповичу. Персона, величина, член обкома. И возраст пенсионный. А он, Кузя, только без году неделя глав-

ный. Его карьера только-только в гору пошла. Тут можешь так «крутануться», что и на ногах не удержишься.

Виктору, конечно, очень бы хотелось и жить, и работать «по закону». Но должность главного вынуждала подчас вступать в сговор с собственной совестью. И он томился этим, корил себя. Астапович и привлекал Кузю размахом своим, смелостью решений, но, случалось, и выводил из себя таким вот «выкручивайтесь». Не однажды казалось, что, набрав в помощники себе молодых, директор обходится с ними по старинке: столкнет в бурную реку жизни, а сам стоит себе на бережку и, усмехаясь, поглядывает, кто выплывает, а кто пузыри пустит. Увидит, что слабак, что закрутило тебя, и руки не протянет: значит, не умешь, не за свое взялся. Молодой агроном опасался, что и он может когда-нибудь очутиться в таком вот омуте и не вынырнуть. Астапович не поможет.

— Выкрутимся, Федор Тимофеевич! Не в таких переплетках бывали,— весело крикнул Качанок. И Кузя позавидовал оптимизму Рабочкома.

Ехали в Козино на мотоцикле. Агроном гнал, будто на пожар. Особенно страшной казалась такая скорость на лесной дороге. У Качанка все заохлодело внутри: разобьет ведь, чертов сын!

В совхозе давно уже подтрунивали: как только покрышки выдерживают Кузю? А тут еще на заднем сиденье Качанок, хоть и не рослый, но порядком округлившийся на высоких должностях... И впрямь кочанок. От Рабочкома несло луком, и Кузе, вообще-то считавшему себя человеком от земли, агрономом не только по образованию, но самой природе своей, впервые неприятен был этот «земной» дух. Может, и газоваз так, чтобы на большой скорости запах лука относил назад, подалее.

Виктор злился на Астаповича, на Качанка, нервничал. Хотя, по здравому размышлению, его лично не так уж должно тревожить, что ячмень в Козино не весь убрал, а премия на подходе: не он торопился послышать сведения. И вообще к чему страх нагонять? Уборка прошла хорошо, комбайнеры, слов нет, заслуживают награды. Не скопили вчера до конца все, докосят завтра. Беда невелика. Другого опасался. Сеяли они ячмень на мелких торфяниках, там, где делать это по инструкции не положено. Он, Кузя, возражал, но Астапович выслушал его ученые выкладки, даже приказал особое мнение агронома в протокол занести, но сеять распорядился по-своему. А вдруг заявятся вручать премии кто-либо из стражей инструкции, у них глаз острый, наметанный, и, хотя урожай отличный собрали, подкинут при случае начальству фактик о самовольстве. Кто там, интересно, в области такой романтик выискался, кто додумался премии вручать в поле? Куда солиднее сделать это вечером в клубе, под духовой оркестр. На такое народ собрался бы, такие спектакли любят.

— Как будем выкручиваться, Яков Матвеевич? — сбросив газ, крикнул Виктор.

Качанок, ухвативший короткими руками зловяка агронома под мышки, чтобы не свалиться, прижался крепче к его горячей спине и гаркнул в самое ухо:

— Хе, не бедей! Перегоним комбайны в Галое. Там косили вчера, солома лежит еще...

Кузя резко затормозил, брезгливо отвел руки Качанка, раздражавшие его, как и запах лука.

— Да вы что? На три-четыре часа остановить уборку? И в такой-то день! Не забывайте, Батрак там. Он нас так распушит за показуху! Распечет, и не только у себя на собрании, на районную трибуну вытащит.

— Не бойся. И на батрака найдем кулака,— хохотнул неунывающий Качанок.

Иван Батрак был героем жатвы. И не первый год. В прошлом году за рекордный намолот он получил орден. Прошлогодня, да и нынешняя жатва принесла Ивану особую радость. Подросток Корней, стал водить и комбайн, и грузовик. Получился у них вроде бы свой, семейный экипаж. Не нужно теперь отдавать машину какому-нибудь там неумехе, если надо пересесть на комбайн. Сын есть сын. Это половина тебя. Отец знал, где и когда можно доверить комбайн парню, а самому отвозить зерно на ток. В другой раз Корней садился за баранку, а Иван убирал пшеницу или ячмень. Но больше всего почитали в совхозе Батрака за то, что машины его, далеко не новые, никогда не простанвали, будто и не изнашивались они, ничего не ломалось в них, не портилось. Член партбюро, признанный глава транспортно-уборочной бригады, применяет на уборке передовые методы. Одно это уже как звучало и в районе, и в газетах! Правда, начальник из Ивана пикудышный. Не любит, не умеет человек командовать, приказы отдавать. Но Астапович был спокоен, знал — там, где Батрак, даже самому завзятому лентяю не придет в голову отлынивать, прохладжаться в тебечке под березками или развалиться на берегу озера. Да и как тут посачкуешь, если рядом такие работяги — и отец, и сын. Подросток, школьник еще, а вкалывает на уборке дай бог! От росы до росы.

Иван выбирал для своего комбайна участки потруднее, чтобы никто не упрекнул бригадира. А главное, отдаленные. И Корнею полгече так. Странноватый был парень, несовременный, как считала его сестра Валя. В десятый класс перешел, а застенчивый, как девчонка. Даже есть при чужих стесняется, по нужде за километр бегаёт. А механизаторы в бригаде как на подбор, зубоскалы все, не пропустят перекура, чтобы не окопфудить парня, не подначить. Особенно допекает Федька Щерба, известный на всю округу пасмешник, балагур, который, сдается, ничего всерьез не

принимает — ни жену, ни детей, ни начальство самое что ни на есть высокое. Щерба — его настоящая фамилия, и дед, и отец были Щербями, но он словно нарочно такой вышел, словно загрипировал себя под фамилию свою: щербатый, конопатый, широколицый... «Не морда, а скворода с дырками», — подшучивал над собой Федор.

Соберутся комбайнеры у заправки, отойдут подальше от бензина покурить, прилягут на опушке, начнут лясы точить. Как всегда, о политике разговор обязательно зайдет. В международных делах Корней — дока: девять классов окончил и транзистор всегда при нем.

Приятно мальчишке, что взрослые мужики и отец слушают его, хотя и не всегда соглашаются. У них более прямое, категоричное суждение о событиях. Но тут Корней горой встанет — свое мнение защитит. В такие минуты у Ивана даже в горле першит от гордости. Молодчага сын, про Зимбабве так все объяснит, будто только вчера оттуда! Но больших порций политики механизаторы не принимают, да и задевает, видно, что паренек в споре загоняет их в угол.

— В общем, Смиут этому колечатый вал в... и прокрутить хорошенько, — закругляет дискусию грубоватый Василь Бойко. — Давай, Федька, веселое что-нибудь.

Рыжая физиономия Щербы тут, в поле, напоминает не сквородку, а подсолнух с выщипанными сверху лепестками — под замусоленной плоской кепочкой всю расцвели на лице и ушах веснушки.

— Браточек ты мой, а что под солнцем таким можно веселое придумать? Веселое, под луной оно. Вот вчера не спалось мне. Вышел я в свои кущи райские, в свой всякий сад с дорогой моей королевой Любой...

Сад у Щербы заросший, запущенный, с женой никогда и никуда он вместе не ходит, поэтому смех возникает мгновенно.

— Райские яблочки свисают... Луна всю светит. Соловьи разбиваются.

— Не трепись зря. Где они сейчас, соловьи?

— А что? Разве нет? А-а, ребята! Это мне Нюрка Проколова соловьем показалась. Слышу, ее голосок так и звенит за кустом смородиновым. «Хи-хи-хи, ха-ха-ха... Ай-я-яй, Корнейка, не трогай ты мои груши... Не поспели еще». Сижу я, соломинкой мясо из зубов выковыриваю, — механизаторы опять смеются: зубов у Щербы совсем почти не осталось. — Люба на ужин курицу зажарила. — Тут уже все грохочут, знают в совхозе о Любиной скупости. — И думаю про себя: «Какой же это Корней до Нюркиных груш добрался?» А Корнея у нас два. Дед Корней Маслак. Только ему до тех груш не дотянуться уже, руки дрожат. Неужели ты, Корней?! — глаза у Щербы круглеют от удивления.

Парень, не сразу смекнув, что к чему, отбивается:

— На черта мне те Прокоповы груши! Я и своих не ем.

Комбайнеры от хохота аж катаются по колючей стерне. Только тогда молодой Батрак догадывается, что за «груши» имеет в виду Федька, и краснеет от макушки до пят. Ему хочется вскочить и бежать в березняк или укрыться в пшенице. Но боится сдвинуться с места, знает, что вслед полетят шуточки посолонее.

Выручает, как всегда, отец:

— Яков! Так ты и не отрегулировал сито? Сеет зерно твой комбайн.

— Ты что, Иван! Трижды переставлял. Откуда ему сыпаться?

— Пошли проверим.

Корней смущенно прячет глаза даже от отца, хотя тот не раз внушал: «На шуточки не обижайся, сын. Если люди смеются, это хорошо, это от доброты. От злости не так смеются. Да и пора тебе уже взрослеть, мужчиной становиться».

Ивана тревожит, что сын такой конфузливый, робкий. Дочке бы к лицу это больше пристало. Так нет же, наоборот.

Парень сам страдает от своего характера, понимает, что действительно пора вести себя по-мужски. Многие из друзей его, одноклассники и приятели пьют уже, и к «грушам» тем самым не боятся притронуться. Девчата и те сейчас побойчее. Нюрке, например, этой, о которой он часто думает то со злостью, то с каким-то странным трепетом, все нипочем. Они вместе ходили в школу, но после восьмого класса девушка на ферму устроилась, через год стала оператором. И не оставляет его в покое. Идет мимо дома их и может крикнуть на всю улицу, при всем народе: «Корней! Когда свататься придешь?»

И все прочат ему в невесты эту Нюрку бесстыжую.

Комбайн Батрака и на этот раз убирал отдельно, за осушительным каналом, где ячмень вырос — пятьдесят центнеров с гектара, но и полег сильно. На комбайне Корней с помощником — одноклассником Володей Качанком. Отец отвозит зерно на ток. Горячая работенка: не успеет вернуться, как бункеры опять до краев забиты. И дорога с болота нелегкая, мостик через канал ненадежный. Какой ни умелый теперь Корней, а все же опыт не тот еще, чего доброго, посадит машину, покукуешь тогда. На такой дороге и зерно можно потерять, вытрясти, подскакивает кузов на выбоинах, на корневищах.

Качанок и Кузя присхали на участок, когда Иван уже повез зерно на ток. Разминулись с ним. Рабочком поговорил с комбайнерами, по-простому, по-свойски, без дипломатии. В этом-то, подумал Кузя, наверно, и есть его талант организатора, а вот он, главный агроном, не научился еще, не умеет так сходитьсь с людьми,

— Премию получить нужно, имеем право,— объяснял Качанок.— работали по-ударному. Дураками будем, если откажемся. Кто может отказаться от областной премии? Это же на всю область слава. Но показывать начальству, что осталось кое-где еще гектары нескошенные, не стоит, ни к чему.

Комбайнеры посмеялись вдоволь над теми, кто передает сводки. А Кузе смешки эти — щелчок по носу. В дурацком положении они, руководители, оказались перед рабочими. Втихую давал зарок себе: сделать все, чтобы покончить с любой показухой раз и навсегда. Яков Матвеевич вместе с комбайнерами потешался над сводкой, хотя Кузя и догадывался, что не кто иной, а именно Качанок передал ее в район. Астапович сделал вид, что не знает об этом, не все и с его вершины видно. Но заставил Якова выкручиваться. А он-то, Кузя, при чем здесь?

Даже Качанок, решительный, самоуверенный, не отважился снять комбайны без Батрака. Если бы хоть помощников его не было, комсомольцев... А то эти батраковские выкорыши, чего доброго, в «Комсомольскую правду» настрочат. Влипнешь тогда, как муха в мед, в эту премию. Не для себя же стараешься, для людей — почернели вон за уборку от солнца и от пыли. У Щербы даже в десны его беззубые мякина вьелась, набилась в уши...

Иван долго не возвращался, так, во всяком случае, показалось тем, кто ожидал его. Комбайнеров это не заботило, после перекура они без всякой команды приступили к делу, чтоб быстрее оправдать неожиданную премию.

Качанок нервничал: из области могут прибыть раньше, чем он сумеет провести свой маневр хитроумный. Кузя тоже не терял времени даром — снова и снова разглядывал, изучал почву под стерней. И еще раз убедился, что Астапович, как всегда, прав. Можно на таких торфяниках зерновые сеять! Выступить бы с этим, с цифрами и фактами на высоком совецании. Представлял, как сходит он с трибуны под аплодисменты, слышит голоса: «А кто это такой?» — «Главный с «Добранского». Умеет старик подбирать кадры!»

Наконец машины вернулись. На одной из них напарник Батрака, молодой, только что из армии шофер. Случалось, что лихачил, и Батрак держал его пока при себе, переучивал солдата на земледельца.

Иван увидел начальство, подрулил, не выходя из кабины — каждая минута на счету! — с налета «приветствовал» Кузю с Качанком:

— Пропесочу я вас, начальники, на собрании. За мост. Говорил же! Докладную писал! Еду и дрожу. Застряну — черта с два сегодня кончим уборку. И комбайн второй боюсь отправлять за канал. Не знаю, осилим ли одной машиной. Больше, чем в других местах, полегло там.

— Это мелиораторам предьявляй счет, они в ответе,— не согласился Кузя.

— Мелиораторам что? Они сдали п с плеч долой, а вы приняли...

— Правильно,— поддержал Ивана Качанок, забираясь к нему в кабину.— Мостик мы подправим, никакая это не проблема.

— Когда? После уборки?

— Не на один же день мост требуется. Ерунда этот твой мостик. Есть дела поважнее. Так вот...

Батрак слушал нетерпеливо. Несколько раз включал скорость, готовый сорвать машину с места. Но Качанок клал тогда руку на баранку, а другую на плечо Иванова, останавливал его, доказывал: опоздать со сводкой — значит, умалить работу всего коллектива, поэтому лучше рапортовать с опережением, так и поступают умные, пока дураки ворон считают.

— А что премию твои ребята заслужили, тут и говорить нечего! Сам так считаешь.

Кузя стоял у машины, слушал эти уговоры Качанка, стыдился своего вынужденного участия в не очень-то чистом деле, но и отдавал должное Рабочкому: ловок убеждать, прямо родился агитатором!

Иван выключил газ. Сказал спокойно, мягко:

— Хреновиной занимаетесь вы, ребята. Не сниму я комбайны из-за вашей премии. Пускай Астапович мне прикажет...

Качанок знал, что Астапович такого приказа не даст. Он навалился на баранку, на руки Ивана, подозвал своего молчаливого спутника:

— Сергеевич! Полюбуйся на этого диктатора! Дай такому власть, ни с кем не посчитается, всех в бараний рог скрутит.

Иван включил зажигание и выжал педаль сцепления. Но Качанок не дал ему тронуться, заигналил, закричал:

— Пстой! С народом посоветуйся, как мы советовались. Послушай, что народ скажет. Никакой у тебя демократии.

Комбайны шли уже в их сторону.

Батрак незло выругался и вылез из кабины. Ничего плохого о народе — о своих друзьях-механизаторах — он не думал, люди работающие, честные, но хорошо знал, что ни Щерба, ни праведный, как сама совесть, Коржов, ни матерщинник Бойко, ни молодой Кунцевич от премии не откажутся и он может испортить отношения не только с начальством, но и с товарищами своими. Профессия приучила его в любой обстановке сохранять спокойствие. От премии только в кинофильмах отказываются. Конечно, если не заработали, другое дело. Да и жизнь... не в первый раз заставляет она чем-то поступиться. В конце концов, мелочь все это. Не было бы хуже. Заметив бегущего к нему Корнея, встревоженного необычным сигналом и внезапной остановкой у мостика, сказал с упреком:

— Перед сыном совестно... Так вашу...

Но рядом уже стоял Федька, физиономия его цвела, как подсолнух, зияли во рту щербины.

— Хе... Пацана твоего я сейчас налажу в лес за малиной. На закуску. У меня сегодня с утра нос чешется. Все думал: что будет? Или Люба поднесет дулю, или Катя чарку? Так чарка ж будет, браточки! Во нос! Все чует!

Качанок передвинулся в кабине на место водителя, оперся на баранку и, потешаясь над шуточками Щербы, ощущал себя победителем.

Подошел Корней. Щерба сказал ему:

— Вот что. Пока мы тут бункеры заполняем, дуй-ка в лес за малиной. Туда, я видел, Нюрка пошла, гляди, переспеют у нее груши.

Парень зарделся и ничего другого не придумал, как буркнуть:

— Вам только груши и снятся.

— Браточек ты мой, ей-богу же, снятся. И как еще!

Корней, обойдя машину, пошел в противоположную сторону, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих пустобрехов. Иван хмуро бросил:

— Испортите мне парня.

— Человеком сделаем, дурень! Где он рос у тебя? Чтобы в селе у шофера да акушёрки... такой недотепа вымахал! Ну хоть на выставку его. Нужно же в наш-то век! Революция во всем свете... как ее?

— Сексуальная,— подсказал вчерашний солдат Костя Малашенко.

— Во! Слышал? Солдаты и те знают. А твой учит эту... ну, скелет где... анатомию! А на титку взглянуть боится.

— Хлопцы! Премия близко,— перебил Щербу Качанок. — Нос и у меня чешется, как у Федора Фомича. Мешок с деньгами прибудет в Галое. Как бы не удивились товарищи из области: где это комбайны гуляют?

— А ты скажи, купали в Студеной. Работу кончили и — бултых вместе с комбайнами.

Кузю раздирали противоречивые чувства. Он и одобрял Качанка, и возмущался им. Умеет улетить, доказать людям. За это и держит его, видеть, Астапович. Батрака, которого все побаивались, нокаутировал одним махом, испытанным приемом: с народом посоветуйся! А «народу» подыграл, над начальством посмеялся, над самим собою, скомороха этого Щербу уважил — Федор Фомич, хотя обычно, как и все, иначе, чем Федькой, не называл. Трезвенник, не однажды яростовавший против пьянства, тут явно потрафил таким, как Щерба: обмыть премию! Все в ход пустил, всем мозги запудрил. А иначе как было выкрутиться? В жизни, дорогой Виктор, самые разные, оказывается, ситуации возникают. Неожиданные.

2

Тася привыкла, что и муж, и сын после работы возвращаются оживленные, веселые, и неуди-

вительно — люди хлеб убрали. Есть ли труд благороднее? Сравнить с ним она могла только одно — помочь родиться человеку.

В тот вечер Корней вернулся один, молчаливый, мрачный.

Мать сразу встревожилась:

— А отец где?

— Где? — хмыкнул Корней. — В «Бабьих следах».

Так называли чайную у шоссе, ее кляли на чем свет стоит и Щербова Люба, и другие бабы. Тася же к заведению этому относилась спокойно, хотя называла иронически чужим словом «кульдюм». Иван заглядывал туда редко и выпивал разве что кружку пива, когда привозили в бочке, свежее. Из бутылок не любил. Сама она по службе обязана была проверять санитарное состояние чайной, и заведующая дружила с ней.

— Кончили, убрались? — спросила Тася. Она вовсе не хотела, чтобы Иван откололся от друзей. Почему бы после таких трудов не пропустить по маленькой.

— Эти работнички до снега не уберут! — зло ответил Корней.

И она снова насторожилась: что это? Не поладил с отцом? Работали же все лето душа в душу. Иван не мог нахвалиться сыном. Поймав недоуменный взгляд матери, Корней пояснил:

— Полдня премию получали. А теперь обмывают.

— Где ее получали? В поле?

— Из области привезли.

— И большая премия? Сколько вам с отцом досталось?

— Не видел я их премии. Я хлеб на ток отвозил.

Ей непонятно было, почему сын так раздражен. Не иначе как опять донимали охальники, нашли над кем изгаляться. Нужно Любе сказать, чтоб угомонила своего трепача. А премия, наверно, стоящая, раз из области. Конечно, Иван получил больше всех, никто лучше, чем он, не работал, да еще вдвоем с сыном.

Батрак — хозяин бережливый, лишнего перебрал редко, во всяком случае, она никогда не боялась, что муж не донесет зарплату домой. Но и скупым люди его не считали, а жена тем более. Случалось, конечно, очень уж лихо замахивался, на всю катушку. Премия эту может всю просадить у Кати, всех будет угощать, кто только не забредет в кульдюм. Душа широкая.

Тасе жалко вдруг стало денег: нужны они ей сейчас больше, чем в дни их бедной молодости. И запросы другие, и расходы тоже другие.

— Сходил бы ты, сынок, за ним. А то не вам, сельпо достанется премия.

— Еще чего! Не пойду я! Пьяного Щербу не видал?

Не пойдет, это Тася твердо знала, сказала про-

сто так. И сама тоже не пойдет. Ни разу еще не унизила ни себя, ни его, Ивана, не то что ссорой — упреком на людях, ни разу не пыталась, даже когда выпьет, увести из компании. У нее своя гордость. Шляхетский, говорят, гонор. Ну и пусть шляхетский. Пусть «пані Туся». Завидуют ей не только деревенские бабы — и учительницы, и агрономши... А она совсем не жалеет, что не сбылись ее давние девичьи мечты...

Двадцать два года назад появилась в Добранке молоденькая акушерка, маленькая, прыткая. Мотылек из чужих краев. По тому времени не бедная, два чемодана нарядов привезла. Три раза на дню переодевалась. И летала по селам пестрой бабочкой, очаровывала непривычной яркостью красок, кружила голову парням. Из соседнего сельсовета приезжали на танцы, драки устраивали из-за нее с добранскими. А она то с одним на танцах появится, то с другим. С лесничим, только кончившим ленинградскую академию, с учителем, с летчиком, что на побывку приехал, со студентом киноинститута, будущим артистом... В каждом из таких женихов любая зубами вцепилась бы. А Тася...

Бабы сразу полюбили ее, оценили. В то первое послевоенное десятилетие детей родилось много, и она, хоть и только после училища, но дело свое знала, а главное, внимательная была, заботливая. Навещала женщин после родов чуть ли не ежедневно, каждого ребеночка патронировала. А потом осудили Тасю, из-за парней, пошла слава о ней недобрая. Сплетников хватало не только среди баб, но и среди тех, кто увивался за ней и кому она отставку дала. Правда, девчата защищали Таську: когда же и погулять ей, как не теперь? И дураков почему за нос не поводить?

А Тася все больше удивляла село. Подвез ее как-то из Селища от роженицы на тракторе Иван Батрак. И в тот же вечер в клубе она сама пригласила тракториста на польку. Иван, как и другие ребята, ходил на танцы, провожал девушек, но одной, определенной, той, которую могли бы назвать его нареченной, у него не было. К Тасе до этого дня он и подойти близко не решался. Пропахший мазутом, в сельповском грубошерстном костюме, и не мечтал даже, что такая красавица обратит на него внимание. Сам удивился, как это хватило смелости, догнав ее на лесной дороге, остановиться и предложить подвезти. Она усомнилась: «А не запылось я?»

«У меня есть мешок чистый, из-под огурцов. Накрою вас». Тася засмеялась, представила, как будет выглядеть под этим мешком. Достала из саквояжа беленький медицинский халат, надела и бодро взобралась на трактор. Прожив жизнь в бедности, Иван бережливый был, смугилась: не только запылит, измарает она вконец свой халат. К тому же в этом халате девушка казалась еще

более недоступной, далекой, как звезда. А она примостилась рядом и стала подробно рассказывать, что тут, в Селище, принимала роды, а потом на радостях вином угостили и у нее кружится голова, спать хочется. Ивана поразило, как Тася рассказывала о родах, о том, какое осложнение вышло и как удалось ей справиться с ним. Даже дыхание перехватило от странного, неизведанного восторга, счастья, что вот появился на свет новый человек и об этом можно говорить так, как говорит она. За получасовую их поездку Иван словно приобщился к великому таинству, которое наполнило его одинокую сиротскую жизнь каким-то особым смыслом. Поразило еще одно: Тася проехала с ним на тракторе по Добранке до самого медпункта, не сочла для себя неудобным. Прощаясь, он сказал огорченно: «Запачкали все-таки вы свой халатик». А она махнула рукой: «Все равно стирать пора». Иван не понял тогда, для чего это, ведь чистый еще совсем. Единственную его праздничную рубашку тетка стирала, ну, раз в месяц, не чаще. В тот же вечер после танцев Тася вдруг догнала Ивана, попросила: «Проводи меня, а то есть тут один, пристал как смола, шагу не дает ступить».

Будущий артист с приятелями шел следом и сказал что-то грязное, не о ней именно, а вообще о «таких вот». Иван оставил Тасю, вернулся и взял его за грудки, так что затрещали швы у модного костюмчика.

«Слушай, ты, мозгляк, еще слово, и прилипнешь к этой вербе, да так, что всем селом завтра не отдерут».

И дружки студента не заступились за него, струхнули.

Иван думал, что Тася убежит домой, но нет, стояла на том же месте и плакала. Он не умел утешать. Только дотронулся до ее руки, пообещал: «Больше вас никто не обидит».

В селе ничего не утаншь. Назавтра все знали, что они с Иваном Батраком гуляли до самого утра, в поле ходили. И снова удесили ее. Пускай бы крутила мозги студенту да лесничему, а не этому горемыке, который за свои девятнадцать лет, кроме беды и труда тяжелого, ничего не знал. Но Тася по-прежнему танцевала потом в клубе с разными парнями, а гулять ходила теперь только с Иваном. И люди притихли. Внимание переключилось на другие события, хватало их в селе — и грустных, и веселых.

Но все равно громом и молнией в холодный октябрьский день бахнула, прокатилась по Добранке весть, что Иван Батрак и Таисия Михайловна — к тому времени шустрой девчонку уже многие величали так — пошли в сельсовет записываться. И село сразу расколосось. Женщины постарше, Федора, тетка Иваново, например, вздыхали: «Не такая ему жена нужна». Жалели парня. Другие одобряли: «Молодец Таська, знала, кого выбрать, за таким мужем — что за камен-

ной стеной будет. А те все свистуны». Молодые, попрacticalнее которые, удивлялись: дурная, могла лесничихой стать, жить припеваючи, а пошла за тракториста замурзанного. Мужчины-учителя соглашались с физиком, вздыхавшим втайне по Тасе: «А тракторист этот своего не упустит. Вот тебе и тихоня...»

«Тихая вода плотину рвет»,— ответила ему «немка», в летах уже девица, обрадованная этим браком из-за физика, который раньше, до приезда Таси, на нее заглядывался.

На свадьбу приехали Тасины родители с кошельками снеди, с подарками. Были они из-под Слуцка, с хороших земель, из уцелевшего в войну села. Отец — скромный человек, а мать, бойкая, говорливая, с гонором, сразу оповестила, что из шляхты она, Тасю звала Туськой, так что после свадьбы учитель литературы Лаврен Климович, ехидный такой старик, называл молодую Батрачиху не иначе, как «пани Туся».

Соседи подслушали, как чванливая шляхтичка в день приезда за скособоченным сарайчиком на Ивановой усадьбе отговаривала дочку, причитала: «За кого же ты выходишь, дитячко мое драгоценное? Разве о таком муже для тебя я мечтала? Голяк голяком. Хаточка на одно оконце, и та чужая».

«Мамочка, да пойми ты,— пыталась убедить ее Тася. — Я люблю его, и он любит меня. Вот оно, наше счастье! Не испорти нам радость, мама!»

Разговор этот моментально облетел село, и тут же все единодушно поддержали Тасю. Свадебное торжество кичливая теща все-таки не испортила, хоть и не терпелось ей похвалиться и родом своим, и зажиточностью. Мол, вы-то кто, полешуки несчастные, темнота и бедность, а мы, слуцкие, совсем другой коленик! Но хитрые полешуки сразу смекнули, что гонора здесь больше было, чем богатства. Правда, и угощение, и подарки новым родителям привезли по тем временам немалые, по, видно, из последнего, чтобы «панство» свое не уронить. Когда делили каравай, как и полагается здесь на свадьбе, пани Анета — так почтительно обращался к ней лукавец Лаврен Климович — щедро пообещала молодым телку. Но получили они подарок только через полгода, по весне, когда съездили в гости к Тасиным родителям. Вместо первотелки, о которой так мечтала тетка Федора, привезли месячного теленочка.

Жилось молодоженам нелегко. Нет, не сказать, что бедно: трактористы в МТС зарабатывали неплохо, получали и хлебом, и деньгами, да и у Таси кроме зарплаты всегда подарки от роженниц — кто яиц принесет, кто сала кусок, кто масла катышек. Сперва она протестовала, отказывалась от всего, но через год, когда родила дочку, не отнекивалась уже так: в конце концов, не взята же, благодарность людская.

Тяжелее всего с жильем было. Сейчас даже и не представить ту хибарку, что соорудила себе на пепелище Федора в первый послевоенный год. Несколько бревен, да какие там бревна — жердочки осиповые! — подкинули солдаты, а потом всю зиму возила из лесу на себе, на салазках. И ни один лесник не рискнул задержать, оштрафовать порубщицу, знал: поедом съедят его бабы, обидь он «монашку». Люди добрые помогли сложить хатку, сосед-инвалид вставил рамы, двери, а все остальное сама, своими руками. Председатель разрешил ей сжать рожь серпом, обмолотить цепом. Зерно Федора в колхоз сдала, а соломой, снопиками покрыла крышу.

К тому времени, когда женился Иван, село неплохо уже отстроилось, и Федорина хатка выглядела рядом с другими очень уж убого. Трудно было Тасе, которая, начитавшись старых романов, позволяла себе помечтать, ну, если не о замках, то, во всяком случае, об удобных городских квартирах, начинать жизнь в такой халупе. «С милым рай и в шалаше»,— говорится. И впрямь только потому, что с милым, не раз думала потом Тася, она все вытерпела, все перенесла. Да и не в хате той самое главное. Тоже ведь не из хором пришла — из такой же избы крестьянской, только просторнее, побогаче.

С теткой Ивановой — вот что тяжело было ей. Нет, Федора не отнеслась к невестке враждебно, приняла всем сердцем. Но очень уж несхожие были люди. Позднее, когда Иван с Тасей в новый дом перешли, а Федора у себя осталась, жили они душа в душу. А под одной, да еще такой маленькой крышей не получалось. Оно и понятно: разница в четыре десятка лет, взгляды на все различные. Но обычно матери как-то восполняют этот возрастной разрыв, передают невестке свою житейскую мудрость, иногда, правда, жестокую. Только недобрая, не с умом невестка отвергнет эту науку жизни, опыт ее, который и сближает женщин, самых даже разных. Так же как и любовь к человеку, что свел их.

Федора в детстве еще охромела, замуж так и не вышла. Отец погиб в первую мировую. Было их всего двое, она, младшая, и брат Корней, отец Иванов. Потом брат семью завел, отделился. А она, калека, так и жила с матерью. Бедствовали, хоть и трудились, может, как никто в деревне, но все больше на людей работали. Корней активистом стал, комсомольцем. Бригадиром в артели. А они с матерью долго противились. С Корнеем перессорились, самые последние в колхоз вступили. Очень уж попам, верили. Еще в молодые годы Федора на моленье в Киев ходила, за это и прозвали ее «мопашка».

Только в колхозе и пожилы несколько лет по-человечески. Мать, хотя и шел ей шестой десяток, звеньевой стала по льну. А Федора на ферме коров доила. В клуб ходили, кино смотрели. Но недолгой была такая жизнь. Война все смела.

И забрала война всех близких: мать, брата, невестку и дочку их. Один Иванка уцелел, да и того, когда свои вернулись, партизанский командир в детский дом отдал за сорок верст от Добранки. После войны Федора еще набожней стала. Молилась за тех, кто сложил свои головушки. Молилась за живых. Племянника-сироту чуть не каждую неделю навещала.

Обо всем этом рассказал Иван молодой жене своей, когда очень ей невтерпеж стало рядом с Федорой, молчаливой, но сурово несогласной с тем, как живет невестка. Рассказывал, осуждая себя. И это тронуло Тасю.

Нахлебался он вдосталь на войне, но у детей раны заживают быстрее. Мальчишка есть мальчишка. Слава о нем шла, что партизанил, и стал Иван заводилой у детдомовцев. И одетый, и сытый, он в свои десять-одиннадцать лет стеснялся, когда приходила тетка. Очень уж бедно выглядела, как нищенка, да вдобавок еще и хромуша. Вытаскивала из лохмотьев своих не очень чистый платочек, в котором завернут был то пирожок, то яйцо, то кусочек сахара. Плакала, глядя, как ест сиротка, хотя ел он нехотя, просто из вежливости, чтоб не обидеть. Крестила на прощание. Это подглядели ребята и дразнили его. Какое-то время не хотелось, чтобы она приходила.

Но вот появилась как-то поздно осенью. Дождь со снегом сек. Промокла до нитки. Ивану разрешили затопить печку в пионерской комнате. Федора согрелась, подсохло платье, обед из столовки ей принесли. Она порадовалась, что хорошо кормят детей. Растрогалась. И пожаловалась не ему, племяннику, воспитательнице, но он услышал: попадают же люди такие, не подвез ее шофер, не посадил в кузов — заплатить было нечем. И перевернулось все в Ивановой душе. Она же увечная, с больной ногой сорок верст пешком тащилась, только бы его повидать! И назад, скорее всего, полетится в такую морось. Ничего и никого уже не стесняясь, Иван бросился к директору, выложил все и попросил одолжить... пять рублей на дорогу тетке. Заработает — отдаст. Директор дал денег на билет и лошадь отвезти Федору на станцию. Потом она рассказывала соседкам, что не было у нее после войны светлее дня, чем тот, когда племянник, подгоняя коня, нокал, совсем уже как мужик, подвозил на станцию, купил ей билет на поезд.

С того раза не только Федора навещалась к племяннику, но и он приезжал к тетке. Помогал летом в колхозе трудодни зарабатывать, сено косил козе. После седьмого класса — а кончил его Иван на шестнадцатом году, как и все дети войны, был переростком — в детдоме решили послать парня в морской техникум, мечтал почему-то он о море, хотя никогда не видел его. Но Иван неожиданно для всех отказался и пошел на курсы трактористов. А затем подался домой, поселился у тетки. Рассуждал просто: трактористы зараба-

тывали, как никто в деревне, а ему очень уж хотелось помочь Федоре, которая за всю свою жизнь так и не узнала радости, одно горе мыкала — сиротство да увечье в детстве, одиночество в старости.

То, что рассказал Иван, помогло Тасе снести душевную тесноту в хатенке теткой.

Спала Федора в сутки не более четырех часов, разве что в праздники разрешала себе поваляться лишний часок. А Тася поспать любила, на медпункт ей к девяти, иной раз и опаздывала. Для тетки же девять часов — уже добрых полдня работы.

И лишний кусок Федора остерегалась взять, берегла, а Тася опять-таки привыкла и власть поесть, и погулять. На третий день после свадьбы потянула мужа в клуб на танцы. Не сиделось ей дома. Федора не выдержала, попрекнула: «Помни, какая у него работа, это не то что укольчик сделать...» Настоящей работой Тасиной старая считала только одно — принять роды.

Но, пожалуй, самым тягостным для Федоры оказалось то, что невестка потребовала снять иконы, занимавшие красный угол. Стыдно ей, комсомолке, жить под образами. Можно только представить, какво было старухе покориться: в свою каморку и перевесила она всех святых, и молилась там. А Тася в это время песни распевала или включала радио. Только через много лет, на похоронах Федоры, когда отпевали старуху, Тасе, зрелой уже женщине, матери двоих детей, нестерпимо стыдно стало за тогдашнюю свою жестокость. Разбредила душу себе и навзрыд плакала над гробом Федориним.

И все же, как ни любила Тася Ивана, завдало, наверное, гордость ее, что он тракторист всего-навсего. Очень хотелось «обтесать» его. Таска в клуб, водила в гости к учителям, заставляла читать, слушать радио и настойчиво уговаривала поступить в техникум, на заочное. Иван упорно отбивался. Нужно дом сначала построить, а потом уже за книжки.

Как раз в это время захудалый их колхоз «Красная нива» реорганизовали в совхоз «Добранский» и приехал туда директором Астапович, человек, далеко глядевший вперед. Он прикинул сразу, кто здесь те надежные люди, что навсегда останутся в совхозе, с которыми можно поднимать хозяйство. Ивана Батрака одним из первых приметил, понял: надобно помочь молодой семье, чтоб не полетела она искать счастья в другом месте. Вырвет обязательно Ивана из теткойной хаты такая жена, у которой земля горит под ногами. Дом им нужен! Дом! Астапович все учел, взвесил, в том числе и норы Тасин, тут же перевел Ивана с трактора на машину — будет «почище» муж у акушерки.

Иван собирался ставить обычную деревенскую избу, как у всех. Но Астапович возразил, сам начертил план их будущего дома. Дворца, по тем

понятиям! Иван просто растерялся: «Не вытяну, Федор Тимофеевич». — «Вытянешь. Поможем».

И помог. Хорошо помог. Транспортom. Материалом. Авансами, когда очень уж туго приходилось Батракам: росли дети — росли и расходы. Непросто было такой домнице поднять, на четыре комнаты, как в городе. Три года строились. Зато потом люди завидовали, но без зла, без криво толков — Батрак честно строился, ни разу машину без разрешения не взял, по закону все делал и по закону помогал ему директор.

А уже из нового дома поехал как-то Иван будто в командировку в Минск на несколько дней. Вернулся с подарками, веселый.

«Ты, дорогая моя жена, кого видишь перед собой?»

Тася засмеялась.

«Мужа своего».

«А еще?»

«Батьку Валькиного и Корнейки. На, держи свое богатство!» — и вручила ему трехлетнего пухленького Корнея, а Валя сама повисла на шее, визжа от восторга, от колючей отцовской бороды.

«А еще?»

«О господи!» — уже всполошилась Тася.

«Студента сельхозтехникума! Первокурсника!»

Вот такие сюрпризы Иван преподносил жене.

Кажется, и не готовился, откуда время взять, а приемные экзамены сдал. Нет, признался потом: в машине таскал учебники, каждую стоянку, каждый перекур использовал.

Техникум закончил успешно. Механиком стал. Но, когда через год сказал, что не по сердцу ему эта работа — заведовать гаражом, не умеет он командовать, заедаться с трактористами и дирекцией, да и вообще тянет его за барабку, Тася не особенно расстроилась, уговаривала, но без обиды, без скандалов, спокойно, рассудительно, заключила: «Как хочешь, Иванка, к чему душа у тебя лежит».

Она к тому времени уже поняла, что не внешний лоск, не должность делают человека интеллигентным. Не завидовала никому, ее счастье полнее.

Правда, в последнее время, случалось, напала хандра, непонятная тоска наваливалась. Хотелось чего-то, а чего, и сама толком не поймет. Звезду с неба разве? Порой пугалась: что это с нею? Знала, что с годами бывает у женщин такое. Тоска по ушедшей молодости? Зависть к молодым? Даже дочери иногда безотчетно завидовала: легко живет Валя, беспечно. Тася радовалась, глядя на дочь, тревожилась за нее и немножечко рсвновала. Прошлой весной привезла к ним в гости сразу двох своих однокурсников, объявила с порога: «Вот мои женихи! Выбирай, мама, любого». Один «жених» засмутился, и через полчаса его и след простыл, только и видели,

а другой остался. Да не пришелся он Тасе: пижон долгогривый, болтун.

«Пустобрех! И думать о нем забудь!» — как отрезала, приказала дочери. Та было взъерепенилась: «Это что за домострой! Деспотизм!» А потом соznалась: ерунда все, нарочно погугать решила их.

Тася довольна была, что Валя при всем своем упрямстве считается с ней. Но призадумалась: а кто знает, где чье счастье? Ее мать тоже уламывала. Да оно вон как вышло. Лесничий, что когда-то увивался за ней, трех жен поменял и сам спился. А ее Ивана все жены в пример своим мужьям ставят.

В последнее время, спасаясь от хандры, она мечтала о новой крупной покупке — о машине. Надеялась, что изменится жизнь у них. Будут ездить не только в Гомель, но и в Минск, в Киев. В театры. В цирк. Валя поддразнивала: «У тебя, мама, детские увлечения». Ну и пусть детские... На курорт поедут. Как те, что каждое лето мчат по шоссе мимо Добранки — на юг, к солнцу, к морю. Часто засматривалась на женщин, возвращавшихся назад с моря, загорелых, красивых. Никому не завидовала, а им завидовала...

3

Корней, как и тетка Федора, ест, не садясь к столу: времени не хватает. Отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, посыпал солью — и к телевизору. Комната, где стоит телевизор, у них особенная. Валя превратила ее в библиотеку, подбила отца обзавестись книжными полками, привезла из Киева глиняные горшки расписные, куманцы. Выпросила у немого пастуха Павла фигурки, которые он вырезал из корней дерева и запросто раздавал детям — пусть играют. Никто на эти игрушки не обращал внимания. А когда Валя собрала их, расставила на полках рядом с книгами, добранцы специально приходили смотреть. Даже из города художник приезжал, похвалил. Как-то один турист из Ленинграда заночевал у них, предлагал Вале немалую сумму за эти «деревяшки». Но она не продала бы их ни за какие деньги. Одна фигурка, из корня березового, напоминала женщину, ндущую против ветра, и Валя сказала удивленно: «Мама, это же ты!» А Тася чем больше всматривалась в корешок тот, тем больше находила в нем сходство с собой. В характере. Вот так упрямо бегала она в пургу по вызову к больным. Ночь не ночь — безотказно. Всегда в жизни навстречу ветру шла, не гнулась. И слава богу. Другой красноватый корешок от ольхи походил на человека, согнувшегося над столом. Покой, мудрость и усталость были в его согбенной фигуре. Добранцы уверяли: «Вылитый Астапович», — хотя казалось, ничего общего. Таков, может, он нынешний. Тася помнила его другим,

— Корнеечка, есть блинчики с мясом. В масле плавают.

— Не хочу. Луку дай, что ли.

Даже в этом они разные, ее дети. Валя при-
вереда: каждый раз подавай что-нибудь особен-
ное, новенькое. И при всей своей непоседливости
не схватит кусок на ходу, накроет на стол, серви-
рует по всем правилам, одним словом, приучает
не только брата, но и ее, Тасю, культурно жить.

Какое-то время Тасе не по себе было от доч-
киной педантичной домовитости. Сама она никак
не могла избавиться от привычки, изводившей ко-
гда-то Федору. Иван тоже бурчал потихонечку.
При всем желании блеснуть перед людьми, при
умении поддерживать порядок в доме была Тася
раскидухой, как окрестила ее тетка. Могла су-
нуть на полку за миски и горшки продукты и за-
быть о них начисто, а обнаружив, без всякого со-
жаления выбросить.

Валя с детства свыклась со всем этим и, ког-
да училась в школе, не особенно вмешивалась
в домашние дела. А вот в училище словно под-
менили ее. Приедет на выходные, на каникулы и
прежде всего расчищать «завалы», не только те,
что у матери скопились, но и Корнеевы. Сначала
это не по праву пришлось Тасе: «Тоже мне, без
году неделя в городе и такая чистоплюйка ста-
ла». Валя огрызалась: она, мол, в первую очередь
себя воспитывает, на дому практику проходит.
Вернется в совхоз, будет не только развлекать
песнями и танцами, но и обучать людей жить по-
новому. Обидно было Тасе. Но и стыдно темного.
Перед каждым приездом дочери так все в доме
теперь вылизывала, что комар носа не подточит.
Да и Корней подтянулся: не бросал больше свои
кеды грязные в комнате под столом, книжки на
место ставил.

Валя, смеясь, уверяла, что «домашний музей»
будет ее курсовой работой, а совхозный ансамбль
песни и танца — дипломной, выпускной.

Однажды Тасе показалось, что в тоске ее не-
понятной повинна и дочь, которая поведением
своим как бы упрекает молча: не так ты жизнь
прожила, мамочка. Разозлилась тоже молча на
Валю: «Поглядим, доченька, как ты жить бу-
дешь». И с той поры больше тепла у нее к сыну
было, хоть и мучило, что неровно разделила она
любовь свою материнскую.

По телевизору показывали многосерийный
фильм, Таисия Михайловна не очень любила в
книгах и в кино жизнь обыкновенную, суровую,
ей больше нравились фильмы легкие, с красивы-
ми героями, романтической любовью, со счастли-
вым концом. Понимая, что видит неправду, она
все равно почему-то тянулась к этим сладким вы-
думкам. Комедии любила, смеялась искренне, как
маленькая, удивляя и Ивана, и Корнея, которым
частьенько то, что смешило мать, совсем не каза-
лось смешным. Валя тоже любила легкие филь-
мы, легкую музыку. Однажды Таисия Михайлов-

не даже подумалось с тревогой: не слишком ли
обе они любят легкое? Да нет, разве в жизни она
выбирала где полегче?

Но в последнее время избегала почему-то
включать телевизор, опасалась: не оно ли, это чу-
до чудное, людей к легкой жизни манит? Не от
этих ли ярких, радужных картинок налетала та
тоска странная неизвестно откуда. Она, тоска эта,
уже казалась ей предвестием беды.

Не очень внимательно следя за фильмом, по-
глядывала, с каким вкусом, не отрываясь от эк-
рана, уплетает Корней ржаной хлеб с луком.
Вздохнула:

— Такие блинчики пропадают, а ты на сухо-
мятку налег.

Корней засмеялся.

— Валька слопаёт. Натанцуетя и закатит те-
бе в полночь сервировочку. Ей бы в «общепит»
идти, а не в «культпросвет».

— Ох, оставит отец деньги в кульдюме.

— А чего их жалеть? — по-мужски снисходи-
тельно успокоил сын.

Мать давно заметила, что у телевизора по-юно-
шески колючий Корней как-то смягчается. Пра-
вилось, что парня трогает чужая судьба человече-
ская. А вот то, что к деньгам равнодушен — цены
им не знает! — и радовало, и беспокоило.

Замычали коровы. Из окна видно было, воз-
вращается домой стадо.

Тася тихонько, украдкой от сына выскользну-
ла из комнаты, стала у ворот. Дети обычно, за-
метив это, посмивались над ней: собственница.
А ее тянет встречать вечером стадо, вскакивать на
рассвете отвыкла уже, а вечером так и подмывает
бежать на улицу.

И ничего удивительного — двадцать лет держа-
ли корову, свиней. А теперь в хлеву пусто, одни
куры.

После дождя в августовские сумерки особенно
остро пахло полем и молоком. С огородов тянуло
запахом огурцов, укропа, выкопанной картошки.
Ни с чем не сравнимый аромат нового хлеба при-
носил легкий ветерок с тока, что совсем недалеко
от села, от сушильного комплекса, куда свозят
с поля сотни тонн крупного желтоватого зерна.
Почувствовать, распознать запах хлеба в зернах
может только тот, кто вырос на земле. Да, она
крестьянка, конечно, ее и тревожат и радуют эти
запахи, вселяют покой и уверенность в неизмен-
ности жизни, в счастье детей. Не телевизор, не
танцы Валькины и не машина, которую они обя-
зательно купят, а вот это — запах навоза, коровь-
его молока, овощей и хлеба — обещает извечную
прочность, надежность.

Она стояла у ворот, пропуская мимо стадо,
оценивающе оглядывала соседских коров, опре-
деляя по вымени, какая сколько даст молока.

Но когда стадо прошло и она поговорила с
учительницей, которая жила напротив через ули-
цу, держала корову и проклинала все на свете —

приближается учительская конференция, у нее доклад на секции, а она сестра за него не может, сено с мужем от темна до темна таскают,— Тася на решимость купить корову иссякла. Потратишь на нее деньги — отодвинется покупка машины. Корова вернет ее к старой жизни. А с «Жигулями» она связывает надежды на новую жизнь — необычную, праздничную, как в ее любимых кинофильмах.

Неслышно подкатила на велосипеде Валя.

— По коровке вздыхаем, мамочка?

Во заноза! Невольно засмотрелась на дочку: хороша, чертяка! Выше матери ростом, такая же гибкая, подвижная, в джинсах, в белой кофточке, с распущенными каштановыми волосами. Знала, что парни здешние крутятся вокруг Вали. Не без самодовольства подумала: успех у дочери все же не тот, что когда-то был у нее.

— Выбирала, какую можно купить. Договорились мы с отцом. Слесаренковы продают. И зоотехник...

У Вали лицо вытянулось.

— Нет, ничем, вижу, вас не пронять. Люди сбывают, а они готовы ферму на дому завести. На кой ляд вам эта корова?

— А мне скучно без нее. Поговорить не с кем во дворе.

— Ну, ты даешь, мама! Это уже как там у вас? Из области патологии...

— Спасибо, доченька, заслужила.

— Прости, мама. Но, ей-богу, чудись ты. Культурный же человек.

— А корову иметь — бескультурье, значит?

— Не лви меня на слове. Комплекс на тысячи голов, тот, что строит Астапович, вот современная культура. А не своя буренка в собственном хлеву.

— Ничего, от своей молоко свежее, — улыбнулась Тася.

— Как же тогда с машиной? Или у тебя в чулке и на машину припасено? А на магнитофон дочери никак не выцарапаешь. Сквалыги вы! Жмоты!

— Что так рано сегодня? — перевела разговор Тася, не хотелось продолжать этот спор на улице.

— Витька, свинтус, подвел опять. Сорвал репетицию. Ох, и выдам я ему, ох, и выдам! — даже кулачком стукнула по рулю. — Вот для чего мне нужен магнитофон. Чтобы не зависеть ни от кого.

Мать усмехнулась, малость даже злорадно. Витька Коржов, Валин одноклассник, сейчас электрик в совхозе. В Валу был влюблен еще со школы, и та командовала им, как в голову взбрет. Но в парне наконец разыгралась гордость и он взбунтовался. Тасе это понравилось — мужчина должен иметь характер. Витьку всерьез раньше и не принимала, не таким представляла Валиного жениха. Впрочем, жизнь не считалась с ее представлениями. Очень хотелось ей, например, чтобы Валя пошла в медицинский, стала врачом. Это было когда-то ее мечтой, пусть, думала, осуществ-

вится хоть в дочери. Но Валя и слушать не захотела. А если уж будет сельским культурником, так, что ли, их называют, чем плох тогда Витька Коржов? Играл бы на баяне, а она танцевала. Подумала об этом с иронией в ответ на резкие Валины слова, а потом укорила себя, спохватилась: «Дай бог тебе, доченька, такого же счастья, какое у меня».

— Отец засел теперь в кульдюме. Премию получили. Пустит денежки на ветер, карман у него нараспашку. Сбегай, выуди его оттуда.

Валу обрадовало поручение.

— О, это мы мигом! Держи велик, — вручила матери велосипед и вприпрыжку помчалась к шоссе.

Тася включила программу «Время». Тут они как бы менялись с Корнеем ролями. Теперь с большим интересом смотрела и слушала она, с меньшим — сын.

Газеты Тася читала не очень аккуратно, хотя и числилась агитатором. А вот телевизионные новости не пропускает. Иван обычно подшучивал: «Ну, Тася, давай проинформируй нас, где чего на земле случилось». И еще говорил: «Твой портрет на Доску почета надо, а не мой. Ты нас и кормишь, ты и просвещасшь». Слово впервые открывая неизвестное, Тася глядела, не отрываясь, как работают комбайны, хотя днем видела и сына, и мужа на таком же комбайне. Или как вертолеты перевозят нефтяные вышки, как встречают и провозжают высоких гостей. А международная хроника, события в Ливане, в Ирландии, Южной Африке волновали ее больше, чем любой детектив: там все нарочно, чтобы завлечь зрителей, а здесь сама жизнь. И возмущалась: из-за чего только убивают люди друг друга? Неужели такие мы еще дикие?

Иван смотрел фильмы о войне напряженно, угрюмо. Тася знала его боль. Редко и скупое рассказывал он о прошлом, но чувствовала, что рана еще не зажила, и щадила, следила, чтоб никто не коснулся незначай этой рапы. Изредка Иван говорил с Корнеем о войне — ему в армию идти, солдатом быть. По-мужски, внешне спокойно обсуждали они события в мире, повые виды оружия в разных странах, но у нее каждый раз замирало все в душе.

Корней, пока шло «Время», полистал журнал, завел будильник, хотя мать и просила не заводит. Знал, что жалко ей Валу будить, принцесса эта до двух ночи каблуки сбивает, а потом дрыхнет полдня. «Дворянскую жизнь ведешь», — как-то бросил он сестре. Та, в свою очередь, подтрунивала над ними с отцом, а заодно и над матерью: «Батраки объединились. Держись, шляхта!»

Он открыл окно, вслушивался в жизнь вечерней улицы. Может, кто из ребят голос подает? Тянулася к ним, но и сдерживало что-то. Многие

ведут себя сейчас так, будто не слышали, что есть на свете еще что-то, ну, спорт, к примеру, техника. Все интересы на одном сошлись — на девчатах. Вечерами только и разговоры о них. Один свет в окне! И пусть бы хоть дельное, а то несут... Он пытался устыдить друзей, над ним откровенно смеялись. Старый балагур Щерба изо дня в день тоже об одном бубнит, опостылело все, обрыдло.

Улица оживала. Корней перегнулся через подоконник, бросил пренебрежительно:

— Полюбуйся, какой концерт твои устроили. На смех людям.

Тася оторвалась от телевизора, подошла к окну.

Над селом в звездное небо взлетала песня:

И не смогут сбить меня с дороги
Ни туман, ни ветер штормовой.

Пели Иван и Валя.

Потому, наверно, отовсюду
Птицы возвращаются домой.

Нет, не смутило ее, не показалось, что насмешат людей. Наоборот, слезы навернулись от слов этих. Добрые слезы.

Песня стихла. Голос дочери звучал уже совсем рядом. Валя засмеялась чему-то.

Иван молчал. Может, потому, что заметил в окне ее или соседку. А Валя снова завела, казалось, и пела, и пританцовывала, выкаблучивала, как язвил Корней.

Как зажгутся звездочки,
В вышине засветятся,
Так мы под рябиною
Под знакомой встретимся.

Уже под самым окном подмигнула матери.

Знай, рябина красная,
Знай, рябина спелая,
Все подружки смелые,
Только я несмелая.

— Это ты несмелая! — не выдержал Корней.

— Я в любви несмелая, Корней-дуралей! — крикнула в окно Валя.

Иван где-то в снях шутливо загремел:

Теперь я турок — не казак.

— Турки не пьют, им религия не позволяет, — тут же не упустил, поддел Корней.

Тася расхохоталась.

— Ну и брюзга же ты, сын!

А Иван топнул об пол, забасил:

Пилы горилку, пилы и наливку,
Ще и мед будем пить,
А кто з нас, братцы, буде смеяться,
Того будем биты!

— А ну, жин-ка! Ставь га-ры-лку! И наливку!

— И так налил, — без улыбки, снова осуждающе бросил Корней.

— Отца не смей критиковать!

— А сам всех критикуешь.

— Не всех. Маму твою не критикую.

— Потому что боишься.

— Дурень! Не боюсь — люблю, — подошел, обнял жену. — Лучше нашей мамы в целом свете нет.

Она и загорелась от этих слов, и неловко стало при детях.

— А всех других — правильно — критикую! — с пьяной удалью признался Иван, однако и тут не покривил душой. — Нет, еще одного человека не критикую. Астаповича.

— Тоже боишься.

— Не боюсь — уважаю. Жаль только, что стареет.

— Так я накрою на стол, Иваночка, — засуетилась Тася. Глаза ее потеплели, блестели зубы.

— А как же! Все выкладывай. Еще деды наши на дожинках гуляли.

— А какие у вас дожинки? — не успокаивался Корней. — Что вы дожали?

— Дожем, сын! Завтра вместе с тобой десять гектаров скосим. К обеду. И руки вымоем.

— За такие «дожинки» в «Вожык»¹ надо, — парень был еще с утра раздосадован подначками Щербовыми, но особенно Качанком, крутней его, против которой не пошли комбайнеры, в том числе и его отец. Да еще загулял. С какой стати?

— Зануда, дорогой ты мой братец, первостатейная! — Валя переключила программу, зевнула. — Как тебя Нюрка станет терпеть такого?

— Катись ты со своей Нюркой! — Корней ошестинился, готовый к обороне.

Тася в большой комнате, в «музее» Валином, застелила стол чистой скатеркой, проворно расставила тарелки, рюмки. Ее умиляла и мужнина веселость, и Корнеева непримиримость, и дочкино острословие, то, как подкалывала брата, в карман за ответом не лезла.

— Мама, папа, как вы его ожените, такого нелюдима?

— У тебя только женитьба в голове.

— У меня не женитьба, миленький, у меня замужество. Но со мной особых хлопот не будет.

— Ох, не знаю, с кем больше будет хлопот, — уже всерьез поддержала сына Тася, вздохнула.

Корней додумался наконец, чем отплатить сестре:

— Знаю, отчего подлизываешься к отцу. Магнитофончик выжимаешь! Не так?!

— Предатель ты! Сам вызвался поддержать, похлопотать.

— А чего выжимать? Считай, дочь, что магнитофон уже у тебя. Если нужен.

Валя повернулась на одной ноге, вскрикнула радостно:

1 «Е ж и к» — сатирический журнал.

— Папочка! Сколько раз тебя поцеловать? — подскочила, обхватила за шею, чмокнула раз, два, три...

— А ты спроси, какой магнитофон она хочет? — сказала мать. — За три сотни.

— Ну и что — три сотни!

— Три мои зарплаты.

— Твои три. А моя одна. Премию, знаешь, какую мы с Корнеем отхватили?

— Может, у Кати осталась уже та премия, — буркнул Корней.

— Так ты, бесов сын, об отце думаешь? Ай-я-яй. Давай отдадим ее Вале на магнитофон, эту премию? А ежели не хватит, мать добавит. Согласен?

— Зачем мне эти деньги. — Корней даже смутился, что отец спрашивает у него разрешения.

— Спасибо, Корнейка! Я всегда говорила: таких, как ты, хоть сейчас в коммунизм. Презирай нас, несчастных потребителей. Мы с пережитками.

Тасе было немножко жаль денег: непредвиденный расход может оттянуть покупку машины, одалживать же она не позволит себе никогда, тут дело чести, люди не должны думать, что «пани Туся» ради шика на последние купила. Но приятно была щедрость Ивана, добрая готовность сына и Валькина милая, типично женская хитрость.

Она поставила графин с вишневой настойкой на стол, в пояс поклонилась мужу и сыну.

— Прощу к столу, дорогие победители...

4

Иван проспал на работу, чего никогда не случалось в страду. Легли они с Тасей на чердаке, на сеновале, так вчера ему спяну прищипило, как давно, в молодости. Хотя коровы у них нет, но сена в усадьбе достаточно, свежее, душистое — часть огорода в низине у ручья он несколько лет назад засеял клевером. Дважды косил за лето.

Спалось ему сладко. Снилось, что работа полным ходом идет, что у Щербы стучит подшипник (надо остановить комбайн), но никак не мог открыть глаза.

Проснулся, услышал, как по гонтовой крыше барабанит дождь. Вот отчего подшипники снились. Вспомнил вчерашнее, и настроение упало. Могли окончить уборку, если бы не та шумиха с премией. Хлебом не корми Яшку, спектакли подавай! Да и он, Иван, тоже хорош — малость самую поломался и пошел на поводу у Качанка. Стыдно стало.

Часов на руке не было, но по знакомым деревенским звукам угадывалось, поздно уже. Быстро встал, оделся.

Тася в кухне на газовой плите готовила завтрак. Гибкая, в марлевой косынке, в пестром фар-

тучке, она казалась помолодевшей после этой их ночи на сеновале.

— Что же не разбудила?

— Так дождь ведь идет.

— А если наряд получен на другую работу?

— Корней рано ушел. Был бы новый наряд, приехал бы.

— Все равно нехорошо. За гуляками потянулся...

— Не травми себя. Надо и отдохнуть. Без выходных же работаете.

Иван обнял жену, снова почувствовал ее близость.

Она прислонилась к его груди, словно ухом хотела послушать сердце.

— Иваночка, — и были в этом единственном слове и нежность, и благодарность за то, что он такой, что и сейчас, через двадцать один год, она любит его так же.

За коротким завтраком Тася высыпала короб новостей. Медпункт в этом смысле, как диспетчерская, все сведения туда стекаются. Ей хотелось говорить, хотелось еще чем-нибудь потешить его, порадовать. Но Иван молчал, смотрел в окно, за которым накрапывал мелкий дождь, и думал о Козинном, о несжатом ячмене.

— С Качанка штаны надо содрать и выстирать...

— За что?

— За вчерашнее. Три часа комбайны перегоняли, речи толкали. Ему лишь бы парад, лишь бы пыль в глаза пустить.

Но Тасю это рассмешило, представила, как секут Качанка.

Иван не хотел брать с собой зонт (плащ прихватил Корней), отговаривался:

— Попадусь я с этим зонтом на язык нашим!

Вышла заспанная Валя, услышала его слова, фыркнула.

— В каком столетии вы живете? Передовые механизаторы! Движущая сила прогресса!

С зонтом он все-таки влип. На машинном дворе, под навесом, где во время перекура «забывали козла», сидела вся его бригада и... Качанок. То, что хлопцы вот так пробавляются, хмурые, как и это утро, и то, что в такой час Качанок здесь, насторожило Ивана. А еще он, бригадир, последним появился.

Зонт он закрыл еще у ворот, но не бросишь же за забор, да и поздно, «проехали» уже, ясно, на его счет. Не зря Корней, бедолага, сидит красный, как рак вареный.

Качанок заметил Ивана издали, когда тот был еще посреди двора.

— Ну вот и его величество Иван Батрак. Дождались! А как же, прогуливаются под зонтом. Жену проводили до медпункта. Головку заодно освежили. Хотя где там! Глаза непромытые. Подставил бы свой святой лик под дождь. А то под черным зонтиком забрался. Тоску нагоняешь.

Щербе вон плакать захотелось... Видишь, скис человек?

Ехидничал Рабочком. Хоть был он и свой, добранский, и со всеми запанибрата, но давно уже не обращался ни к кому так бесцеремонно. А к Батраку всегда с особым уважением и подчеркивал это всячески.

Иван сперва возмутился и хотел было послать Яшку... Тоже мне деятель! Сорвал уборку, а теперь виноватых ищет! Но от крепких слов удержался. Очень уж Корней чудной, как в воду опущенный. Да и механизаторы, словно оберегая его, Ивана, не взорвались хохотом на слова Качанковы, только переглянулись. Один Щерба хихикнул, услышав, что ему плакать хочется.

В конце концов, виноват он сам, рассудил Батрак, опоздал на работу. Но ведь не простаивают из-за него. Похоже, и Качанок не поэтому взъелся. Случилось, наверно, что-то. Но что? Неужели хлопцы после его ухода учинили дебош в кульдюме? Кто? Задирается всегда Федька. Но не видно, что провинился, наоборот, рожа блестит как блин намащенный.

— Кончаем митинговать! — приказал Качанок, хотя, кроме него, никто ничего особенного и не сказал, так, перебрасывались шутками безобидно, «разводя», как понял Иван, контакты, которые они с Яшкой чуть не замкнули.

— Посхали в контору! Директор ждет.

Щерба присвистнул: выходит, дело серьезное, если сам Астапович требует «на ковер».

Иван знал, что Качанок полезет к нему в кабину, и не спешил. Тот понял это, кивнул Василию Бойко — заводил свою машину.

Когда тронулись, Иван спросил:

— В чем загвоздка, хлопцы?

Те пожали плечами.

— Какое-то чепе, — предположил Костя Малащенко.

— Федор, ты, может, набеделокурил вчера?

— Да меня вчера к любой ране можно было прикладывать. Добрее человека не то что в Добранке, во всем районе не было. Люба и та расцеловала.

— Не знала она, что ты с Катей милуешься, — мрачновато пошутил Коржов.

— А, браточки, так потренироваться ж надо. Не то полная декомпьютизация. Забыл, с какой стороны к бабе подбираться.

Грохнули так, что Качанок высунулся из кабины, взглянул подозрительно: не над ним ли?

Иван снова вдруг подумал о женсе, и снова ему стало хорошо, вернулось ощущение счастья. В сущности, все это чепуха, мелочи. Что могло произойти? Самое неприятное сейчас для них — дождь, особенно если затяжной. Но, как сострил тот же Щерба, «бога на ковер не поставишь».

Подъехали к конторе, двухэтажному типовому зданию, из окон которого выглядывали женщины.

— Ты смотри, конторские дамочки нас дожн-

даются. Как космонавтов встречают, — не унился Щерба.

Но никто не засмеялся.

У входа, на крыльце, будто только сейчас вспомнил, Качанок сказал Ивану:

— Ученпка не берем! — Корней, значит, который шел с ними.

— А он что, плохо работал? — вступился Иван за сына.

— Не за премией идешь.

— Ты нас не попрекай. Мы премию не языком, мозолями своими заработали. А вот ты чем зарабатываешь...

Качанок аж позеленел: так подрывать его авторитет публично — в открытые окна все слышно.

Оскорбленный Корней круто повернулся и пошел назад. Иван остановился на ступеньках, посмотрел вслед сыну. Если бы несмотря на дождь, который все лил и лил не переставая, Корней свернул в молодой лесок неподалеку от Дворца культуры, отец наверняка бы тоже махнул за ним, несмотря на то, что всю его бригаду требовал к себе Астапович. Но Корней молодчина, залез в кабину ЗИЛа, хлопнул дверцей. Хотелось все-таки ему быть поближе к своим, поскорее вернуться в поле, на комбайн.

В коридоре Щерба старательно вытер сапоги о старую дорожку.

— Залыаем мы ковер Федору Тимофеевичу.

Но Качанок повел их не навстречу, в директорский кабинет, а показал на дверь в зал, где проходили обычно заседания партбюро, рабочкома.

Сначала все разместились в первом ряду, перед столом президиума. Но Ивану вдруг показалось, что сидят они прямо, как подсудимые, а виноват он лично только в одном — не запретил перегонять комбайны в Галое, пусть бы лучше лишили премий. Правда, его живым бы стели и и Щерба, и скупердяй Сергей Кульга, единственный, кто, кроме Корнея, не пошел вчера «сполоснуть» денсжки, а теперь сидел ухмылялся: ну, так кто у нас умней всех?!

Иван встал, перешел из первого ряда назад, подальше. И ребята, как по команде, разбрелись по залу, сидели по-одному в разных рядах. Только Кульга, торжествуя, восседал по-прежнему впереди.

В двери напротив вошло руководство — вся верхушка. Первым — расплывшийся, но еще осанистый Астапович. Шел припадая на одну ногу — недавно перенес операцию по поводу тромбоза. За ним совсем еще юный с виду, хоть и перевалило ему за тридцать, высокий, стройный, в спортивной куртке Александр Петрович Забавский, новый парторг. Рядом с ним Качанок выглядит каким-то помятым, хотя и одет в дорогой импортный костюм и шагает победителем, живот выставив. Шестые замыкал силач Кузя, почему-то красивый, взъерошенный, будто выдали сейчас ему по первое число.

Астапович провел ладонью по лицу (знакомый жест) и словно стер с него утомление. Глаза блеснули.

— Головы не болят? — сочувственно спросил у механизаторов.

Щерба толкнул Ивана в спину.

— Как, бригадир?

У Ивана голова была на удивление светлая, и он отозвался громко:

— Смотря у кого.

Астапович хитро прищурился.

— Разве не поровну делили... — сделал паузу, во время которой Щерба хихикнул, — премию?

— Справедливо разделили, — даже как-то с обидой ответил Качанок. — После премии вот не поровну делили...

— Ах, вон что, то-то у тетки моего голова, — он взглянул на Щербу, — трещит. А у Сергея Романовича, — кивок в сторону Кульги, — что линза от лабораторного микроскопа.

Комбайнеры засмеялись, Щерба, — во весь голос, будто похвалили его.

— У меня голова тоже болит, — все знали, что директор года два уже не берет в рот ни капли, и смех сразу осекся, почувствовали заход к главному разговору. — От дождя. Если надолго зарядит, еще сильнее разболится, — вздохнул. — Старая голова. — И вдруг совсем неожиданно Батраку: — Где сын твой, Иван Корнеевич?

— В машине сидит.

— Почему сюда не пригласили? Трудится же, как все.

— Не пустили.

— Кто? — удивился Астапович, осматривая своих помощников, словно пытаясь угадать, кто из них совершил такую глупость. — С молодыми нельзя так, друзья. Пригласите парня.

У Ивана горло перехватило — и радость за сына, и благодарность директору: явно слышал из окна кабинета разговор на крыльце, дал-таки деликатненько Яшке по носу.

Качанок кивнул Косте Малашенко.

— Позови сходи.

Но, когда тот быстро, по-солдатски вскочил с места, Астапович остановил его:

— Да нет, Яков Матвеевич, сам сходи.

— Я? — Качанок был обескуражен.

— Конечно. Пускай все солидно будет.

Обычно подвижный, непосредливый, Качанок медленно, нехотя поднялся с места.

Забавский, пряча усмешку, достал из кармана знакомую всем записную книжку, ручку, не шариковую, с золотым пером и стал что-то заносить в блокнот. Так бывало частенько и на совещаниях, и в поле. К этому относились по-разному: кто с уважением, кто с юмором, а кто с некоторой даже опаской. Знали, что Забавский выпустил две книги: одну о строительстве комбината, другую — о знаменитом в республике колхозе и еще более знаменитом его председателе, партизане.

Вот кое-кто и побаивался: «Разукрасит так, что жена родная не узнает. На весь свет прогремись».

Уважали его и за серьезную работу, работу по-новому. Заседаний бюро, собраний проводил он меньше, чем бывало до него, но зато ни одного собрания или заседания не было пусто, для «галочки», для отчета. Постановления принимались конкретные и выполнялись. Забавский ничего не забывал и другим не давал забывать. А еще его любили за то, что много знал и умел рассказывать.

Однажды лектора из общества «Знание» прервал на середине фразы злым вопросом: «За кого вы нас принимаете? За крестьян двадцатых годов? Тут же образованные люди. В каждом доме радио и телевизор. А вы нам излагаете истины, известные каждому школьнику».

Замужние женщины уважали Александра Петровича за строгость в поведении. Молодой, красивый, знали, разведенный, сельсоветские сразу приметили этот штамп в его паспорте, но чтобы амуры какие завел за год работы у них — не придуриться. Учительницы холостые сошли по добранскому Есенину, так имевали его за светлые кудрявые волосы, за голубые глаза, но ни одна не могла похвастаться, что «положил глаз» на нее.

А вот Виктор Кузя почему-то отзывался о Забавском неуважительно: «Сухарь. Потому жена и бросила». Доказывал с жаром: не для совхоза старается — для будущей книги материал собирает.

У рабочих противоречивое отношение к парторгу шло от другого. Астапович двадцать лет здесь, предлагали должность и повыше — отказался. Теперь же, когда седьмой десяток стукнул, тем более никуда не денется. Тут на добранском кладбище его и похоронят.

По-разному относились и к Качанку. Но этот, что ни говори, тоже свой. Не выберут в профорги, пойдет бригадиром, завскладом, в сельпо, но тоже здесь останется: дом свой, семья большая. Забавский же, с этим соглашались все, временный человек в совхозе, год-два — и поминай как звали. А к временному и любовь временная.

Астапович взглянул на Забавского с ироничной, но и доброй улыбкой: пиши, мол, пиши, старайся. Федор Тимофеевич знал, что некоторые конторские крючки, чиновники районные, да и директора совхозов проезжают на этот счет: хитрец дед и тут всех обскакал — выпросил у обкома летописца, чтобы прославил на всю страну.

— Сколько ячменя стоит еще? — спросил Астапович у Ивана, пока Качанок вел переговоры с Корнеем.

— Гектаров тридцать.

Директор так посмотрел на главного агронома, что тот как огонь вспыхнул. Комбайнеры поняли: Кузя свою порцию ухватил еще раньше,

поэтому и сидел сейчас словно в отблесках вечерней зари.

Вернулся Качанок один.

— Не идет! Батраковская натура.

У Астаповича задрожала левая щека, сузились глаза, сразу обозначились нездоровые мешки под ними.

— Натура как натура,— сказал он.— У каждого своя. Однако время дорого. Объясни, Яков Матвеевич, для чего собрал нас.

Качанок, не успевший еще сесть на место, только взялся за стул, так и застыл.

— Я?

— Твоя же идея позвать людей.

— Моя. Но я думал, что вы...

— Да нет, на лысого не вали. Запевааете вы с Кузей. А мы с Петровичем разве что подтянем.

Качанок оперся руками о спинку стула и, видно, сильно нажал, даже вздулись жилы на руках, на шее. В других случаях остановки за тем, чтобы речь сказать, у него не было, язык подвешен что надо! А тут явно не знал, с чего начать, растерялся, как ученик, поднявший руку, а ответить на вопрос не сумевший.

Ивану стало весело. С Качанком они дружили с детства. Нос Яшка не задирали ни на какой должности, но всегда устраивал представления вроде вчерашнего и не однажды уже горел на этом. За вчерашнее, за обидные слова на машинном дворе и особенно за сына Иван расвирипел и теперь со злорадством наблюдал за Качанком.

Забавский повернулся к Рабочкому, как бы сочувствуя ему.

Яков обычно произносил пафосные речи с иностранными цитатами из газетных передовиц. Но тут понял— не пройдет. Ни по количеству слушателей, ни по существу дела. Так лучше, как Астапович: доверительно, с шуточками, но такими, что кусаются, жалят.

Качанок привстал на цыпочки, будто подросток сразу.

— Так вот что я вам доложу, бойцы передней линии — жатвы... Значит, так. Ничего не скажешь, потрудились вы на славу. Но марку держать не умеете. Честь свою можно вмиг слизнуть вот этим,— он показал язык.— В войну, если кто помнит, а люди постарше хорошо помнят, висел везде плакат: «Болтун — находка для шпиона...»

— Каких это шпионов ты выявил? — строго спросил Астапович. — Китайских, что ли?

Иван, к общему удивлению, рассмеялся. Вспомнил, как развеселилась Тася, когда он сказал, что с Качанка надо штаны содрать. Вот бы ее сюда! Пусть бы полюбовалась, как Астапович вынудил Яшку самого себя раздеть и высечь! Ай да старикан!

Качанка возмутил Иванов смех, но запнулся он лишь на секунду. А потом и сам тоже рассмеялся.

— Китайских не видел, Федор Тимофеевич, а кульдюмских обнаружил. Одни зальют себе память, плетут бог знает что, а другие на ус могают, чтобы потом ткнуть нам в нос.

— Слушай,— шепнул Щерба Ивану в затылок,— теперь я знаю, кто свинью подложил. Ты скажи, как сразу прояснились мозги. Будто опохмелился.

— О чести коллектива надо думать,— продолжал Качанок.— Так вот. В век НТР управление требует оперативности, срочной информации. И тот, кто о деле думает, знает, когда ее, эту информацию, надо дать.

Забавский усмехнулся, кивнул головой.

— Для вас старались, верили — передсвики не подведут. А вы? Что, Щерба, прячешься за Батрака? Стыдно в глаза глядеть?

— Кого это мне стыдиться? Тебя? Я Любы своей и то не стыжусь.

— Конечно. Тебе-то что, начхать на все с высокого берега. А ты, Иван Корнеевич, член бюро, бригадир...

Батрак не выдержал:

— Подожди, Яков. Чего вокруг да около ходишь? Давай напрямки, без загадок. Выкладывай. Что, не так мы работали?

— Как вы работали, я сказал. Но чем кончилось все? Из-за языков ваших. Знаете? Пшиком.

— Ну-ну-ну,— постучал пальцами по столу Астапович.

— Виноват, не то слово. Но неизвестно, кто теперь будет первыми, мы или...

— Вот когда вспомнил... Шофер из «Искры» то был. Сидел рядом за столиком, котлетки жевал. Кудлатый такой... Ну и гнида! Пусть только покажется еще в кульдюме! Посмотрим, каким он оттуда выйдет,— шепот Щербы щекотал ухо Ивану.

— Комбайнеры, значит, во всем повинны? — уточнил Забавский.

Качанок умолк, бросил недобрый взгляд на парторга, повернулся к Астаповичу, ожидая поддержки. Но тот молчал, лицо его словно окаменело. Молчанием своим он заставил Качанка ответить, загнал в угол.

— Ты-то всегда в стороне,— Яков неприязненно оглядел Забавского.— Без сучка, без задоринки. Романы строчишь.— Он едва сдерживал себя.— Что ж, сыпь, вали на нас с Кузей. У него вон какие плечи. Выдожит!

Махнул рукой и сел.

Агроном ссутулился, пригнулся, как под непосильной ношей. Стояла настороженная тишина — от неловкости — или выжидали, что дальше будет. Пока вдруг не поднялся Астапович — с трудом оторвал от кресла грузное тело, поморщился от боли.

— Нехорошо, хлопцы, вышло. Не по-людски. Тут, надо признать, как на духу, виноваты мы,— он обвел глазами сидящих за столом.— Я в том

числе. Оттого, что мы передовые, головы у нас закружились. Невтерпеж самыми-самыми передовыми стать. А надо ли так лезть в эти «самые-самые»? — Астапович покрутил растопыренными пальцами. — И никто не остановил нас с Яковом Матвеевичем. Лысые, мол, уже, а взбрыкнуть надумали, как бычки молодые. Кузе — тому можно еще хвост задирасть. А нам с тобой, Яков, с нашими... — он ткнул себя в живот. — Нам куда? Мы выше «гоп» все равно не прыгнем.

Щерба и Костя Малашенко до слез хохотали. Иван тоже смеялся и в который уже раз подумал: жаль, Тася не слышит. Забавский сдержанно улыббался. Качанок натужливо выжимал из себя мелкий смешок. Один Кузя неподвижно сидел, молчал мрачно, и все заметнее пылали у него щеки, будто где-то внутри разгоралось и разгоралось пламя.

— И вы туда же. Работа не кончена, а сабантуй на весь район затеяли. По-хозяйски это, а, тезка?

— Так наша ж работа, Федор Тимофеевич, никогда не кончается! С комбайнов — на сеялки, потом — на картофелекопалки. Когда же и погулять? — крикнул Щерба.

— Философ ты, Федор Фомич. Спиноза. А знаешь, о чем я часто думаю, подбивая, как говорят, бабки? Кой-чему я тебя все-таки научил. А вот пить не научил. Во Францию меня посылали, хозяйства их смотрел. Но меня не только коровы интересовали — люди. Как живут они. Кста-ти... и пьют как.

Щерба уткнулся лбом в Иванову спину.

— Вскочил дед на своего конька.

Астапович словно услышал его.

— Но об этом потом как-нибудь. Светлеет. Должно скоро распогодиться. Опадет роса, надо нам взять его наконец, ячмень этот. Еще агрегат подкинем с третьего отделения. Взовьется к вечеру флаг, Иван Корнеевич?

Батрак вытянулся, как солдат.

— Будет, Федор Тимофеевич.

— Искровцы комиссию хотят послать. Ну вот мы их пивком и угостим из этого самого ячменя, — глаза у директора сузились лукаво.

Впервые шевельнулся, посветлел Кузя.

Иван прикидывал, как лучше управиться, чтобы ни минуты не простаивать. Машины, те и вчера работали с полной нагрузкой. Сегодня добавили комбайны. А дорога через лес вся выбитая, не разгонишься, полетит зерно из кузова. И времени мало — полдня уже прошло. Встревожился: Корней где? Не ушел ли куда? Парень с норовом. Без него сейчас пиши пропало.

— ...Великий наш экономист Щерба прав: сеялки, считай, уже запроважены, ждут. А сеять озимых будем больше. На зеленый корм. На зерно. Перед нами трудная задача — обеспечить своими кормами комплекс. Три тысячи бычков. Вдумайтесь в эти цифры. — Астапович достал из карма-

на бумагу. — Вот подсчитали, что требуется от пайщиков. Что от нас... И что будем иметь в результате.

Щерба вновь склонился к Ивану.

— Слышал новость? Шишка вернулся.

Занятый своими мыслями, стараясь не пропустить, что говорит Астапович, Иван не сразу сообщил, о чем речь. Но через секунду будто обухом по голове оглушили.

— Какой Шишка?

— Тот самый. Тише ты. Дед смотрит. Считай, тридцать пять лет отмагандил. Живучий, гад.

Ударила кровь в затылок, в виски, в лицо. Зазвенело в ушах. Качнулись и поплыли куда-то вдаль все, кто сидел за столом в президиуме.

5

Дождь кончился. По-летнему внезапно.

Астапович на полуслове оборвал свой рассказ о комплексе, любимом его детище.

— Все, ребята. Агитировать друг друга потом будем. Пока доберетесь до Козино, ветер росу обобьет. Значит, договорились твердо. Вечером пиво варим!

Как сквозь глухую стену доносились до Ивана директоровы слова про комплекс, про бычков, его призывы к работе... Сейчас он был весь в прошлом — в своем детстве, в войне.

Комбайнеры ехали на работу веселые. В кузове хохотали — смешил всех Щерба. Иван сидел в кабине рядом со своим напарником — молчаливым Василем Бойко. Жадно курил, хотя давно уж держался правила — в машине не курить.

— Вы что, Корнеевич, не рады словно? Качанок сам кругом виноват, а нам хотел разнос устроить. Подумаешь, военную тайну выдали, полполосы не сжали. Дед, молодец, осадил его. Плюхнулся Яшка задом в лужу.

Приехали на машинный двор, когда выглянуло уже солнце. Но оно сейчас не радовало Ивана.

Не радовала и работа, о которой он так тревожился еще полчаса назад, озабоченно поглядывая на окна, не стихает ли дождь. Как бы оборвалось что-то в душе, раскололась жизнь... Была она привычная, цельная и счастливая. Да, счастливая, несмотря ни на какие помехи, неприятности, разочарования. Попадалось на дороге его разное и люди разные. Порттили настроение увертки всякие, хитрости вроде вчерашней Качанковой. Но все это, в общем, пустяки. Нет, не пустяки — радость. Да, радостью были даже они, все эти неприятности, неполадки, были жизнью его. Самое страшное, что жизнь, которой он только что жил, вдруг как бы отошла, отлетела, стала маревом, нереальностью. Это было жутко! Тася, Валя, Корней, Астапович, его дом, друзья — разве это все лишь приснилось, привиделось?! И ему нужно еще заново вернуться к ним сейчас оттуда — из

войны, горя, небытия, сиротства? Да нет, какое там марево? Сын — вот он, рядом,

— Корней! Сынок, сыночка!

— Что, папа?

Почему дрожит голос у Корнея? Что его напугало?

— Масло не нужно подлить?

— Да подлил я, как только пришел.

— Подлил, значит,— но все равно открыл капот, полез проверять со щупом, удивив, обидев Корнея недоверием. Подошел Щерба.

— Долго будешь еще возиться? Настырные вы, Батраки. Эй! Да у тебя руки трясутся. С чего бы?... Это мы с солдатом вчера здорово газанули. Если б не Люба, не знаю, где ночевал бы. Может, у Катя. А ты же не пил — причащался. Как твоя пани Туся.

Щерба знал, что Корней не выносит, когда мать называют так, и не преминул зацепить парня еще разок.

— У моей мамы есть имя: Таисия Михайловна! — отчеканил Корней неожиданно и так жестко, что даже Щерба смутился.

— Разве я в обиду? Я с уважением. Величай меня Храпом сколько душе угодно.

Храп — уличная кличка Щербы.

Собственная смелость удивила Корнея. А у отца радостно забилося сердце. Да нет, вот же она — жизнь. Кто посмеет отнять ее? Сын рядом. Сын переступил еще один порог зрелости.

— Езжайте с Бойко. Готовьте комбайны. А я отлажу прицеп. Попробуем с ним. Иначе не поднять. Позвоню, чтобы Астапович прислал людей для разгрузки на току.

И Щерба с Корнеем пошли к машине Бойко.

Иван глядел им вслед так, словно они уходят далеко и надолго. И ему опять стало страшно. За кого? За себя? За сына? Трудно было разобраться во всем этом. Понял лишь: не может он сейчас остаться один, воспоминания захлестнут его, натворят беды. Позвал:

— Корней! Вернись! Помоги мне.

Небо очистилось от туч. Солнце поднялось над крышей мастерской и припекало уже как следует. Набежал невесть откуда легкий ветерок. Там, на болоте, на ячмене, наверное, ни росинки. Можно выводить комбайны. Но бригадир не спешил. Задельывал щели в прицепе, а когда тронулся наконец, повел машину неуверенно, будто первый раз за рулем. В лесу на колдобинах пустой прицеп подсказывал и гремел на все лесничество.

Корней вдруг заметил, что у отца дрожат руки, его всегда сильные, умелые руки с вьезшимся под ногтями маслом — профессиональной меткой. Парень недоумевал: что стряслось с ним? Может, свалили на него всю вину за вчерашнее? Он тоже осуждал отца за слабину. А сейчас посочувствовал: сбагрили на одного и никто не вступился, наверное. Зря он не пошел, когда Качанок

звал, не смолчал бы! Наедине с собой Корней был куда как смел, а на людях язык прилипал к гортани.

— Здорово тебя пробрали?

— Кто?

— Тузы наши.

— За что?

— За дождь. За то, что вчера было.

В другое время Ивана рассмешила бы эта наивная, детская еще непосредственность.

— Что ты, сынок! Астапович — умный мужик. Влепил, что причитается, Качанку.

— А почему руки у тебя... не туда глядят?

Иван вздрогнул. Никто никогда не упрекал его: не туда руки глядят. С чего это Корнею втемяшилось? Он всмотрелся и обнаружил только, что сильнее обычного сжимает баранку, но ведь дорога такая, не асфальт.

— Руки как руки. Что ты мелешь?

— Дрожат. Вижу я.

— Вибрация, значит, от мотора.

— После перепоя всегда такая вибрация. Плохо вашего брата жучат в ГАИ. Я читал: в какой-то стране, если сядешь пьяный за руль, смертная казнь. Вот и нам бы ввести такой закон.

— Дурной это закон! Дешево ценят там человеческую жизнь. А она дорогая, сынок, очень дорогая. И перепил я за все житее свое, может, один или два раза. Думаешь, вчера куролесил дома оттого, что в кульдюм зашел? Просто на душе было хорошо. А сегодня не будет так.

— Почему?

Иван вздохнул.

— Долго рассказывать, сынок. Давай лучше делом займемся.

Сам напомнил себе о том, о чем стремился забыть. Но все равно разговор с сыном как-то утешил, успокоил.

Когда зерно заполнило кузов, он пересел на ЗИЛ, Корнею на сей раз не доверил, сам поведет и машину с двойным грузом и ссыплет на току. Корней может проваландаться. А тут каждая минута на счету: ребятам неловко за вчерашнее, гоняют на высоких скоростях, без перекура.

Но, когда ехал на ток один, снова всплыло все, что случилось тогда, тридцать шесть лет назад. Никогда, кажется, воспоминания не подступали так близко, так явственно и никогда не было так больно, разве только в те дни в лесу, когда он, маленький, обессиленный, не найдя партизан, в отчаянии скулил и кусал заледеневшие пальцы.

Завскладом Николай Азарыч, инвалид войны, прикуривая от Ивановой сигареты, поднял глаза, изумился:

— Что это ноне ты... будто ось у тебя сломалась?

— Сломалась, не ошибся.

— Где же так угораздило?

— В жизни,

Азарыч решил, что Батрак острит, покачал головой.

— Ну, в жизни твоя ось крепкая. Дай бог каждому.

Помощник Корнея Володя Качанок все лето работал в надежде, что колхоз даст ему рекомендацию в сельхозинститут и будет платить стипендию. Цели своей он не скрывал, и никто его за это не осуждает. Иван тоже одобряет Володино желание. Его тревожит, что Корней до сих пор не определился, куда пойдет после школы. А это, кстати, интересует не только родителей, но и Астаповича — охота директору выучить молодого Батрака на инженера, закрепить за совхозом. Думает уже не только о тех, кто придет после него, но и о тех, кто сменит его преемников, из какого теста будут те люди.

Володя — не Корней, у него все рассчитано. Пока дождало, из дому не выходил, отсыпался. Все равно комбайны на приколе. А когда посветлело небо, сразу на ток, чтобы с очередным рейсом в Козиное.

Парень поздоровался, полез уже в кабину. Но Иван вдруг припомнил, что Володька какая-то родня тому, возникшему из небытия. То ли двоюродный внук, то ли внучатый племянник? Никогда об этом раньше не помышлял. Дед Володьки погиб на фронте, отец в то время еще мальчишкой был, на несколько лет постарше Ивана. Теперь слесарь на том же машинном дворе, и он, Иван, сколько раз сидел с ним за одним столом. В голову не приходило, кем он Шишке доводится. Володька родился лет через шестнадцать после войны и о Шишке, может, только краем уха и слышал. В селе жили жена и дочь полиция, но все их сторонились. Пожалуй, и родня довольна была, что сгинул бесследно.

А тут Иван ощутил странную неприязнь к парню. Может, вовсе и не из-за родича того самого, скорее, из-за хитрости Володькиной: добивается рекомендации в институт, а спит, вылеживается до обеда. Почувствовал вдруг, что не может он сейчас ехать рядом с Володькой.

— Поедешь с Бойко, — сказал резко.

Володя знал за собой одну вину — проспал, попробовал оправдаться:

— Дядька Иван, так шел же дождь.

— Поедешь с Бойко, — повторил Иван, да так, что парень прямо вывалился из кабины.

Потом Батраку неловко стало от этой ничем не вызванной грубости. Честил себя: так недолго и с друзьями рассориться. А каково ему сейчас без людей, одному остаться?!

Как назло, в этот день все не ладилось. Василь Бойко «сел» на мостике через канал. Пока Иван вернулся с тока, машину Василя вытянули, но, чтобы облегчить ее, не придумали ничего лучшего, как разгрузить кузов — высыпать зерно на дорожку. Правда, подстелили брезент, но все равно

какая-то часть ячменя просыпалась на песок, даже в канал попала, в воду. Может, мешок, два, не больше потерь, но Иван возмущился, выругался, а еще-покрепче слова адресовал тем, кто обязан был отремонтировать мостик. Комбайнеры виновато молчали. И от их молчания ему стало совсем мучительно. Показалось, что товарищи его сегодня как никогда покорны, уступчивы. Такими люди становятся, когда человека настигает беда, когда надо помочь ему. У него же нет никакой беды. Все, что может пасть на долю человеческую, у него было уже. Больше не может, не должно быть!

Иван позвонил с тока самому Астаповичу, чтобы прислал плотников.

В Козиное примчался на мотоцикле Кузя.

Иван заметил его издали и завел себя на крутой разговор: не агроном здесь требуется, а плотники. И ему, главному, следить надо бы, где что не так, мозгами шевелить. Но Кузя опередил его. Накинулся на Бойко — в лесу вся дорога устлана ячменем.

— Ворон надумал кормить? Да Астапович за такое ползарплаты у вас срежет. Из «Искры» делегацию ждем. Что они скажут, полюбуются, как «засеяли» эту самую дорогу. Иван Корнеевич, что же получается?

— Моя вина, я растряс, — сказал вдруг Иван, удивив и Бойко, и Кузю.

— Твоя? — у главного и в мыслях подобного не было. А Иван вспомнил вдруг слова Корнея: «Руки у тебя не туда глядят».

В следующий рейс решил послать сына, а сам остался на комбайне. Никуда не денешься, все равно с Володей придется быть. Заколебался. Боялся своего недоброго чувства к парню. А вдруг сорвется опять? Хотя при чем тут, собственно, Володя?

Нет, нет! Начни он считать всех Шишкиных родичей — сколько людей возненавидеть можно, заподозрить в дурном. Так жить невозможно. Да и не жил он никогда так.

В конце концов, Шишка — не такая уж большая шишка. Были и поглавнее — в черных мундирах, с чужой речью. Тогда, ночью, ввалилось их человек десять...

Сколько горя оставили немцы на нашей земле! Но люди понимают, что не народ немецкий, не немцы вообще — фашисты во всем виноваты. Он, Иван, тоже соглашался, что народ обвинять нельзя. Когда в совхоз приехала немецкая делегация, он был на встрече и аплодировал их дружеским словам. Однако на ужин, пить с гостями водку, не пошел. Не мог пойти. И от предложенной ему поездки в ГДР отказался, удивив многих и разочаровав Тасю.

К Володе надо относиться, как к Володе, комсомольцу, другу сына. Винить можно только за одно — ленится. Превозмогая себя, Иван подождал парня. Тот был изрядно перепуган: бригадир не взял в машину, значит, здорово рассер-

дился за опоздание. Из кожи вон лез, чтобы заглядывать вину, ловил каждое движение Ивана, без слов понимал приказ. А Иван подбадривал его, и самому становилось легче: работа и разговор с человеком отгоняли страшные воспоминания.

— Как там Корней, с прицепом сладит?

— Что вы, дядя Иван! Да Корней хоть железнодорожный состав прицепа — повезет. Машину он знает лучше нашего инструктора. Когда сдавали на права... — Иван понимал, что Володя подмазывается, но все равно приятно, когда сына хвалят.

Невысокий, густой, как щетка, ячмень, остро срезанный жаткой, ровно и легко ложился на шнек, подхваченный транспортером, скрывался в барабане. Нагрузка была такая, что молотилка, казалось, вот-вот захлебнется от натуги, барабан разлетится под напором колосьев. Иван напряженно вслушивался в каждый звук, чутко улавливал любое изменение в режиме комбайна. На ходу по нагрузке точно определял: здесь все пятьдесят центнеров, а вот тут упало до тридцати. Почему? Меньше минералки? Или мелкий торфяной пласт?

За всеми шумами, за грохотом машины вслушивался: вот он, знакомый слабенький, еле уловимый шелестящий шорох зерна, которое транспортер поднимает в бункер. Вернется Корней, пришвартуется рядом, как корабль, о котором он, Иван, когда-то мечтал, и ячмень — живое золото земли — потечет, польется из бункера в кузов.

Так он жил, так чувствовал всегда. Хотел и сегодня забиться в работе, в радости богатого урожая и не вспоминать ни о чем... Не вышло. Был какой-то миг, когда отогнал странную недоброжелательность к Володе. Но стоило тому крикнуть: «Обед привезли, дядька Иван», — и снова будто оборвалось что-то, какая-то связь нарушилась между временем, событиями, чувствами. И сам не поймет, отчего вдруг снова нахлынуло от одного такого каждодневного, такого, казалось, простого слова «обед». Он читал где-то, что, если есть в душе мир и согласие с тем, что вокруг тебя, это называется гармонией. Душевной гармонией. Так вот, разладилась у него эта гармония.

Видел, что привезли обед, но есть не хотелось, а главное, тяготило, что нужно быть вместе с людьми. Любил ведь, ждал прежде этого часа, когда можно и о серьезном поговорить, и посмеяться в свое удовольствие. Да и поесть вкусно. Давно заведено Астаповичем: механизаторов и шоферов в жатву кормить по высшему разряду, такими обедами, которым могут позавидовать столичные рестораны.

Обеды готовились в том же сельповском кульдюме. Но разница была большая между теми обедами, которыми кормили проезжих шоферов, туристов, и теми, что вывозились в термосах в поле. Эти обеды варились в особых котлах из продуктов совхоза. Сам председатель сельпо

держал под контролем их приготовление, доставку, знал: пожалуйся механизаторы, и карьера его бесславно кончится — Астапович не простит. Так уже было с некоторыми сельповцами. А между тем не ради шутки говорили: Яков Качанок, будучи председателем сельпо, понравился Астаповичу именно тем, что кормил механизаторов отменно, с выдумкой.

За каналом оставался еще порядочный клин, гектара на три, а Иван гонял комбайн так, будто надо было сжать последний участок перед дождем.

Комбайны по ту сторону канала стояли в ряд на краю поля, возле березок, оставленных кем-то из мелиораторов просто так, «для красоты» и теперь разросшихся на бугре. Там, под березками, Катя накрывала на «стол». Иван знал, что без него не сядут обедать, видел, как посматривает в ту сторону Володя, и все никак не мог остановиться: все мерещилось, что стоит ему сойти с мостика, оставить это залитое солнцем поле — и он сразу ступит в то черное, обугленное прошлое, одно напоминание о котором причиняло такую боль. Щерба, да и другие обязательно заведут речь о Шишке, для села это событие — «с того света вернулся», — и он страшился этих слов, боялся, что будут говорить спокойно, может, Щерба даже ляпнет что-нибудь в его духе.

Федор, подвернув штаны, «форсировал» обмелевший канал. Остановился перед Ивановым комбайном, расставил руки. Иван вынужден был задержать машину.

— Чего лезешь под комбайн, дурень?

— Лучше скоси меня, чем дай умереть от голода. Кишка кишку догоняет. Слышишь, урчит? Как мотор! — не отставал Федор.

Володя засмеялся, вмиг очутился рядом с Щербой.

— Обедайте без меня.

— Это ты для кулажцев стараешься? Без отдыха трубишь! Пошли они! Не приедут. Не бойся. Дед придумал про комиссию, чтобы завести нас на полный и Яшке с Кузеем страху нагнать. Здорово он их отчихвостил. Давно бы так — розгой по вентилятору...

Федькина болтовня и мертвого расшевелит.

— Не хочется мне есть.

— Не дури! Всем хочется, а ему не хочется. Пошли, а то отобьешь хлопцам аппетит. Ты у нас вместо ста граммов.

Нет, есть ему действительно не хотелось. Больше того, когда помыл руки, прилег на брезент, посреди которого на белой скатерти Катя расставила тарелки с ярко-красными, будто налитыми кровью помидорами, огурцами, свежими и малосольными, холодной телятиной, кувшин сквасом, Иван почувствовал, что страшно устал: вытянуться бы, закрыть глаза и провалиться в спасительный сон. Но разве уснешь под бол-

товню Щербы? И Корнея нет, заехал, возможно, пообедать домой, чтобы не попасть опять на зубок Федору.

Что-то перепутала Тася: Корнею надо было родиться девочкой, а Вале — мальчишкой.

— Прошу вас, мужики, за мою скатерть-самобранку, — приглашала Катя. — Все подчистите, пожалуйста, до остатка!

— Подчистишь тут, когда нутро, как передача несмазанная. Аж скрежещет. Смазочки не мешало бы. Солидольчика. Хоть ягодного. Не могла привезти! Подруга юности суровой!

— Ну нет! Фигу тебе. Раз привезла и закалялась. Не знала, куда глаза девать перед Астаповичем.

— Место боишься потерять? Тепленькое?

— А что? И боюсь. Дети еще малые. Одна их, без отца кормлю.

Голоса долетали до Ивана словно из далекого далека, до которого ему еще добираться. И он боялся этой дороги, ведь лежит она через ту ночь. Но неумолимая сила тянула его туда, в прошлое, о котором он начал уже забывать и которое во всей своей дикой яви всплыло этим утром. Сила эта будто давила на веки, ему трудно было раскрыть глаза и взглянуть ввысь, в прозрачную голубизну неба. Нет, спасение у него сейчас в одном, — быть с людьми, а это значит — в сегодня, в этой жизни.

— Иван Корнеевич, ешьте, пожалуйста.

Он сел, улыбнулся Кате. Его смущало, что она говорит ему «вы». Ровесники ведь. Вместе когда-то на вечерках гуляли.

Иван откусил кусок хлеба и почувствовал, что он застрял в горле. Правда, будто не смазано. Налил квасу, выпил. Больше ничего не смог. Даже муторно стало при мысли еще что-то в рот взять.

— Иван Корнеевич, огурчики малосольные. Свои, не сельповские. Знала же, что дожинки.

— Здорово празднуем! Пьем квас, закусываем огурцами, — завелся опять Щерба.

— Спасибо, Катя, — поблагодарил Иван. — Аппетита нет... после вчерашнего.

— Сколько ты пил! Или Тася еще поднесла? А моя, зараза... десятку спрятал в сапог, в самый носочек, так и там нашла. Собачий нюх у нее на деньги.

— Пахнут, Федя, твои деньги, потому Люба и находит их, — подмигнула Ивану Катя.

— Чем же это они пахнут?

— Чужими бабами. Это на баб у Любы нюх.

Федька, вообще не обидчивый, за эти слова крепко обиделся, долго ругал Катю. Бывало, она на людях целовала Щербу — назло Любе. Объявляла не раз в чайной: «Федька, ты единственный мужчина в этом Добранском монастыре». Люба от таких шуток синела, а в селе хохотали; правда, иные жены смеялись, но бдительности не теряли, считали, что от Катки

всего можно ожидать. Одна Тася никогда не ревновала Ивана. Помогала Кате, когда той было плохо, пьяницу ее не однажды распекала, детей выходила: маленькими они часто болели. Катя была благодарна Таисии Михайловне и, может, потому с особенным уважением относилась к Ивану, робела перед ним, как перед Астаповичем, не позволяла в его присутствии грубых шуток.

Катя повела бедрами, наклонилась, наливая борщ, оголились белые красивые ноги. Насчет баб это она назло Федьке. Все знали, языком чесать может он сколько хошь, а вот чтобы изменить Любе своей, такого за Щербой не водилось. Он даже смутился вдруг, не нашелся, что и ответить.

— Мне борща не наливай, Катя.

— Почему, Иван Корнеевич? Борщ такой вкусный!

— С животом что-то.

— Вот как травишь в этих своих «Бабьих слезах»! Травила бы лучше шпионов кулажских. Так нет же, своих. Скорила вчера людям тухлые котлеты, — Щерба был доволен — нашлась зацепка отомстить Кате.

Но и она не осталась в долгу:

— Мне вот тебя охота накормить, да так, чтоб три дня штаны не застегивал.

Коржов поморщился брезгливо.

— Ничего себе разговорчики, как раз к обеду. Аппетит нагуливать.

Катя покраснела, осеклась.

Иван и от второго отказался, окончательно огорчив Катю, старавшуюся угодить именно ему.

Коржов тоже почувствовал себя неловко — вылез со своими нотациями — и решил исправить дело, повернул разговор на другое, на то, что сегодня было новостью номер один.

— Кто-нибудь видел уже его?

— Кого?

— Шишку.

Иван сжался, словно в ожидании удара. Остальные тоже притихли.

Один Щерба урчал, разжевывая мясо. Справившись наконец с ним, пояснил:

— Люба моя видела. Ряшка, говорит, во! Кирпича просит. Будто с курорта, а не с Магадана. Только шрам на щеке, как у разбойника.

— В Рудню один из них вернулся, так его вскорости рыбаки из Сожа вытащили, — сказала Катя. — Недолго пожилось.

Эту прошлогоднюю историю все знали, поэтому, видимо, никто и не отозвался.

— Нельзя пускать таких назад в свои села! — убежденно сказал Коржов. — Закон такой надо.

Слова его только чуть облегчили душу. Но вернулась прежняя усталость. Борясь с ней, Иван поднялся и под недоуменные взгляды всей бригады побрел по стерне к лесу.

Он встретился мне на улице. Я нес козье молоко от тетки Федоры. Анечка болела, кашляла. А корову нашу немцы застрелили еще в первое военное лето. Приехали на двух грузовиках, остановились в конце села, на выгоне, и, когда стадо возвращалось с выпаса, давай палить, высматривая коров покруглее, а наша яловка была, гладкая. Взвалили потом туши на грузовики, старосте, хромому Прокопу, велели разъяснить, что мясо требуется для немецких солдат, и квитанции дали, сказали, что по этим квитанциям можно в Гомеле получить деньги. Мать за деньгами не пошла, да и никто не пошел. Один Шишка. Вернулся полицаем и привел себе корову, таких перед войной только в совхоз привезли: по ведру молока давали. Люди говорили, что получил деньги за всех и купил себе кормилицу. Но некоторые рассудили иначе: за то, что немцам служит, за это и отхватил корову. Сначала Шишку люто возненавидели, а потом как-то притерпелись к нему. Прошел слух, что Рыгор не дает чужим полицаям в обиду своих, добранских. И от немцев защищает. На соседнюю деревню Кулаги налетели, как подмели, выскребли все сусеки, половину скота угнали. А в Добранку не совались больше. Зерно и мясо сдавали по разверстке старосте. Прокоп был человек справедливый, старостой его свои сами выбрали, потому что еще в ту войну, на которой погиб наш дед, в плену был в Неметчине, понимал их язык.

Мы, военные дети, были вездесущие, как воробы. Знали в свои семь-восемь лет обо всем и обо всех. Кто чем дышит, что в какой хате делается. Во время войны много гадалок по селам бродило. Одни предсказывали конец света, другие радовали матерей наших, обещали скорое возвращение мужей. Как-то такую гадалку полицаи арестовали, прошел слух, что от партизан она приходила. С тех пор мы, дети, в каждой новой гадалке партизанку видели. Зайдет в чью-нибудь хату, и мы туда мигом слетаемся. Как птицы на просо. Нас не выгоняли, считали, нечего скрывать, должны уже знать, какая она, жизнь, что ждет впереди.

Наша семья плохо жила без коровы. Весной совсем голодно приходилось. А тогда как раз наступила осень, полегче стало: пошла картошка, огурцы, капуста, каждое утро ходили по грибы с мамой — насушили целых два мешка. Одних боровиков мешок, а впереди еще ожидали маслята и опенки. На них мама и надеялась. Боровики собирались отнести в Гомель на рынок, продать и купить соли. Соль тогда дороже сала была. Помню, Анечка, когда заболела, просила все: «Мамочка, соли дай, хоть одну крупиночку!»

Да, было это в начале осени, мама говорила: если б не война, ты в школу уже ходил бы. Поли-

цаев я ненавидел еще и за то, что они заняли нашу школу, а тетка Маланка, убиравшая там, сказала: «В свинюшник превратили».

Но, повстречав Шишку, я уступил ему дорогу, сошел с тропки в грязь — дождь лил целый день. Хотя мама и наказывала — здороваться надо со старшими со всеми, я с трудом выдавил: «Добрый день, дядя Рыгор». Друг мой Яшка Качанок и особенно его дед Захарка носили без усталости полицаев. Как-то дед схватился даже с итальянским солдатом, который отобрал у них поросенка. В деревне считали: будь то немец, старому Качанку капут пришел бы. А итальянцы сбежались на крик и, увидев, как дед катается по земле, сцепившись с солдатом, хлопали в ладоши, кричали: «Брависсимо!» Веселые эти итальянцы!

Я сказал как-то маме, что не стану здороваться ни с полицаями, ни с немцами. Если бы она рассердилась, я, наверно, упрямылся бы, настаивал на своем, но она стала просить: «Иваночка, родненький, нужно с ними здороваться. Нельзя проходить мимо них волчонком. Нельзя, сыночек. Они ж как звери бывают... Ну, как тебе, малому, объяснить?»

Мне объяснять не надо было, сам все теперь знал и пожалел ее. Но понадобилось прожить сорок лет, иметь своих детей, чтобы понять до конца все, что испытала она тогда, как боялась за нас. За меня особенно. Анечке всего пятый годик шел, и она больше возле матери держалась. А я латался по селу, считал себя уже взрослым и, налушавшись деда Качанка, мог натворить такое...

Шишка на мое приветствие не откликнулся, прошагал мимо, задрав нос. В черном полицейском мундире, подпоясанном широким ремнем, на котором висела желтая кобура. Раньше у него кобуры не было, ходил с карабином, и старый Качанок издевался: даже до ветра, за хлев Шишка со своей деревяшкой тащится, а присядет по нужде, не знает, куда девать ее. Нас с Яшкой это до слез смешило. А Яшкина мать из себя выходила, ругала свекра: «Пустомеля ты, чего наболтал хлопцам? Какой еще умишко у них, скажут кому, и дойдет до гадов». Почему она считала, что мы такие непонятливые, глупые?

Вдруг Шишка повернулся, крикнул мне вслед: «Эй! Ты чей, Корнеев?»

Я напрягся весь.

«Да, Аленин я», — нас с Анечкой на улице так называли — Аленины.

«Хочешь посмотреть пулемет?»

Мне, конечно, очень хотелось взглянуть на пулемет. И еще хотелось войти в школу, проверить, правда ли там теперь свинюшник. Нет, я не думал, что Шишка может заманить и не выпустить назад. Свой все же человек, считай, сосед, на одной улице живем, А зимой, когда он женился, мы,

дети, набились к ним в хату, и нас угощали там пшеничными пампушками с медом. Но какая-то неясная тревога закралась, мамин наказ подействовал — подальше держись от тех, кто связался с немцами.

«Молоко нужно отнести домой, Анечка болеет у нас».

«Не прокиснет твое молоко».

Он взял меня за руку.

«Идем, идем, не бойся. Хочешь, стрелять научу из пулемета? Пойдешь в партизаны — будешь уметь стрелять. Хочешь в партизаны?»

Это насторожило. Ишь, куда удочки закидывает. На дурачка напал!

«Нет, никуда я не хочу. Мне и дома хорошо».

«А в полицейские хочешь?»

«Не возьмут меня. Мал еще».

Шишка остановился, посмотрел в упор.

«Во ты какой! Молодец! А что его у тебя за пазухой?»

«Фляжка с молоком. Анечке. Кашляет и кашляет. Козьим молоком поят ее».

«А я подумал, граната».

«Что вы, дядечка! Откуда та граната? Разве они валяются? И мать отлупит, если в руки возьму».

«Толковый ты парень, вижу. Как его я раньше тебя не приметил? Мы бы подружились с тобой. Хочешь, патроны дам тебе? От русской винтовки. Целую коробку могу. Цинковую. Блестящую».

«А на что они мне?»

«Играть будешь».

«Не, малые еще в огонь кинут, взорвутся. Мама сказала: хоть один патрончик увижу — шкуру спущу».

Он снова зорко оглядел меня.

«Ну, брат, ты хитрей Цавеньки, — так прозвали в селе деда Яшкиного. — У той падлы старой дрянная изо рта свистит. Заткнуть некому?»

Шишка побагровел, и я сообразил тут же: знает он, что болтает о нем дед Качанок. Может, передали, как и мы с Яшкой в лежку лежим, когда передразнивает дед и Шишку, и Кулешонка, и еще полицейав не из нашего села, но старик-то разнюхал, кто они, откуда, из какого рода и племени. Когда-то овчины выделывал, всю округу исходил, знакомых у него везде тьма-тьмушая. Мне стало страшно. Не станет ли признавать про старика, про деда Захарку? Тут же дал себе клятву: ничего не скажу, пусть хоть на огне жгут. С надеждой, с мольбой глядел на встречаемых: догадайтесь, не по своей воле я с Шишкой иду, скажите матери, чтоб выручала. Она что-нибудь обязательно придумает.

Школа наша тогдашняя — деревянная, одноэтажная — мне казалась огромной, больше дома в деревне не было. Построили школу перед самой войной. Даже бревна сосновые не потемнели еще, желтели сучки, светилась, поблескивая наплыва-

ми, проступавшая на дереве живица. Смолу эту я заприметил сразу, очень захотелось отколупнуть кусочек.

Шишка повел меня за школу, во двор, густо заросший полынью и лопухами. На стене хлева, где стояла раньше директорова корова, прибиты были два листа фанеры. На одном обычная мишень, черные и белые круги, на другом намалеван красным человек: голова, грудь, ноги, руки... Круги были продырявлены пулями, и дырочки обведены углем. Человеку же стреляли в лоб и в грудь, туда, где сердце. В фанере образовались широкие рваные дыры, сквозь которые виднелась расщепленная пулями стена хлева.

Мне страшно стало, что в «человека» стреляют.

«Хочешь попробовать?» — предложил Шишка.

Кто из нас, мальчишек, не мечтал об этом тогда? Но там, на школьном дворе не захотелось, неприятно было, а отказаться не отважился. Шишка достал пистолет, дунул в дуло, вытащил обойму, осмотрел, потом вставил ее обратно и дал пистолет мне.

«Целься в лоб ему, етому бандиту».

Пистолет был тяжелый, но не только от тяжести дрожала моя рука. Я не мог выстрелить в человека. Попросил:

«А в яблочко можно?»

«В партизана, значит, не желаешь? — недоброе усмехнулся полицей. — Та-ак. Ну, давай в мишень. Попадешь в десятку — получишь премию. Мушку подводи снизу, под яблочко. И нажимай тихо».

Выстрел прогремел неожиданно для меня самого, пистолет чуть не вырвало из рук. Пуля не попала даже в самый большой круг, пробила фанеру в левом чистом углу.

Шишка довольно засмеялся.

«Эх ты, стрелок! А еще в партизаны хочешь. Хочешь?» — внезапно переспросил он. Но я, хоть и оглушен был выстрелом, ухо держал остро.

«Зачем они мне, партизаны те?»

Шишка отобрал пистолет.

«Стрелять нужно так. Партизану бьют в левый глаз. Смотри!» — он как бы подбросил пистолет вверх и, почти не целясь, выстрелил. На щеке у «человека» под большой дыркой засветилась новая, маленькая.

На крыльце том, что со стороны хлева, через которое входили когда-то в школу учителя, стоял второй полицей, нездешний, он и говорил не по-нашему — по-городскому. Добранцы окрестили его Лапай. Дед Качанок больше всех, пожалуй, ругал именно Лапая, потому что из окруженцев он, в Красной Армии служил, а перешел к немцам. Даже Лапаем не называл — Иудой.

Лапай взирал на меня с насмешкой, брезгливо как-то, и я с трудом удержался, чтобы не бросить ему в лицо все его прозвища сразу. «Не лупи так глаза на людей, гад ползучий!»

Он сказал Шишке тоже с издевкой:

«А я думал, партизана в плен взял и расстреливаешь без нас... Оказывается, смену себе готовишь. Долго ждать. Не дотянем...»

«Хватит каркать. Мы с Иванкой старые дружки. Соседи. Это сын Корнея Батрака».

Лапай свистнул так, будто хорошо знал отца моего и обрадовался встрече с его сыном. Теперь он смотрел на меня совсем по-другому.

«И как? Умеет стрелять?»

«Научится. На лету все хватает. Приходи, Ваня, почаще».

«Угостил бы такого дорогого гостя», — сказал Лапай.

«А вот это ты прав, Кузьмич! — Шишка обрадовался подсказке. — У нас такое угощенье, пальчики оближешь».

Я был стеснительным, так нас воспитывали, так мать учила: не лезь в чужом доме за стол. Когда заходил к соседям, если те обедали или ужинали и предлагали мне драник или ватрушку, я всегда отговаривался — уже ел это самое, — хотя и глотал слюну. У родных, кроме тетки Федоры, разве что яблоко или грушу мог взять. И вдруг у полицаев угощаться! Что дед Качанок скажет? Узнает и в дом не пустит: иди, скажет, целуйся там с ними!

Но как отказаться, если ты все равно что под арестом? Попытался отвлечь их внимание, напомнил Шишке:

«А пулемет?»

«Какой пулемет?» — удивился Лапай.

«Пулемет ему хотел показать», — и Шишка украдкой подмигнул ему. Но я все видел, понял, что нет у них никакого пулемета, что похвалялся Шишка нарочно — завлечь меня.

«Сразу такие штуки не показывают. Заслужить требуется. А вдруг партизанам скажешь, где он стоит».

«Не скажу».

«А если спросят?»

Тут я снова почувствовал желание поймать меня на слове.

«Где я увижу их, партизан тех?»

«А если бы увидел, сказал бы?»

«Что пристал к парню?»

Мы втроем вошли в школу. Я удивился — на свинойщик не похоже. В большой комнате с широкими окнами, за которыми росли молодые еще клены, посаженные школьниками, было чисто, стояло пять белых коек, как в больнице, где лечилась перед войной бабушка, а мы с отцом ездили в район навещать ее. Койки были застланы серыми одеялами. Таким же одеялом покрыт стол.

В углу на деревянной подставке стояли винтовки — не пять, а девять, по числу полицаев.

На стене висел портрет Гитлера. На него я старался не смотреть. А ну, как взгляну и они заставят сделать или сказать такое, чего нельзя ни делать, ни говорить, чего не простят свои.

Но полицаев Гитлер тоже не интересовал.

Лапай поставил передо мной миску с медом, соты лежали горкой, и меду полмиски натекло, в нем плавало несколько почерневших пчелок. От меда пахло сладостью, цветами, дымком. Такого я не видел с зимы, с его, Шишкиной, свадьбы. Но там мед тоненько намазывали на пампушку. А тут целая миска. Хлеба пшеничного с полбуханки нарезали, деревянную ложку положили. Ешь от пуза.

«Давай, давай, Иванка, не стесняйся. У нас бочка меду. Приходи, каждый день будешь есть».

Я подумал, что хорошо бы вместе с молоком принести Анечке меду, кусочек от сот отковырнуть. Может, попросить? У них же целая бочка.

«Сало хоть бывает в хате?» — сочувственно заинтересовался Шишка.

Сала нам с Анькой мама иногда давала по маленькому ломтику на ужин, но строго наказывала не хвастаться. Сейчас много голодных, заберутся в чулан — последнее унесут.

«Не, дядечка, не бывает».

Лапай покрутил головой, странно как-то усмехнулся.

«Башковитый малец».

«О брат! В отца! Голова у Батрака варит».

Не понравилось мне, что интересуется их, едим ли мы сало.

И Шишкина похвала отцу тоже не понравилась. Снова почувствовал ловушку, хитрость. Мед их лизнул раза два — для приличия.

«Что не ешь, боишься, пчела за язык схватит? Дома ж'на одной картошке сидите».

Они ходили вокруг меня, как коты вокруг горячей шкварки. Хотели, чтоб я размяк, осоловел от меда, чтобы поверил им. Но помешал третий полицай — Кулешонок, тоже наш, добранский, только перед войной семилетку окончил. Дед Качанок называл его Свиный Хвост, говорил, что этот олух первым на пулю напорется, может, и от своих. Так оно и вышло: перед приходом наших расстреляли его немцы, а за что, так никто и не узнал. Родители Кулешонка уверяли, что он был связан с партизанами, но не нащлось никого, кто бы подтвердил это.

Кулешонок ворвался в комнату, запыхался.

«Где он?»

«Кто?»

«Тьфу! Во гад Лубок — сбrehнул, что партизана поймали. Летел, как на пожар. Чей это бандит? Аленин?»

Он хорошо знал нас, Кулешонок этот. Жил напротив, через улицу. Все во мне вскипело. Вскочил с табуретки, сжал кулачки, готовый к драке.

«Я тебе не бандит!»

«А где твой батько?»

Я осекся, замолчал. И все тоже сразу смолкло. Понял: ждут, что скажу. Но мать ни от кого не скрывала, что отец на фронте — когда началась война, почти всех молодых мужчин призвали в армию, — потому и ответил смело:

«На фронте мой батько, в Красной Армии».

«А кто к вам по ночам ходит?»

«Никто не ходит».

«Чего же это у твоей матки пузо растет? А-а?» — и заржал.

Деревенский мальчик, я уже знал то, что долго скрывают от детей. Знал, что детей не приносят аисты. Знал, что без отца мать не родит мне братика или сестричку. Родить может только Верка Макуха, к ней полицаи ходят и немцы. Бабы плюются, не глядят в ее сторону, проклинают. Да чтоб этот Свинячий Хвост равнял мою мать с Веркой!

Кровь прихлынула к вискам, затарахтело сердечко, и я бросился бы на Кулешонка или швырнул в него миску с медом, но Лапай опередил. Подскочил и дал ему кулаком в живот так, что тот согнулся в три погибели, заскулил, как собака.

«Научись разговаривать с детьми, сосунок!»

Но и после этого я все равно не поверил тем двоим — Лапаю и Шишке. Чувствовал, хитрят, но, для чего им все это, не мог додуматься.

Кулешонок грязно выругался, и Шишка сразу поволок меня во двор, вывел к воротам, обещал в следующий раз показать пулемет.

Я шел домой медленно, мучительно решал: рассказать матери или смолчать? Чувствовал, надо рассказать. Только она поймет, чего они добиваются. А как же те подлые слова Кулешонка? Ни за что на свете не сумел бы повторить их при матери. Это же можно от стыда сгореть. Сквозь землю провалиться.

Анька прилипла носиком к стеклу — высматривала меня, ждала молочка. Заулыбалась, замаяхала тоненькими ручками. Но я не пошел в хату, увидел, что мать на огороде. Она перебирала картошку: помельче — сажать весной, покрупнее — для еды. Немного было у нас картошки, когда сажали, лошадь приходилось выпрашивать каждый раз у старосты. Мать плакала перед тем, как пойти к нему.

Она сидела на низкой скамеечке на пустых мешках, сбоку от нее стояли корзины. Была в старой бабушкиной серой свитке из домотканого сукна с оборками сзади. Надень до войны такую, обсмеяли бы. А теперь все вытянули из сундуков, в магазин ведь не сходишь, не купишь; правда, кто имел лишний хлеб, крупу, сало, выменивал у городских. Но у нас для обмена ничего не было, самим бы до весны дожить. Мать с натугой разогнулась, будто у нее болела спина, поправила платок, сунула под него волосы.

— Принес молочка, сынок? Налей кружечку Аньке и себе немного. А что останется, поставь на полку, на ужин ей.

Сказала и склонилась над картошкой. А я стоял, молчал. И тогда ее будто толкнуло в грудь, так она покачнулась, потом выпрямилась, посмотрела на меня пристально.

«Что, Иванка? Что, сынок, с тобой?»

«Полицаи в школу меня завели. Шишка».

Мать быстро поднялась.

«Что они у тебя выпытывали?»

«Где мой отец. Я сказал, на фронте. Так я сказал, мам?» Я хитрил, я хотел увести разговор в сторону от главного — от того, о чем спрашивал Кулешонок. Но мать нельзя было обмануть, почувяла, что не договариваю.

«А еще что... что вытягивали из тебя?»

Я не знал, что ответить, невольно перевел глаза и впервые заметил, что свитка бабушкина тесна ей. Застеснялся, наверное, покраснел от такого открытия. Мама подошла ко мне, обняла, прижала к себе.

«Иванка, сыночек, о чем полицаи спрашивали? Скажи мне, скажи, не таись».

Я уткнулся лицом в свитку, от которой пахло землей, картошкой, чем-то родным, домашним. Я не видел ее глаз, и мне было не так стыдно, я отважился:

«Кто к нам ходит ночью? Я сказал: никто не ходит. Они мне меду давали, но я только лизнул, чтобы отцепились. Нужен мне их мед! А, мам? Правда?»

Снова уводил в сторону. А мать целовала меня, шептала горячо:

«Сыночек! Не ходи к ним! Не ходи! И ничего не бери у них. Не надо нам. И ничего не говори. Ты маленький еще, ничего ты не знаешь».

— Ива-а-ан! Иван! — звал кто-то.

Иван узнал этот голос — Щерба. Не сразу и сообразил, что ищут его. Он был далеко — там, в детстве своем, в войне. Спихватился только, когда услышал:

— Батько!

Корней теперь редко говорил ему «папа», особенно на людях, чаще всего «батько».

Отозвался негромко:

— Слышу, сын, слышу. Иду.

Оторвавшись от своих мыслей, оглянулся: где это он, куда забрел? И вздрогнул, пораженный. Да, это было оно, то самое место. Только тогда вот здесь, где кончался молодой сосняк, начиналась дубрава. Дубы были в три обхвата, высокие, богатыри, с них слетали крупные желуди, трахнет такой по голове, если ты без шапки, синяк, считай, обеспечен. Они и раньше бывали тут с матерью. Собирали желуди. Матери хотелось купить поросеночка. Но пока можно желуди смолоть в ручной мельнице и добавлять в муку. Мать говорила, что еще до его рождения в одну голодную весну они так делали и хлеб ничего был, горчил, правда, но, когда человек есть хочет, не обращает внимания.

Да, дубы росли тут особенные. Теперь в окрестностях нет таких дубов.

Ивану до боли стало жаль дубравы, вырубленной после войны. Что-что, а дубы надо было сохранить. Правда, выросли сосны. Какие высокие, гибкие, красивые стали! Как невесты. А тогда был хвойник, по которому лазили пригнувшись, собирали маслята. За дубами росли ольховые деревья на высоких красных корнях, под ними всегда стояла вода, даже в летнюю жару, когда сюда приходили за малиной. За ольшаником начинались болота — Козиное, дальше — Гнилое.

— Ба-атько!

— Иду-у! — отозвался в полный голос. Но не пошел навстречу искавшим его сыну и Щербе. Кружил в бору. На месте дубравы выгнало густой осинник, над которым возвышалось кое-где с десяток старых дубов. Были они покалеченные, опаленные молниями, ободранные ветрами. Мало их, и, возносясь над подлеском, они вынуждены, как отцы, принимать на себя все удары судьбы.

Как отцы. Как матери.

Да, это было тут. Но где? Где они встретились? Так хотелось найти именно то место, будто могли еще сохраниться его следы, отцовой.

В то осеннее утро мать разбудила его задолго до рассвета. Они спали с Анькой на печи, было тепло, уютно, и просыпался он с трудом.

«Сичас, мамочка, сичас», — вскакивал, протирая кулачками глаза и снова валялся на подушку. Мать давала поспать еще минутку, он спростонья чувствовал, стоит над ним, не отходит, целовала в темечко, шептала:

«Сыночек, проснись, голубок мой, за опенками пойдем. А то подберут люди».

Он просыпался долго, но все равно, выйдя на улицу, удивился, что выбрался так рано. Над селом набряк, нависал густой туман, и было совсем еще темно, изредка кое-где тускло светились окна — лучину жгли. Правда, шли они не по улице — за огородами. В такую рань да еще в тумане и заблудиться можно, потерять друг друга. Почему мать спешит? Так рано они выходили только однажды, в начале осени, когда боровики пошли, и, наткнувшись на делянку, мать набрала полную корзину таких черноголовков, что Анечка аж визжала, целовала каждый грибок. А соседка Кулина Щерба посинела прямо от зависти. Так вот, чтоб люди не опередили, не проследили за ними, и старались попасть в лес еще затемно. Но за опятами никто рано так не выходит. Подумаешь, опята!

«Мам, а мам, и опенков тех не видать еще, темно», — Иванка с трудом попевал за матерью. А та прямо бежала, находя лесную узкую тропинку вслепую — тысячу раз по ней прошла, на-верно.

«А мы в Козиное, сынок. На старое место. Там, говорят, их насыпано, опенок».

«Ого!» — представил, как тяжело будет волочить из такой дали кошелку.

Мать вздохнула. Ему почудилось в этом вздохе осуждение — обленился он, и захотелось сказать такое, что могло порадовать ее. Вспомнил вдруг сон, догнал, ухватился за руку.

«Мам, а мам! Знаешь, что мне приснилось? Будто батько приходил. Ей-богу. Только знаешь, как оно во сне, слышу голос его и говорю себе — давай просыпайся, поговори с ним. А глаза никак не открою. Ровно слепились они, от этого я заплакал».

Мать обняла его голову в теплой шапке, поцеловала в лоб.

«Сынулечка мой милый! Как же ты крепко спишь! Смотри, никому про это. Не все и сны можно рассказывать».

«Что я, глупый! Я тебе только».

Опять на этой делянке, правда, было много. Не отходя от одного пня, нарезали с полкошелки. Но мама долго кружила, еще искала. А потом стала вырывать из-под пней целыми гроздьями молодые, упругие, как губка, с темными кружочками на светлых шляпках. Как-то незаметно она отошла в сторону, тихо позвала:

«Иванка, где ты?»

Он отозвался, переключаясь, как и все грибники:

«Ау, тут я!»

И услышал другой голос, тихий, но отчетливый:

«Иванка».

Замедлив, упершись коленками в мокрый мох. Показалось, что заснул на миг и снова снится ему тот же сон, что и ночью, и голос из сна сразу узнал — отцовский.

«Иванка», — зашелестел рядом ореховый куст, отряхнул пожелтевшие листья ему на руки. И все равно боялся обернуться, поверить не мог: откуда он взялся здесь, отец, на фронте же? А фронт вон где, под Сталинградом, об этом говорил дед Качанок, печалился, что зашли немцы так далеко — до Волги.

Только когда услышал совсем рядом «сынок», вскочил, бросился к человеку в кожухе — местные кожухов еще не носили: осень, дождь, — в зимней шапке, которую узнал сразу.

«Тата! Таточка!» — а тот легко, как совсем еще маленького, подхватил его на руки.

Прижался лицом к колючей отцовой щеке и задохнулся от счастья, сердечко так трепыхалось в худеньком тельце, будто бежал от самого села до Подкозиного.

«Как ты, сынок?»

«Хорошо, тата», — прошептал Иванка.

«Анечку не обижаешь?»

«Она же маленькая. И больная».

«Жалей ее, сынок, береги. Ты ж мужчина».

«А ты кто? Партизан?»

«Партизан».

«Ой, таточка, родненький. Какой же я счастливый! Ни у кого из наших нет батьки партизана. Ни у Яшки, ни у Федьки».

«Об этом нельзя рассказывать. И нос не задирай»,— отец опустил его на землю и пальцем вздернул носишко. Это рассмешило мальчика, и он засмеялся звонко, в голос.

«А тут мама со мной. Ау, мама!» Она будто ждала этих слов, вышла из-за дуба, вытирая уголком платка слезы, грустно улыбаясь отцу. Не бросились они друг к другу. И мальчик догадался— не во сне приходил отец, это он сквозь сон слышал его голос. Более того, отец и раньше бывал, потому Кулешонок и спросил, кто к ним по ночам ходит. Обрадовался: если мать и правду родит ребенка, не будет в этом никакого позора, придут соседи на родину; подарки принесут. Но тут же сердце сжалось. Что она скажет людям? И еще больше обуял страх при мысли: а если полиция знает, что приходит отец, подстерегут его, застрелят?

Он, наверно, побледнел, потому что отец испугался:

«Что с тобой, сынок? Чего озираешься?»

«Где твоё ружьё?»

«Есть у меня ружьё. Автомат».

«И ты можешь пострелять бобиков?»

«Постреляем, сынок, постреляем... всех предателей...»

«А Свинячий Хвост о тебе спрашивал. Где, говорит, твой батько. Я сказал: на фронте»,— и снова не хватило решимости рассказать про все, о чем тот спрашивал, глянул на мать, а та тяжко вздохнула.

Отец сел на пенек, притянул к себе.

«Слушай, Иванка. Ты уже взрослый. Хозяин в доме. Должен все знать. Может случиться, что мама... ну, купит тебе братика или ещё сестричку. Так ты знай... Обо мне никому ни слова. Нет меня. На фронте я. Услышишь о матери плохое, молчи, не задирайся, в драку не лезь. Пускай брешут, черт с ними. Добрые люди разберутся, а гадам заткнем рот. Договорились?»

Мальчик согласно кивнул головой, и стало ему легко, прояснилось наконец то, чем он мучился, о чем никому не мог поведать.

Мать всхлипнула.

«Алена, Алена,— успокаивал её отец и вновь повернулся к нему.— Маму, сынок, береги. Мама у нас одна. Самая лучшая».

Мать закрыла лицо платком, плечи её дрожали.

Отец обнял её, нежно провел рукою по лицу.

«Не нужно, Алена, все будет хорошо. Ей-богу, все будет хорошо».

«Мамочка, не бойся. Пусть кто что скажет, так я ему!»

«Ну, вот! Такой заступник с тобой. Орел!»— засмеялся отец.

— Ба-а-а-а-а!

— Иду-у, сынок! Иду-у!

— Где тебя черти носят?— первым вынырнул из-за куста Щерба, осклабился.— Ну да, его все Катины котлеты по лесу гоняют. Во зараза! Нужно Астаповичу капнуть на нее. Помню, я консервами отравился, чуть не загнулся. Сердце совсем зашло. Хорошо, докторша уколom подогнала. А то хотело уже сложить лапки, как мышка. А я крикнул: «Не смей! Дай пожить Федьке!» Послушалось, как видишь. И опять жизнь хороша и жить хорошо.

Иван стоял, молчал.

— Физиономия у тебя кислая, как молоко Любино. «Что, это у меня молоко так быстро скисает?»— передразнил жену.— Крынки, зараза, ленимся вымыть. А десятку в сапоге учуяла. Премияльную. Сам бог и профсоюз наказывали, чтоб по своему разумению употребил. Но все равно опохмелимся! А, Иван?

Батрак увидел сына. Захотелось приласкать тут, на том самом месте, где когда-то отец обнимал его. Но остановился. Было бы Корнею семь лет, как тогда ему. А так вгонись парня в краску. Федька, конечно, не стерпит, отпустит что-нибудь насчет телячьих нежностей.

— Как справился с прицепом, сын?

— А что там справляться?

— На току ж девчата-одноклассницы. Знаешь, как увиваются: «Корнейка, Корнейка-соловейка». Это когда ты приедешь, разбегаются, как мыши, юбки не увидишь. Очень, думаешь, интересна им твоя постная морда! А Корней—ходок! Это он прикидывается тише воды, ниже травы.

— Астапович приезжал.— Корней не знал, как прервать Щербовы шуточки постоянные насчет девчат.

— Ага, я и забыл. Навестил отец наш родной. Крутил пальцами на пузе, как поп, благословлял...

— Просил сегодня кончить уборку,— в голосе Корнея прозвучал даже вызов какой-то: Астапович покоя не знает, а он, бригадир, выбрал время для прогулок.

Щерба прямо в раж вошел:

— Не был бы он мой тезка, если б не провел кулажцев. Попусту старались! Завтра прибудет комиссия из «Искры». Пусть понохают в Козином козье...

Ивана вдруг нестерпимо потянуло за штурвал. Даже руки зачесались.

— Пошли. Поработаем, сынок, с огоньком!

После двух месяцев горячих— сенокос, потом жатва,— когда кому-кому, а механизаторам не выкроить выходного дня, в совхозе объявили нерабочее воскресенье. Для всех. Кроме разве доя-

рок. Отдыхали все сразу, и это придавало селу праздничный вид, праздничный ритм.

Мужчины позже обычного проснулись, аккуратно побрились. Возле парикмахерской с самого утра очередь, чего давно уже не было. Детей наряжали, как в гости, хотя их-то и пришлось скоро переодевать — ночью прошел дождь и на улице стояли лужи.

Возможно, тон задали Астапович и Качанок: едва открылся сельмаг, как они с женами проследовали по главной улице к магазину с пустыми сумками, а назад — с набитыми. Такое случилось редко, чтобы «верхушка» зашла в магазин с женами, да еще утром. Оценили новое платье у директоровой жены, приняли как должное — учительница. А вот про Клаву Качанкову, про ее кримплен посудачили основательно. Своя ведь Клава, лук вместе с ними выращивает. Огородница. А в интеллигенцию лезет.

Тася на улицу не выходила, но выходному радовалась. У нее воскресенье — всегда нерабочий день. Но не считала его настоящим воскресеньем — нужно провожать на работу мужчин. Для нее праздник, когда все дома. Как сегодня. Прижавшись щекой к теплому мужниному плечу, боялась пошевелиться — пусть поспит подольше. А он думал, что она спит, и тоже лежал молча, с закрытыми глазами. Слышали, как осторожно, на цыпочках ходит по дому Корней, оберегая их сон. Одновременно прыснули в одеяло, когда из своей комнаты, хлопнув дверью, вышла Валя и Корней зашипел:

— Тише ты! Старики спят.

А та, вреднюга, во весь голос:

— Старикам не положено поздно спать.

Иван притянул к себе жену.

— Слыхала, как дети нас окрестили? Согласна? Она поцеловала его.

— Нет! Не хочу быть старой. Валька совсем распустилась. Давно ремня не нюхала.

— Ух ты, гроза! — усмехнулся Иван, довольный, что ни он, ни Тася никогда пальцем не тронули детей, самое большее — могла мать хлестнуть Валю рушником или фартуком, и та чаще смеялась от этого, чем плакала.

В то утро она опять было испортила праздник матери — стала выскивать в доме беспорядок.

— Дай ты пожить людям, указчица! — цыкнул Корней.

И Тася пожурила дочь:

— Сама ж говорила, что у каждого свой стиль. У меня он такой. Ты, Иван, тоже считаешь, что неважная я хозяйка?

— Раз уж батраки и шляхта спелись, держись! — вывернулась Валя.

После завтрака она быстренько смылась в клуб. Мужчины остались, и Тасе было приятно это. Присутствие мужа и сына наполняло дом тихим, добрым уютом. К тому же никто не совался в ее дела.

Иван с Корнеем уткнулись в телевизор. Фильм был о селе. Вторая серия. Корней коротко пояснил отцу, который не видел первую серию, что к чему, суть самую.

На какое-то мгновение Иван оторвался от экрана, подумал, нет, не подумал, ощутил всем своим существом, какое это не сравнимое ни с чем счастье — сидеть перед таким дивом, как телевизор, рядом с сыном, со взрослым уже сыном, вот так переговариваться. Но тут же, как лавина в горах, обрушилось, навалилось ледяной глыбой то — его прошлое, его детство. И снова, точно назойливый, наглый призрак, встал Шишка.

Чтобы сбросить этот обвал воспоминаний, высвободиться, Иван позвал жену:

— Тася! Ведь договорились, выходной есть выходной. Иди сюда.

Очень захотелось, чтобы она села рядом. С тех пор как разнесся слух о том, что Шишка вернулся, он убедился, что только дома, только рядом с Тасей оно отступает, прошлое, продолжается привычная жизнь со всеми ее заботами. А заботится он о том, чтобы всем было хорошо — ему, детям, всему совхозу, людям всем, для которых он старался собрать получше урожай, а завтра вот повезет в Гомель огурцы и помидоры. Но стоит остаться одному в машине или в поле, оно снова властно завладевает им. Пять дней уже борется с мучительным желанием пойти взглянуть на того... Но каждый раз сдерживает себя. Может, боится этой встречи, а вдруг станет совсем немого? Может, надеется, что Шишка только наведется к своим и снова исчезнет. Забудут тогда о нем, и он, Иван, тоже забудет, и пойдет жизнь по-прежнему.

Тасе обо всем рассказал глухо и был разочарован, что не поняла, как обычно, с полуслова. Но потом рассудил: и не стоит ей так близко к сердцу принимать это, томиться вместе с ним.

Тася заинтересовалась фильмом. Стояла в дверях, смотрела.

Иван уступил жене кресло.

— Сядь! Ну ее, кухню.

— Я бы с радостью, да, честное слово, не могу, чтобы дети без обеда остались.

— Ты нам по соске дай, — предложил Корней. Глаза его смеялись.

Иван понимал Тасю. Захотелось остаться на весь день дома, чтоб действительно был семейный праздник. Вчера сдуру обрадовался приглашению: забыть обо всем в доброй компании, в застолье! У Якова Коржова младший сын, Андрей, вернулся, отслужил на флоте. Коржов, хотя и постарше Ивана, давний его товарищ, еще в МТС, с ним работали. Андрей — ровесник Валин. Кумовья они с Коржовыми. Интересно, конечно, послушать парня! Плавал в Средиземном, повидал и Грецию, и Египет, и Францию...

А сейчас расхотелось слушать и о море, и о дальних странах. Подумал, что пить придется, и

немало, наверное умеют его друзья поприбавить, а особенно по такому случаю. Испугался даже: неизвестно, как поведет себя, если возьмет вдруг да выпьет лишнего, в теперешнем его состоянии. Может сделать или наговорить такое, чего трезвый бы никогда не сказал. Знал, что Тасе хочется пойти в гости. Вчера подглядел ненароком, как она примеряла новое платье, как вертелась перед зеркалом. Когда-то тетка Федора сокрушалась: «Разорит она Иванку, подумать только, сколько платьев у нее и еще захочет». Не разорила. Ивану самому приятно было всегда дарить обновки жене. Радовался, что такая она у него парядная и красивая.

Тася тихо прикрыла дверь в кухню, чтоб не греметь, не мешать им. Иван утерял вдруг нить событий, повернулся к сыну — пускай повторит. Но Корней так увлекся, что не заметил молчаливой просьбы отца. От нетерпеливого ожидания — что же дальше? — даже потирал колени. Иван смотрел на него, и никогда еще не было, чтобы так вот нашло все сразу — и любовь, и умиление, и гордость, и... страх перед теми опасностями, которые могут встретиться сыну. Самое страшное — война. Но почему война? Откуда? Ага, в фильме происходит все накануне войны. Он тряхнул головой — отогнать наваждение, протянул руку, дотронулся до сына. Не заведено у них такое. Давно уже не обнимал его. Попытался вспомнить, когда было в последний раз. Когда еще на руках носил? Нет. Когда отъез в пионерский лагерь. И позже, Корнею исполнилось тогда пятнадцать. Он родился в январе, и Тася придумала, чтобы Иван по такому случаю прокатил их не на грузовике, а попросил лошадь у Астаповича. Тася и Валя по очереди держали вожжи, а он, захмелевший от выпитого вина, от счастья, от мороза и леса, сидел в возке, обнимал притихшего счастливого именинника.

Иван встал, подошел, опустил руку на плечо сыну.

— Батько, — предупредил тут же Корней, — никаких боевых заданий, пока не досмотрю. Разве не интересно?

«Интересно, сын, интересно. Но я не боевое задание хочу тебе дать. Не надо никаких заданий! Просто хочу поближе к тебе, как хотел мой отец, когда нес меня... когда нес...»

Горячка все еще продолжалась, но бывали и минуты просветления. В одну из таких минут я узнал человека, поившего меня теплым молоком. Усы узнал, большие, пышные, как у Буденного. До войны лесника Шмыгу так и называли — Буденный. А потом перестали, потому что служил он немцам, так же зорко сторожил лес, так же наказывал порубщиков. Штрафовал, чтобы угодить полициям. Говорили, сын его, хромой Тимоха, из-за этого сбежал от отца и пропал неизвест-

но где. А следом и жена ушла искать сына. Поэтому усатый Шмыга особенно лотовал. Узнав его, я испугался и после в бреду среди тех, кто гнался за мной, завывая, как волки, видел Шмыгу. Когда спадал жар, пытался вспомнить, как очутился на этой теплой печи. Где все это? В школе? У полицаяев? Нет, там печь не такая. Наконец ясно стало — в лесной сторожке. Сколько времени тут? Почему этот усатый поит меня молоком? Как я попал к нему? Ну да, хотел отыскать в пустом перепаханном огороде картофелину, свеклину или турнепс, всегда что-то остается. Но не только голод привел сюда, картошку можно было найти в поле, там выбирали не так чисто, как на огородах. В первую же ночь в Подкозином, где отыскивал отца, выли волки, и я забрался на дуб и дрожал от холода. Уже взялись морозы, а я был босой, в старом изорванном ватнике, который содрал со своего забора: мама делала пугало для воробьев, чтобы не выклевывали семечек из подсолнухов. Так ватник и висел с той поры там. Странно, что, когда горел дом, я додумался, убегаю, прихватить эту одежду. Наверное, ватник меня и спас, иначе тут же замерз бы.

Невозможно вспомнить точно, объяснить, что привело меня к дому лесника. Видно, все вместе — и голод, и волков боялся. Но больше, чем волков, боялся немцев и полицаяев. А Шмыга с ними ведь. Видимо, уже брала свое, одолевала болезнь, и меня потянуло к человеческому жилью. Или все другие страхи отступили перед голодом? Но огород, дом — все вокруг сторожила собака, она лаяла беспрестанно. Собак я не страшился, однако высунуться из леса не отваживался. И отойти подальше от дома тоже не мог, особенно когда там затопили печь, потянуло дымком, засветилось окно.

Может, тогда и почувствовал, что закоченел, что все во мне застыло — ноги, руки, даже язык, да, да и язык; хотел заплакать — не плакалось, хотел приманить собаку — не сумел слова вымолвить. Но мысль еще теплилась и вдруг повернула на другое, на стог, что стоял возле хлева. Вот где спасение! Надергать сена. Накрыться им. Вспомнилось, как тепло в сене. Даже вкус его вспомнил. Есть травинки сладкие, их можно жевать, они повкуснее желудей, которые ел днем, блуждая в Подкозином, надеясь еще встретить отца, хотя понимал, что партизаны не должны быть так близко, а в тот раз отец очутился здесь только потому, что сговорился с мамой. Я знал, что произошло в нашем доме, но детское сознание мое не могло вместить, принять то, что мамы нет уже. Я звал ее. И, больной, у лесника тоже звал. А потом, приходя в сознание, пугался, что все это при Шмыге. Мне казалось, что это тайна — где теперь она, мама, — наша с ней тайна. Дал слово себе молчать. Но Шмыга ничего и не спрашивал, поил меня молоком и громко вздыхал. Усы его торпорщились, и я закрывал глаза,

проваливался в черную пропасть. Но, возвращаясь оттуда, из страшного больного сна, временами сам слышал себя в бреду, понимал, что говорил о маме, об отце. Охватывал новый страх, я укорял, ругал себя. Сено! Оно подвело. Оно!

А собака бегала по двору, обнесенному высокой изгородью, заходила от злости. Чуяла меня, затаившегося в кустах за огородом. Я дождался, когда лесник вышел на крыльцо и позвал ее, впустил в дом. Тогда и метнулся к стогу, стал дергать сено. Но стог был давний, слежавшийся, сено резало руки. Я задыхался. Если даже весной на чердаке поворошить сено, тоже начинаешь кашлять, чихать. Мою грудь разрывал кашель, но я знал, что кашлять нельзя, может услышать Шмыга, и сунул в рот клочок сухой травы.

Больше не помню ничего. Только, что лесник поил молоком. До сих пор не знаю, сколько пролежал у него. День? Два? Неделью? Об этом никто мне не говорил.

В ту ночь я просыпался несколько раз, может, от шума леса, от собачьего лая или от храпа Шмыги. Лежал, думал, как убежать отсюда. Даже пробовал подняться, но снова проваливался все в ту же черную пропасть, где выли волки, шипели змеи и скалили зубы страшные усатые морды не то людей, не то зверей.

Проснулся оттого, что зажегся свет. Сколько того света от каганка, а разбудил, секанул по глазам, даже больно стало. Но не только свет привлек мое внимание — голоса. Я затаился, как зверек. Пришли за мной? Немцы? Полицай? Но что это? Чей это голос? Хриплый, словно и чужой, но и знакомый, нет, не знакомый — родной, единственный на свете. Голос отца! И я крикнул сколько хватило сил: «Тата!» Голоса стихли. Потом отец сказал, это я услышал и запомнил на всю жизнь: «Хлопцы, худо мне, Иванкин голос слышу. Зовет меня. Все эти дни зовет».

Тогда я снова крикнул: «Тата!»

И услышал Шмыгу:

«Здесь твой сын, Корней Иванович. У меня. Под стогом нашел».

Отец бросился к печи, схватил меня, горячего, на руки.

«Сыночек! Сыночек мой! Живой! А я ж тебя похоронил, кровиночка ты моя».

Я хотел рассказать:

«Таточка, они маму...»

«Не надо, сынок, не надо. Все знаю».

Я закрыл глаза, блаженно прильнул, припал к отцу.

«Услышал я, что ищут они парня. Лапай с Шишкой ищут. По селам шныряют, родных ваших трясут. Подумал: заглянут и ко мне, поздно будет. Куда мальчонку денешь. Потому и передал, чтоб пришли. Нужно забрать его, Корней Иванович. Очень болен ребенок, но оставил недвзя», — объяснял Шмыга.

«Спасибо тебе, Прокоп Селиванович. В ноги кланяюсь. Вернул ты мне жизнь. Сыночек мой. Дорого они заплатят за наше горе».

Завернутого в одеяло, отец нес меня по лесу. Было темно и ветрено. Лес шумел, свистел, ломались, трещали сучья. Но я уже ничего не боялся. Отец рядом. С ним были еще двое. Они шли впереди, отец за ними, чтобы не споткнуться со мной на руках — ничего же не видно. Шли долго. Но я не спал. Только нос у меня замерз. В ту ночь крепко уже похолодало, сапоги стучали по земле.

«Тяжело, Корней Иванович? Давай поднесу».

Но отец не дал.

«Нет, Петя, не тяжело. Ты молодой, не знаешь еще, что такое нести сына. Своего сына. Единственного... После того как считал, что потерял всех...»

В селе я засмущался бы, возьми отец меня, такого большого, на руки. Но там, в лесу, мне было хорошо, оттого что он не отдает меня, хорошо, спокойно в его сильных руках. Страх отступил, отступала, кажется, и болезнь, возвращалась жизнь...

8

Иван не услышал, как подошла жена, положила ладонь на голову.

— Ты что, уснул? Дрожишь. Боже! И глаза мокрые. Что тебе приснилось?

— Отец.

— Твой? — встрепенулась Тася и по-женски успокоила: — Это к дождю, когда покойники снятся.

Корней повернулся к ним.

— Ну, батю! На таком фильме уснуть! Надо уметь. Скажи спасибо, Валька не видела, а то прочитала б тебе мораль.

Тасины руки пахли свежими булками.

Иван жадно вдохнул этот целительный запах — запах жизни и счастья. И только потом вернулся в сегодня. Что смешное такое отчебучил Корней? Ага, что отец заснул перед телевизором... Пускай так. Иван улыбнулся жене.

— Пойду отутюжу твой костюм, — сказала она.

Промелькнул в окне кто-то. Чужой, своих он узнавал сразу. Немало тут летом проходит горожан — пионерские лагеря вокруг. Но Ивана будто током пронзило. Накинул пиджак и за дверь. Тася увидела его только во дворе. Крикнула в окно:

— Куда ты?

Он не остановился, не ответил. Выбежал на улицу. Заметил вдалеке спину того, кто прошел мимо его дома. Он! Чутье какое-то потаенное не обмануло. Со спины видать: мужчина в годах, ссутулится по-стариковски. Двигался человек хоть и медленно, не спеша, но бодро, пружиня ногами,

Только что не размахивал руками в такт шагам — мешала большая сумка в левой руке.

Ударило в голову до звона в ушах — так торжественно, так уверенно, как и те, что вчера трудились на поле, шествует в их новый сельмаг он, Шишка. За покупками сيارядился в выходной день.

Иван понимал, что не может крикнуть: не имешь ты права здесь ни на что! На то, что сделано нашими руками, нашим трудом! Не имеешь! На машинном дворе крикнул бы, появивсь Шишка там. Но сельмаг есть сельмаг, он для всех. Для общего пользования. Сколько людей проезжают по шоссе, делают покупки, пока свои работают в поле. Очищают полки. Не раз уже говорили об этом на собрании. Но у райпотребсоюза свои соображения. Им план подавай! Какая разница, кто платит. Товары для всех! Но не для Шишки! Нет — протестовало все Иваново существо.

У дверей сельмага, куда уверенно вошел тот с сумкой, Иван остановился. Через стекло витрины увидел, что в магазине людно, как всегда в воскресенье. Так и застыл в растерянности, не знал, что сделает, столкнувшись с Шишкой лицом к лицу, как поведет себя. Нужно же было случиться этому именно сейчас, когда только пришло на память, как его спасли, когда вспомнил отца, уносившего от Шмыги. Лесника вскоре убили в лесу. Полицай объявили, что это дело рук партизан. Он, Иван, возможно, единственный из добранцев, еще в те дни знал, что Шмыга — партизанский связной. Убили, конечно, полицаи. Может, тот же Шишка. Когда строили памятник, на котором должны были высечь имена добранцев, погибших на фронте и в партизанах, он, Иван, написал в обком и прислали из партархива справку, что лесник Шмыга Прокофий Селиванович действительно был связным отряда имени Чапаева, и фамилия его сейчас на памятнике рядом с фамилией Батрака Корнея Ивановича. Все это пронеслось в сознании. Он стоял в нерешительности у крыльца и слушал, как бешено колотится сердце. Будто не шел, а бежал. Но, если бы и пробежал какие-то полкилометра от своего дома до сельмага, разве могло так судорожно биться сердце? Пожалел, что не рассказал Тасе, как взбудоражило его появление Шишки. Нужно было объяснить, чтобы поняла, как ему тяжело, и Тася, наверно, посоветовала бы, как-то успокоила — всегда умела успокоить. Конечно, не пустила бы вот так лететь следом.

Не заходить в сельмаг, вернуться, сказать, отчего как оцумелый выскочил из дома?

Нет, не зайти он уже не мог.

Справа в магазине продовольственный отдел — очередь за хлебом, сахаром, вином; слева — промтовары. Ряды металлических вешалок с висящими на них пальто, плащами, куртками, платьями для взрослых и детей. Ткани лежали на прилавках, мелкие товары на полках.

В магазине всегда не хватало продавцов, и девчата, работавшие там, пропускали людей из одного отдела в другой через узкий проход и выпускали в тамбур — так легче было контролировать. Магазин при магистральном шоссе, кто только сюда не заглядывает!

Иван вошел, окинул быстрым взглядом людей, толпившихся у продовольственного отдела. И, казалось, свалил с себя непосильный груз. Хотелось отереть руками пот со лба. Сердце стучало бешено, но лоб и спину будто ветер остудил, давний ноябрьский ветер, когда после той страшной, той смертной ночи он, босой, в рваном ватнике, рыскал по лесу в поисках отца. Навсегда остались с ним и эта ночь, и этот колкий, прохвативший до костей ветер, эта леденящая стынь.

В очереди все свои, добранские. Чужих только двое, гонщики МАЗов — у шоссе стояло две новые машины, на бортах мелом выведено: «Минск — Кривой Рог».

Как он мог так обознаться? Но у кого же все-таки большая желтая сумка? В промтоварном отделе, когда вошел, вроде не было никого. И вдруг отшатнулся, будто пальнули в лицо... Из-за меховых воротников, из-за зимних пальто высунулся Шишка. Иван считал, что за десять — пятнадцать лет человек может измениться до неузнаваемости. Прошло тридцать шесть, но он мгновенно узнал его. Узнал бы не только тут, когда настроил себя на встречу. В любом другом месте, в любой толпе. Для него Шишка не изменился. Тот же широкий угловатый лоб, только еще более широкой, наверно, голова полысела, из-под клетчатой кепки не видать волос, а когда-то из-под черной полицейской фуражки торчали светлые патлы. Те же глаза, недобро колючие; он, Иван, не забыл этих глаз, сверливших его там, в школе. Только одна щека не такая — от уха до подбородка ее пересекал глубокий фиолетовый шрам.

Взгляды их встретились, и в глазах Шишки Иван увидел — нет, не испуг, не тревогу — напряженное усилие припомнить. Не получилось, не узнал? Или притворился? Отвернулся спокойно, стал рассматривать товары на полке.

А Иван сжал руками доску стола и почувствовал, что сердце его бьется даже там — в посиневших пальцах. Действительно, будто с курорта — дебелый, с виду моложе своих лет. Ему, Ивану, было бы легче, если бы увидел дряхлого старика — хватил, значит, сполна. Правда, отбыл Шишка свой срок давно, последние годы жил на поселении где-то. Злость взяла: «Нянчились там с такой сволочью. Охрана труда, наверно, поставлена не хуже, чем у нас».

Ладони стали влажными. Иван оторвал руки от стола, вытер о штаны. Так они потели, когда, случалось, на дороге возникали рискованные ситуации; он всегда выходил с честью из них — за двадцать лет ни одной аварии. Но ладони в те минуты все же потели, как бы создавали изоляци-

Утрачивался контакт с машиной; он никогда не садился за руль в перчатках, даже в сильный мороз. Руки должны ощущать машину, как живое существо, ощущать каждую извилину, неровность дороги.

— Девушка, а есть кто в этом отделе?

Нет, голос не прежнего Шишки, по голосу его опознать невозможно.

— Придет. На склад пошла,— равнодушно ответила продавщица, взвешивая целую наволочку сахара.

Шишка подошел ближе, разглядывал игрушки и книги. Наверное, почувствовал взгляд, посмотрел будто мимо, но от Ивана не укрылось, издали заметил, как напряглись мускулы на лице. Батрака опять пот прошиб — убедился: нет, не удирать этот тип собрался. Обороняться, нападать. Он еще может нападать? Он вернулся, чтобы нападать! На кого? Ну что же, умерял себя Иван, пусть понервничает, было бы странно, если б оставался спокойным.

Впервые вышел ведь в Добранке на люди. Не представляет, как его встретят. В полном смысле, готовится к обороне. Давно, наверное, готовится, если рискнул приехать. И все-таки струсил явно! Это заметно. Силится вспомнить его, Ивана. Уткнулся в книги, будто никогда их не видел, в школьные учебники, брошюрки. Книг-то, в общем, немного, сразу разбирают, один Корней пачками носит. Тася на книги не купится.

Мысли переключились на семью. Нет, они все время, как челнок, снуют между домом и сельмагом. А еще никак не оставляло: отец несет его от Шмыги в отряд, это очень далеко, за Низками, в Студеной пуше. До утра шли, никому не отдавал и на привалах.

Он и здесь, сейчас слышал отцовский голос, кружилась голова, подкашивались ноги, такая навалилась слабость. Подобное было с ним только дважды: у лесника, когда то и дело терял сознание, и несколько лет назад, при крупном воспалении легких. Почувствовал себя еще с утра плохо. Но не позвонил на медпункт Тасе, не попросил никого подвезти. Поплелся домой сам через огороды, по сугробам, в метель, окутавшую все вокруг белесой мутью. В какую-то минуту охватил ужас, что идет он не туда, не доберется, свалится и никто не услышит, никто не поможет, не найдет. Самая была бы нелепая смерть — у своего же огорода.

— Однако ж,— покачал головой Шишка — то ли продавца долго нет, то ли еще почему-то.

— Ни-нинка! — крикнула продавщица из довольственного. — Иди пальто отпусти.

Знала, из-за мелочи не придет, а пальто — это выручка.

Иван тоже знал Нинку. Ленивая девка, одни парни на уме. Наверно, обжимается с кем-нибудь на складе, иначе чего там застряла. Нина — не добранская, из «Искры», и Федька Щерба, кото-

рый почему-то невзлюбил кулажских, мрачно вещал: все они там, как Нинка эта, лодыри и задаваки.

Иван пожалел Тамару, отпускавшую продукты. Их соседка, подруга Валина, тут же после школы выскочила замуж. Муж этот либо футбол гоняет, либо в кульюме пиво цедит, а у нее на плечах свекровь больная и хозяйство, и сельмаг. После родов грудница замучила. Тася каждый день ей массаж делала. Наверное, и сейчас застудить боится грудь, в плотном шерстяном свитере. Жарко. На бледном лбу капельки пота. Обычно их здесь трое продавщиц. Да еще заведующая помогает. А сегодня всего две, хотя работы в воскресенье больше, полгорода за грибами приезжает.

Его мать тоже совсем молодая была, еще не исполнилось тридцати... Он услышал ее голос — как она просила Аньку спрятаться с ним, с Иванкой, под печью...

Может, он застонал, может, скрипнул зубами или так ухватился за стол, что тот со скрежетом сдвинулся с места. Не помнит. На него посмотрели из очереди. Шишка оглянулся.

Нина вышла из-за занавески, прикрывающей дверь на склад. Высокая прическа, ярко намазанные губы. Добранцев она игнорировала, знала, что они думают о ней, старалась угодить своим, кулажцам, иначе пойдет дурной слух по селу.

— Какое вам пальто? — вяло поинтересовалась — покупатель пожилой, незнакомый.

— Мне не пальто, дочка. Мне разный товар...

— Какой именно?

— Платочки там, косыночки. Матерьяльчику всякого. Туфельки. Щоб подарить... Щоб не пойти к родне с пустыми руками. Подарочки все любят. И малые, и старые.

Шишка оживился. Заговорил по-здешнему, по-добрански; в каждой деревне тут свой особый выговор. Те же кулажцы, каких-то шесть километров отсюда, потешаются над добранским «що», называют «щокалы».

Ивану и это оскорбительно было, что полицией, которого столько лет уже не числили среди жителей села, вычеркнули навсегда из памяти людской, и вдруг заговорил по-добрански. Будто нарочно дразнит.

Потрясло и другое — покупает как, с размахом купеческим. Демонстрирует, какой денежный, харкает всем в лицо: вот вам, похоронили меня, а я тут как тут, и не калека, не с протянутой рукой — с тугим кошельком. И деньги свои не украл, заработал, никого не боюсь.

Шишка отложил с десяток платков, несколько шалей, туфли. Нина смекнула, что покупатель серьезный, и, увиваясь вокруг него, выкладывала на прилавок все новые и новые вещи, предлагала, советовала... Отмеряла штапель, ситец...

— Ты чья, дочка, будешь?

— Из «Искры» я.

— Откуда?

— Из «Искры».

— Кулажечка,— засмеялся кто-то из парней.

— Заткнись, щокало,— грубо бросила Нина.

Шишка развеселился.

— А-а, кулажская? То-то, я смотрю, лихая. Кулажцы все такие.

— А вы, дядечка, откуда?

— Я? Я здешний. Я свой. Странник божий. Побродил вот по свету... Посмотрел на людей.

Чего я молчу, терзал себя Иван. Тут все молодые. Не знают. Сказать им! Сказать, кто он, где и почему бродил этот странник божий. И вдруг похолодел от мысли: а если знают, кто? Слишком много было разговоров в последние дни о Шишке, чтоб не догадаться, кто это пришел в сельмаг. Знают и молчат? Больше того, как проворно обслуживают; Нинка эта ради любого другого лишней раз пошевелиться ленится. Что же такое? Выходит, забыли, простили ему? Одно любопытство осталось. И полицей, пока неделю сидел в норе, расчухал все. Советчики есть. Неужели? А как же!.. Жена? И дочь? Родня. Оп, Иван, чудак, дунал, прокляли Шишку? Не приехал бы, если б не писали. Вернулся, подождал чуть-чуть, затаился и вот выполз. А что ему сделаешь?

Иван снова вытер мокрые руки о штаны. В любой неожиданной ситуации его мозг, руки, глаза, ноги действовали, как проверенные автоматы, мгновенно, решительно. А тут словно что-то застопорило, заклинило, как поршень в моторе, и вся машина встала. Какая тут ситуация? Аварийная? Для кого? Он стоял посреди магазина, уцепившись за стол, будто пьяный. Показалось, что люди глядят не на Шишку, а на него: что произошло с Батраком? Щербе уподобился, тот часами отирается в сельмаге, изучает «покупательную способность». А заодно новости узнает от людей из самых разных краев.

Буквально отрывая от пола огрузившие, неповоротливые, как протезы, ноги, Иван подошел к окну у продовольственного прилавка, встал в очередь. Тамара приветливо кивнула ему.

— Вам что, Иван Корнеевич?

Ей неловко было, что такой человек, муж Таисии Михайловны, стоит в очереди. Знала, никто слова не скажет, если отпустит ему хлеб или вино раньше других. Во-первых, во время уборки механизаторов обслуживают вне очереди, а во-вторых, Батрак никогда никому не вставал поперек дороги, всем делал добро. И он, и жена его.

— Ничего, Тамара. Я постою с людьми. Выходной же.

— Правда, дайте человеку на людей посмотреть. А то у него от машин голова гудит, как у меня от вейлки.— Ольга Даниленко всю страду принимала у них зерно на току.

Но Тамаре все же хотелось Батраку удружить. Подошла к нему, сказала вполголоса:

— Передайте Таисии Михайловне, привезли, что просила она для Вали..:

О чем просила Тася, Иван понятия не имел. Они и не доходили до него, Тамирины слова. Снова кровь прилила, ударила в виски. Шишка показал пальцем, и Нина сняла с верхней полки куклу. Огромную, как ребенок полугодовалый, с беленькими, под натуральные волосы, в красных туфельках со шнурочками. Эта кукла чужеземная простояла в сельмаге долго на соблазн детворе, не одна малышка закатывала «концерт», добываясь ее от родителей. Но кукла «кусалась» — целых восемнадцать рублей стоила. И вот досталась она Шишке, подарит кому-нибудь, покажет свою щедрость.

«Не продавайте ему куклу эту! Не имеет он права ничего дарить детям! Он же убивал их! Люди! Неужели вы забыли?!» — молча молил Иван.

Да разве крикнешь такое? Может, кто и не знает. Но Ольга-то должна помнить, одних лет они с Иваном. В первые послевоенные годы учителя рассказывали в школе о том, что творили фашисты в здешних местах. В детдоме на уроке литературы им дали как-то домашнее задание: опишите, что особенно вам в те годы запомнилось. Он ничего не написал, вернул тетрадку чистой. Учительница молоденькая еще удивилась: «Так, Батрак, ничего ты и не помнишь?» Но от отметки воздержалась. Может, кто и сказал потом ей, что Ваня Батрак слишком многое помнит. Или сама догадалась, что не в силах он написать обо всем этом.

Увидев, как Шишка заткнул куклу в свою сумку, словно похоронил там, Иван ужаснулся — сколько же будет длиться эта аварийная ситуация? Бесконечно. Он дышал так тяжело, что Ольга Даниленко обернулась.

— Корнеевич, простыл, что ли, пыхтишь, как кузнечный мех. Коньячку купи, с чайком, помогает, не экономь. Куда вам деньги девать? Говорят, твоя на машину копит. Кой черт сдалась тебе та машина? На совхозных не наездился?

Завершив покупки в промтоварном отделе, Шишка подошел, стал в очередь в продовольственном, заявил:

— Я занимал за этой девушкой.

И очередь стихла настороженно, расступилась. Одни подались вперед, другие отошли назад, оставляя вокруг него пустое пространство. Никому не хотелось оказаться рядом с ним, коснуться его.

Иван заметил это, понял, знают люди, знают, кто втиснулся между ними, помнят все, и ему легче стало, душа хоть чуть отогрелась.

На какое-то время очередь примолкла, как смолкает любая компания, когда в ней появляется чужак, незваный, непрошенный. Но злость сорвалась на своих.

Внучке старого Дубодела глухонемой Наташе отпускали целых пятнадцать килограммов сахара. Не хватило гирь, и Тамара пошла на склад взвесить на больших весах.

— Зачем его люди по столыку берут? — возмутился кто-то.

— Правда, нужно норму установить. Мешками таскают.

— Слава богу, хватает сахара! Жалко вам.

— Тут эшелон потребуется, если по пуду брать.

— Говорят, свекла в этом году уродилась плохо.

— Ничего, Фидель подбросит. Тростника у них ни сеять, ни полоть не надо, сам растет.

— Думаешь, из тростника сахар сам сыплется? Видел по телевизору, как секут они этот тростник! Тяжелей, чем косой махать.

— Наташа! Що будешь делать с сахаром?

Наташа непонимающе качала головой.

— Старый Дубодел знает толк! Пчел сахаром кормит. Сахар по семьдесят восемь копеек, а медок у него же потом по шесть рублей.

В очереди засмеялись.

Наташа поняла, что это над ней смеются и над дедом, ухватила за рукав Ольгу, пытаясь объяснить, что сахар им на варенье нужен, выросли вот такие груши — она сложила вместе два кулака — и гниют.

— А зачем вам варенье? Меду во какие бочки у деда. Засахаритесь, — внушала, как умела, жестами Ольга. — А потом под дождиком и растаете, потечете. Или оближут вас. Да! Да! Вот так возьмут и обсосут сладкого деда твоего...

Но вдруг объявился защитник — Шишка:

— Не обижайте калеку. Ее бог обидел.

Очередь сразу опять примолкла. Никто ни слова. Ольга Даниленко уж как остра, кажется, на язык, глазами только сверкнула в сторону Ивана, как бы спрашивая: хрястнуть мне этого гада или лучше не трогать падаль, чтоб не смердело? Нет, наверное, лучше рук не марать.

Ивану не терпелось пройти вперед, посмотреть в глаза всем, кто стоял в очереди, особенно тем, кто помладше. Как они? Относятся ли к Шишке так же, как она, Ольга? Отчего замолчали? Уважили старость? Или...

В сельмаг входили все новые люди. Одарка Коноплева — улица звала ее Плиска — поклонилась всем, как в старинку, когда входили в казенное здание. Сделала это не без умысла — тут же попросила пустить вперед: «Года вышли, чтобы в хвост вставать». И прошла, «обревивозала» полки, что где лежит, а взяла всего ничего — буханку хлеба, пол-литра подсолнечного и селодочку... Иван недолюбливал Плиску. Да и не только он. Помоложе вздорная была, брехунья, сплетница. Но жизнь не задалась у нее: муж — сухорукий с детства, алкоголиком стал, спьяну и попал под машину тут, на шоссе. Сын Сергей — худого не скажешь, тихий был, не в мать, и водки в рот не брал. Щерба объяснял: «Его норму отец принял». Работал он электриком в совхозе, все вроде нормально было, а три года назад в больницу

угодил и не вышел больше оттуда — нефрит почек. Одарка так и не оправилась после смерти сына, вдобавок на ухо еще туга стала. Шумит, око-лесицу несет, бестолочь порет. Кто говорит, не такая уж и глухая, притворяется больше, на жалость бьет. Но сочувствовали старухе.

— Иваночка, и ты стоишь? — удивилась Плиска. — Астапович же распорядился механизаторам без очереди.

И тут заметила Шишку, всматривалась долго, подслеповато, пока тот не улыбнулся ей.

— Не припомнишь, кума Одарка?

И она, обрадованная, что узнал ее через столько лет, будто в молодость вернул, всплеснула руками.

— Рыгорка! Чи ты, чи не ты его? А божечка мой! А мне говорят: кум твой вернулся. А я-то не верю. С того света не возвращаются.

Вся очередь наблюдала за ними. Те, кто знал Плиску, ожидали представления. Иван — со страхом. Кум. Кума. Есть и такие, выходит, кроме близких родственников. Он и не подозревал, что Коноплевы кумовья с Шишковичами.

— Дай же, Рыгорка, поцелуй тебя.

Шишка поставил на пол сумку и пошел на встречу Одарке, широко расставив руки. Двигался спиной к Ивану, но тот и со спины видел торжество Шишкино. Еще бы! В таком людном месте его, каторжника, так встречают! И кто? Она же из старых добранцев, из тех, кто все видел, все помнит. Значит, не такой уже и виноватый.

Они обнялись и трижды поцеловались. Кто-то пошутил:

— Не разучились!

В очереди засмеялись. Но ни Шишка, ни Одарка не обратили на это внимания.

— Как же ты, Рыгорка?

— Ничего, кума, живой, как видишь. Бог милостив.

— А мы ж тебя, Рыгорочка, похоронили уже. Я, грешная, сама свечку за упокой ставила.

— Бог милосерден, — снова повторил Шишка. — Не дал загубить душу.

«Это у него-то душа?» — Ивану почудилось, что он кричит на весь магазин.

— Когда живешь с богом в душе, всевышний не отдаст тебя на растерзание... — С этими словами Шишка наклонился над своей желтой сумкой, достал гарусный платок, ловко накинул на плечи Одарке. — Это тебе, кума, от меня...

Плиска даже зарделась.

— Спасибочка, Ксенофонович. Такой подарок!

Ивану застилала глаза синий туман. Почему синий? Посинели лица. Посинел хлеб на полке... Что это? Он теряет контроль над собой. Может беды наделать — детям, Тасе... Тасе! Не хватало воздуха, он метнулся к двери, на улицу, туда, где сиял августовский день, где шумела жизнь. Обычная деревенская жизнь.

Не слышал, как Ольга Даниленко не выдержала, испортила-таки кумовьям встречу — сказала резко, непримиримо:

— Ты бы господу хоть не трогал.

— Я его не трогаю, дочка. Во мне он. Твердыня моя. Спаситель мой...

— Если бы не знала, кто твоя дочка, сказала бы... Папаша! Не дай бог такого отца!

Плиска возмущилась:

— Чего это ты кошкой дикой на людей? Игнат под ребра надавал, что ли?

— А ты, старая торба, помалкивай! Залепили тебе тряпкой мозги.

Плиска, увидев, как сгорбился вдруг кум, отвернул лицо от людей, не нашлась, что ответить, отошла поскорей в другой конец, взглянуть, наверное, сколько стоит платок подаренный. И незаметно, так ничего больше и не купив, выскользнула из сельмага.

9

— ...После встречи с отцом я старался не попадаться на улице полициям, особенно нашим, добранским. Боялся их. По глазам моим, по тому, как буду прятать их, глаза, догадуются: знаю, где отец. Что бить будут, не боялся, как бы ни лупцевали, никогда не выдам тайны, которую доверили мне, как равному, отец и мать. А ласки Иудиной, как говорил дед Качанок, страшился. Завижу издали Шишку или Лапу и, будто кот от собак, в любую подворотню, в чужой двор, в какую угодно щель забьюсь... Яшка Качанок издевался: заяц ты пугливый. Как и дед его, козырял смелостью: нарочно идет мимо школы, дразнит собаку ихнюю, свистит. А после того, как полицией вытянул его шомполом, совсем нос задрал. Герой! Ты что, Тася?

— Ничего, Ваня. Подумала, Качанок — он и тогда уже был Качанком.

— Нет. Компанейский был парень. Порассуждать любил. Это у него от деда. Один раз не выдержал я, когда он назвал меня трусом, смазал ему по роже. «Да я знаешь, кто!» Но тут же прикусил язык, разревелся, как маленький. Не смейся. Никто из нас не считал себя тогда маленьким. Я тем более. У него, у Яшки, все-таки дед был, заправлял дома. А я один мужик на два двора — на свой и на бабушкин. Бабка у нас хитрая была, нарочно советовалась со мной, как с хозяином, кормила, приговаривала: мужчина-работник. Мама, та, конечно, обходилась, как с малым, работу потяжелее старалась сама сделать. Что повкуснее, нам с Анькой подсовывала. Раньше могла дать мне нагоняй, накричать... А в ту осень... в ту осень... Не смотри на меня. И не удивляйся, когда я заплачу.

— Что ты, Ваня!

— Никогда ты не видела моих слез. С тех пор как появилась ты, я не плакал. Все стало дру-

гое. Нет, вру, плакал. От радости. Бывало, выпью самую малость, а пьяный... счастливый, что ты со мной... что дети у нас... Помнишь, Корней ногу сломал на велогонках. Лечу к нему в больницу, дороги не разбираю, а он ничего... лежит себе веселый. «Наклонись,— говорит,— папа...» И поцеловал. Корней же у нас — не Валька, скупой на ласку, на слово. Вот я и заплакал, удивил его. Но подожди. Про что я?..

— Про Яшку.

— Ах, да... Доброе у него сердце... Трепливый только, как дед. Заносится. Всегда такой был. Я, когда двинул ему, заревел сам, и он, не поверишь, стал просить прощения. Покаялись, что будем дружить вечно. Он даже хотел руку жечь на огне, доказать верность свою. Сидели мы тогда у костра в глинице за мельницей, пекли на углях картошку. Качанок, может, забыл, а я помню. У обоих глаза слезами налились. Теперь часто зло берет за штучки его, хочется в пух и прах разнести на собрании или на бюро, но как вспомню ту клятву нашу... Молчу, будто воды в рот набрал. А он еще попрекает — добреньким хочешь быть. Чего это я о Качанке? Ты и сама его знаешь. У меня в голове как шестеренки спутались, не та передача включается. Скачу, словно белка, с елки на березу. Не бойся, не бойся. С головой у меня все в порядке. Просто взвинтил тот гад, взбудоражил. Все перемешалось, вся жизнь моя. Вот хожу по дому по нашему, с тобой разговариваю, а на самом деле там я, Тася, там, в той хате, в нашей старой. И ты моя мать, укрываешь меня от них... Слушай, она ж совсем молодая была. Это нам уже по сорок с гаком...

— Успокойся, Ваня.

— А я спокоен. Страшно даже, что такой спокойный. Давай не пойдем сегодня к Коржову. Неохота!

— Не пойдем.

— Ну, так вот. Слушай. Увидел как-то, что Шишка пошел в наш двор. Нет, не увидел. Играли у Даниленков, какой-то праздник был, Никола, что ли. Мне Ольгина мать и говорит: Шишка у вас. Я кинулся домой — защищать своих... Схватил колун во дворе. Тяжелый такой по тогдашним моим силам. Смешно, правда? Что я смог бы тем тупым колуном, у него ж оружие. Дверь в хату прикрыта была неплотно. Говорили они тихо, мама даже пошутила: «Мало разве вас, охотников до чужих баб? Говорят, и ты от молодой жены к старой кулаженке ездешь».

Я уже знал, о таком нам, малым, слушать не положено. Замер... С толку сбили слова мамы, голос ее... Чудной какой-то. Теперешний разум тогда бы мне. Другое бы учуял — и страх, и тревогу... все, с чем жила она. Ты вот смеешься, бывает, а я чувствую, плакать тебе хочется.

— Когда это было, Ваня?

— Было, Тася, было. В жизни всё бывает. Доводили тебя и я, и дети, и люди. Ты, может, и

забыла. А я не хотел... не хочу, чтоб ты плакала. Знаю, что это такое, когда мать плачет. Конечно же, маме тогда хотелось плакать. А она... она смеялась.

Шишка сказал:

«Не разводи сплетни, Алена».

«А я их не развожу, Гришка. Какое мне дело, кто куда ездит? Я молчу».

«Молчишь, ето конечно. Сидишь сейчас, как мышь под веником. С таким-то пузом. Но люди... Люди... даже если б увидели, что ходит кто к тебе, все равно не поверили бы. Не нагуляла. Не такая ты баба. Золовка твоя, монашка, прокляла бы. На порог не ступила. А тут таскается каждый божий день. Помогает. Мы к твоей хате дорожку проторили, глаз с нее не спускаем».

У меня уши горели от этих слов. Секреты подслушиваю.

А Шишка знай свое гнет:

«От людей, Алена, не спрячешься. Гудела бы вся Добранка, если бы ходил к тебе кто».

Мать сказала резко так:

«А зачем ко мне ходить? Могу и я к нему. И ты едзишь, и твоя кулажская сюда бегаёт. Выдерет ей косы Марина».

Мне даже страшно стало, что мать задирается с полицаем, режет правду в глаза. Действительно, бабы собирались, обсуждали — плохо Шишка живет со своей женой. Я был сам не свой: что, если разъярится, как тогда мне? Но полицаей неожиданно расхохотался. Оттого, что он сказал, я помертвел.

«Вот ето правда. В ето я поверю, что не он шастает к тебе, мы его давно бы сцапали. А ты к нему. В отряд. За тобой, за ведьмой такой, не усмотришь».

И тут я услышал в ее голосе страх: «В какой отряд? В своем ты уме? Одумайся».

Шишка, медленно растягивая слова, произнес:

«В партизанский. К Корнею. Как он называется?»

«Кто называется?» — удивилась мать.

«Отряд их, куда ты ходишь».

«Не в ту сторону я хожу».

«Черт их знает, в какой они стороне. А как называется, ето знаем. Отряд Сталина. Хана им скоро будет с ним вместе. Гитлер вон куда подобрался. К Волге. К Сталинграду. Под корень подсекает Сталина».

О Сталинграде я тоже слышал. Полицай, где могли, хвалились. Дед Качанок тяжело вздыхал — в самое сердце немцы метят, в Русь, поутих да же от горя старик.

Эта тревога его передавалась и нам с Яшкой. Я решил, что там, в том городе... в Сталинграде... есть какое-то большое-пребольшое сердце, бьется оно, и живут все другие города, села, люди все, живет и воюет Красная Армия... Знал, если сердце пробьют, человек сразу умирает. Помню, как переживал, когда говорили про Ста-

линград. Представлял: танки немецкие, такие же, что шли по шоссе мимо Добранки, и солдаты, и машины их лезут на гору, а на горе этой лежит сердце. Почему на горе, откуда она там взялась, не знаю. Как сон. Может, придумал гору ту, чтобы немцам тяжело было взбираться на нее. А мать вдруг ответила тихо так: «Никто не знает, где корень тот. Глубоко он, не докопаться им».

Шишка даже присвистнул.

«Вот ты как! Сразу видать, набралась партизанского духу».

Голос мамин упал.

«Гриша, ты что это вбил себе в голову? Где мне набраться того духа? От кого?»

«От кого? От Корнея своего!»

«Ну что пустое молоть. С того дня, как в военкомат проводила, только во сне и видела. Пусть не сойду с этого места! Боже мой! За что меня караешь? Ну, согрешила сдуру. Слаба наша сестра перед вами».

«Скажи, кто он, может, поверю тогда. Или со мной согреши».

«Побойся бога, Гриша. И у того жена есть. Со свету сживет. И его, и меня. Матери родной не признаю. Одному Корнею скажу, когда, даст бог, вернется. В ноги упаду, покаюсь. Может, простит... Я уже и так наказана».

Под тяжелыми сапогами скрипнули половицы. Шишка шел к двери. Я присел за бочку, что стояла в сенях, все еще с колуном в руках. Собирал всю силу свою. Дрожал от напряжения, влажные пальцы скользили по топорищу. Примеривался, как бы половчее, если что, секануть по башке его. Тронь только маму.

Нет, Шишка не тронул мать. Пригрозил, ухоя: «Дури голову кому хочешь, только не мне. Детям своим: аист братика им принесет или сестричку. А мне... мне спасибо скажи. Если б не я, давно б ты гнила в комендатуре. Там тебя заставили бы сказать, кто он и где он. Но больше не надейся. Надо мной тоже начальство есть. И Лапай. В курсе он, что творится в селе. Одно скажу. Передай своему: если дорожит вами, пусть бросает поскорей банду ету. На что они, идиоты, надеются? Перейдет к нам — простят. Начальник наш тоже был партийный. Слово даю, не тронут. Живите себе, сейте, рожайте...»

«Было б кому передавать. Может, давно и на свете нет», — мать всхлинула.

Шишка хмыкнул злобно.

«Сказал, не придуривайся, Алена. Москва слезам не верит. Немцы с тобой не будут цацкаться, как я».

Он вышел в сени. Остановился. Показалось, ищет меня, и я сжался в комок. Не от страха — от бессилия. Долго еще потом сидел за бочкой. Почувствовал, нет, не смогу ударить, не смогу убить человека. Хотелось зареветь на весь дом. Чтобы прибежала мать, взяла на руки. Я бы не сопротивлялся. Хотя уже стеснялся взбираться

к ней на колени, как Анька. Мужнина же — семь лет. Помнишь, каким был Корней в семь лет? Как зажгли они солому под Матвеевым хлевом? Помнишь?

— Да.

— Ну скажи что-нибудь. Не молчи.

— Я тебя слушаю.

— Никогда так не слушала. Правда, и я не все говорил.

— Мне стыдно, что слушала не так. Молодая была, глупая. Горя не нюхала. А потом... когда поумнела, ты мало уже рассказывал об этом. Больше про отряд, где был...

— Это я для Корнея. Гордится, что и дед, и отец у него партизаны. Можно ведь считать, что я тоже партизанил. Научился стрелять из пулемета. Когда Васю Мигая ранило в плечо, все утро вместо него бил по гати в Свищах, а он, Вася, заряжал диски. Видел, кувыркнулись в канаву от моих выстрелов два мотоцикла, догоняли наш обоз... Другие залегли, на гать не полезли. Настил там бревенчатый, выбитый... А мы из-за болота палили. Ты в том краю не была? Свою вас посмотреть. Болота, правда, нет того. Но видно, откуда били мы. Отец и забрал нас с Васей. Хватился, что нет в отряде, и вернулся, нашел. Человек пять партизан с ним приехали на конях. Если б не они, туго пришлось бы — немцы обошли, у Горностаев окружили. Мы до ночи в камышах сидели под Росляками, коням храпы завязали, чтоб не ржали. Только ночью к своим прорвались. Вася Мигай... Он, знаешь, был как Корней сейчас. Семнадцать лет. Будто не воевал, играл в войну. Когда отец приехал за нами, Вася байки стал плести о девчатах. Отец, помню, прикрикнул, чтобы при мальчонке... При мне... не распускал язык. Теперь я знаю, сочинял он все, Вася, ничего у него не было... Даже не поцеловал ни одну. Придумывал про себя то, что от других слышал. А может, смерть чувствовал. Меня отец вез, посадил перед собой на холку коня. А Вася сзади, на другом коне, за другого партизана держится, раненый был. Там, на болоте, и пошутил последний раз: «Эх, дядька Матвей, если б вместо тебя Манька сидела моя, разве так обнял бы ее». Матвей еще ругнул его. За Росляками обстреляли нас, вырвались мы и галопом к Кораневскому лесу. А когда остановились дать коням отдохнуть, Вася обмяк, сполз на землю уже без памяти. Так и умер под вечер. Когда хоронили его, отец прижал меня к себе. «Вот, сынок, а мы на него цыкали...» С чего это я перескочил, считай, на год вперед? О Васе рассказывал вам. Помнишь, когда Валька приезжала с ребятами? И в школе тоже. В День Победы. Ты мне седуксен давала, чтоб не волновался.

— Тебе сегодня очень трудно.

— Не знаю, как это назвать. Все вроде пережил и тогда, и в детдоме, и у тетки. До тебя ко всему был готов, к любым ударам. Думал,

что другой она и не может быть, жизнь. А она совсем другая оказалась. Стал даже забывать. И вдруг все опять вернулось. Время назад пошло. Стоял в сельмаге, смотрел, как он покупки делает, хвалится: во какой я живучий, вы меня похоронили, а я здесь и не хуже вас живу. Одних платков десяток купил. Дурехе этой, Плиске, поднес. Оглушило прямо. Взяла ведь, поцеловала.

— Помнят люди, Ваня, знают, кто он такой. Что Плиска? С нее взятки гладки.

— Я почему еще о Васе сказал? Там, в сельмаге, за пулемет потянуло. От этого тоже стало страшно, Тася. После войны ни разу не хотелось стрелять. Обижали меня. Иногда желал, каюсь, плохого обидчикам. Но никогда и мысли не было — за пулемет. А еще страшно, что мы равные с ним теперь выходит... перед законом. Я равный с Шишкой. И ты? И дети наши? Не могу согласиться с этим. Потому и захотелось рассказать все по порядку. Не урывками. Когда познакомился с тобой, да и потом сколько лет не мог вот так, как сейчас. Обо всем, чтобы ты узнала. Помнишь? В нашу первую весну, когда ты Валькой ходила, я привез тебя в Подкозиное, на то место, где встретился с отцом... Раньше часто там бывал, сижу на пеньке, все от слова до слова повторяю наново. Потом долго не добирался туда. А в тот день потянуло. Лес шумел, аж звенел птичьими голосами. Ты нашла гнездо дроздиное. Голыши еще, клювы разевают. Взяла одного, поцеловала в клювик. «Пойдем. Не будем пугать. Пускай мать покормит их, голодные».

— А я этого не помню. Столько раз мы были с тобой в лесу.

— Ты столько раз принимала роды, а сама как боялась родить! Я решил было тогда в лесу, но дрозды те, голыши... Они подсказали: нельзя сейчас тебе в твоём положении про это слушать. В детдоме тоже никому ничего не говорил. Приезжали из газет, спрашивали, как я спасся в ту ночь... Им тоже не сказал. Проклинал себя: почему не кинулся спасать маму, Аньку? Одному отцу доверился. «Сыночек, о чем думаешь, глупенький! И тебя не было бы, единственной радости моей». Теперь я знаю... ничего не мог сделать с ними. Ввалилось человек десять, не меньше, немцы, жандармы, полиция... Лапай... Шишка. Человек? Разве они люди, Тася! Я должен теперь рассказать всему селу, детям своим... Постой, на чем я остановился?

— Успокойся. Я сейчас таблетку принесу.

— Зачем, Тася? Зачем глушить память таблетками? Мы не пойдем к Коржовым?

— Не пойдем.

— А может, пойдем? Я там расскажу... Всему застолю...

— Не нужно, Ваня. У людей праздник. Сын вернулся.

— Да, да. Это счастье, когда возвращается сын, когда он рядом. Так понял это сегодня,

когда сидел с Корнеем, кино смотрел. И ты пришла из кухни, руки у тебя пахли булками. Я подумал: так пахнет счастье. А горе, чем оно пахнет? Землей? Нет. Я пахал ее, землю. Она тоже пахнет счастьем. Сгоревшим порохом? Когда он стрелял из автомата под печь, как запахло там отвратительно порохом, я чуть не задохнулся. Порохом смерть пахнет. Но там, на болоте, с Васей, мне приятен был запах стреляных гильз...

Ненависть наша... К каждому она приходила по-разному. Слепая могла быть, страшная. Самого человека сжигала. Пока я не знал, что отец в партизанах, не скажу, чтобы так уж ненавидел полицаев, больше, наверное, любопытства было: какие они? Все изменилось после встречи с отцом. Как между прорыли в душе. Отец на фронте — это одно, никто и не скрывал, где у них отец или сын. И вдруг тут отец, в нашем лесу, партизан. Мне сразу открылось, какие они враги его — Лапай, Шишка.

Дрожал тогда за бочкой, пока Шишка стоял в сених. Но не только от страха дрожал — от ненависти, от желания убить. Это страшно, Тася, когда хочется убить. Взрослому страшно... А тут мальчишке такое. Может, самое большое счастье, что дети наши не испытали этого. Не хочу, чтоб они узнали ненависть. Думал об этом, когда в сельмаге стоял, когда бродил по лесу. Я пошел бы в Подкозиное. Сила какая-то опять тянула. Но, знаешь, что остановило? Хата Шмыгина. В ней давно уже никто не живет, не желают теперь жить в лесу... Без электричества, без телевизора, детям далеко в школу... Я сколько раз проезжал мимо — ничего никогда не думал. А тут увидел как-то, окна и двери горбылями заколочены. Как кресты, горбыли те... Будто закрыли они мне дорогу туда, в войну... Скорее домой! К тебе. К детям. Они должны узнать все. Правда?

— Должны, правда.

— Хорошо, что Корней ушел, что ты одна. Мне надо проверить себя. Пережить снова все, посмотреть, что там, в памяти, осталось. Что не истлело. Счастливые забывают горе.

— Ты не забыл, знаю.

— Нет, я тоже забывал. С такой памятью больно жить, Тася. А мне хотелось жить... Как все живут. Отец мой и плясун был, и пел, и на балалайке играл. Валька в него пошла, в деда. А поймут они? Валя? За Корнея не беспокоюсь! А для Вали мы старомодные.

— Не бойся. У нее душа добрая, чуткая.

— Очень уж бойка! Обо всем судить берется.

— Теперь все они такие.

— Нет, Корней другой. Помню, как стыдно было слушать, что мать Шишке говорила. Знал, нарочно все. Доказать, что отца нет поблизости. Но все равно стыдно. Хотел, чтобы не узнала. Не слышал я ничего. Долго протомился там, за бочкой. В хату войти не смел — еще догадается, что был в сених. И на улицу не выходил — могла

из окна заметить. Не помню, как и выбрался. Кажется, мать пошла к соседям. Помню только, через огороды махнул в поле. Там, где теперь сосняк, тогда поле было. Ветряк стоял когда-то. В войну мало что от него осталось. Старые балки почерневшие, жернова валялись, валуны кругом. Мы, дети, играли там. День был холодный, осенний. Я долго просидел тогда возле ветряка того. Мучился, ровно виноват в чем-то. А в чем, и сам не знал. Может, первый раз и почувствовал одиночество, когда никому не скажешь, что у тебя на душе. У меня была тайна — отец. Об этом никто не знал, кроме матери, и мы шептались с ней каждый вечер, только Анька уснет. Я все на окна поглядывал.

«Мама, а где они спят?»

«Кто, Иванка?»

«Партизаны».

«Не думай. В зсмлянках спят».

А в другой раз: «Мама, а где они патроны берут?»

Она уже не спрашивала, кто. «С аэропланов им сбрасывают».

«Ух ты!»

В какую силу выростали в моих глазах партизаны, если им патроны на самолетах возят. Так, не называя отца, вспоминали его каждый вечер. Мама даже в лице менялась, светлела, но, бывало, и пугалась, предупреждала опять: «Иваночка, ты ж...»

«Що я, маленький, мама?» И вот, выходит, нашу с ней тайну прознали полицаи. Конечно, коротки у них руки достать отца. Но как же теперь говорить с матерью? А вдруг выдашь, что слышал, о чем разговор шел у них с Шишкой.

Словом, почти день в поле просидел, обедать не пошел. Мать стала искать меня. Нашла там, у ветряка. Обрадовалась. Но я отворачивал глаза, думал, гляну — и сразу ясно ей станет. Мать заволновалась: «Что ты натворил, глаза прячьешь? Скажи!» А что я мог сказать? Сгорал от стыда. Если б не говорила о чужих мужиках!

«Иваночка, не дури ты. На мою несчастную голову и без твоих фокусов все валится».

В тот вечер она отправила меня ночевать к тетке Федоре. Я прожил там несколько дней. А потом уперся: «Не пойду». Федора заставляла меня молиться, и я воевал с ней. Знала б она, кто отец мой. Командир партизанский, а я молиться должен.

Мать согласилась легко: «Не хочешь туда ходить, не нужно. И мне веселей — все-таки мужчина в доме». А вечером, когда Анька уснула, сказала тихо: «Иванка, я хочу показать тебе». И стала занавешивать окна. Я прямо помирал от любопытства, от нетерпения: может, отец что-то передал?

Перед войной мы растили кроликов, тогда многие разводили их, как теперь в Добранке индюков. Какую-то зиму кролики жили у нас под

печью. И проделали нору под фундамент в сени. Помню, тогда мы удивлялись: кролики, а все равно что барсуки.

Об этой-то норе и вспомнила сейчас мама. Пока я ночевал у Федоры, вырыла под печью яму поглубже, прикрыла старой фанерой, а от туда, из этой кроличьей норы, расширила ход туда же, в подпол, под сени, чтобы человек пролез.

Она зажгла свечу, подала мне. «Лезь, не бойся, я за тобой полезу». Я и не боялся. И один мог. Но мать, тяжело дыша, будто несла нас с Анькой на руках, поползла следом за мной. Там под сенями, прошептала: «Туши свечу».

В подпол забирались куры, противно пахло пометом, мышами, сгнившим деревом. Мы добрались до задней стены в сенях, мать отодвинула чурбак, этого лаза раньше не было, и мы очутились под навесом, между штабелями дров.

Мне все это дело очень по нраву пришлось. Вот Яшке бы показать! Ни у кого нет такого лаза.

Когда вернулись в дом, мать, все еще прерывисто дыша, попросила:

«Иваночка, научи Аньку лазить. Чтоб не боялась. Вдруг они придут. Ночью. Немцы, полицаи... Я вас разбуджу... Пока будут стучать, скроетесь там, под сенями. А если уйдут и я не позову вас, вылезайте под навесом... К Федоре и не суйтесь. Слышишь ты? Не нужно туда. В Скиток идите... к тетке Авдотье...» Был за речкой, за Шумилинским лесом поселочек небольшой, домов десять. Я помню, при мне его снесли. Там в Скитке и жила мамина сестра Авдотья. Старше мамы была.

Тогда, может, впервые мне стало страшно. Вспомнились угрозы Шишкины, требование передать отцу, что если дороги ему дети... И я догадался, что мать хочёт уберечь нас. Но самое ужасное было, наверное, в том, что я не поверил всерьез в это убежище. Оно казалось мне пригодным лишь для наших, для детских игр. Не будь Аньки, другое дело... Одному просто было бы... Но Анька... Мать наказывала не только научить ее в нору лезть, но и запугать, чтобы слова никому не пикнула. И в это не поверил — утерпит она, как же!

С того дня ночи стали тревожные, мучили какие-то кошмары во сне. Мать говорила, что я кручусь на постели, покоя не даю ни ей, ни Аньке. Помню, стал умолять: «Мамочка, уйдем к батьке в партизаны». Она засмеялась: «Кому мы там такие нужны?» Какие такие, я мгновенно понял: с ребенком, который должен родиться, с Анькой. И правда, кто примет таких в партизаны? Потом, в сорок третьем, в бригаде был семейный лагерь. После гибели отца меня туда взяли, но я скоро вернулся назад, в отряд отцовский и уже до конца находился там при командире и комиссаре,

Днем Анька охотно лезла вслед за мной в подпечье и в нору. Понравилась игра. Напел ей с три короба: мол, ход этот прокопал зайчик и никому — ни соседям, ни бабушке — ни слова нельзя проронить. А то зайчик рассердится, переберется к Маньке Тимашковой — подружке ее.

Мать рада была, что Анька так легко взлезает в нору. Успокаивала себя — вот и укрытие нашлось. Мне же, говорю, не казалось оно надежным. А потом и забыл о нем, хватало других забав. Мать прямо повеселела. Что с нею, прикидывал я. Не приходит ли по ночам отец, пытался подстеречь его. Но всплыла опять угроза Шишкина, что следят за нашей хатой, давно бы «сцапали». Слово какое нашел, наверно, этот Лапай придумал. Мне хорошо было от мысли, что отец не боится их, смелый он, сильный и не один ходит, с отрядом; отец у нас дома сидит, а у хаты партизаны дежурят, и полицаи трясутся в своей школе, как цуцки.

Стояла осень. В поле, в огороде все уже убрали. Дожди шли, время тянулось нудно. Мороз прихватил в том году рано, и мы, дети, раскатывали, всласть по льду старого русла нашей речушки. В лес ходили только по дрова, носили на себе вязанками. Я, мужчина, все пытался набрать охапку побольше, но тетка Федора не позволяла, сердилась.

Мама учила теперь меня вечерами по букварю. И, знаешь, не вырвала портреты ни Ленина, ни Сталина из того букваря. У соседей, у кого оставались довоенные книги, все такое повывирали. Мать прятала букварь за образа и велела днем его не вытаскивать. Это отец ее просил, чтобы занималась со мной, так она говорила. Мне казалось, что уже одним тем, что рассматриваю портреты эти, наношу вред немцам и полицаям, своим помогаю.

Словом, долго было спокойно. Полицаи ничего такого не делали, чтобы о них разговоры шли. Сталинград у всех на языке был. Дед Качанок радовался: «Я ж говорил, Сталинград — крепкий орешек, сломает там себе Гитлер зубы».

Тихо было в Добранке. Но как-то ночью мать осторожно разбудила меня. Очень осторожно, чтобы не напугать, рассказывала, что когда-то дядька ее наорал на сонного сына и к тому падучая прилепилась. Разбудила, поцеловала. «Проснись, Иванка». Хоть немало времени прошло после встречи с отцом, после прихода Шишки, но спал я все равно чутко. Вскочил, ахнул — зарево за окнами. Багряные отблески падали на стены, на образа... «Не бойся, — успокоила мать. — Это от нас далеко. Кажется, амбар колхозный горит».

Ночь выдалась светлая, лунная. Осевший на крышах иней в сполохах пламени сверкал, как золото. Горел-таки амбар. Он стоял за Кудлаевкой, чуть дальше, где теперь сельповская грибоварня. От нас через огороды не так и далеко. Но ночь была тихая, без ветра. Огонь полыхал,

искры взлетали высоко в небо и, как звезды, угасали там. Пожар не грозил селу. Никто туда, к амбару не побежал. Люди молча, словно не видя друг друга, стояли на своих огородах, смотрели, как пылает амбар. А там суетились какие-то фигурки—полицейские да те, кто жил близко. Ни криков, ни звона, как бывает при пожаре. Только доски трещат. Собаки выли, те, что в школе; да у старосты. В других дворах их уничтожили еще в первую военную осень по приказу. Почему они так боялись собак?

В амбаре хранилось зерно—дани, собранная с села. Большую часть немцы вывезли, но оставалось немало еще гречки, ячменя, проса. Была там и овечья шерсть, и перо, и шкуры—подать на все была. Я сразу подумал, партизаны подожгли, может, отец, и обрадовался. А мать прижала меня к себе и дрожала. Шептала: «Ой, не надо было им это делать! Ой, не надо!» Кому делать? Что? Почему не надо? Меня тоже затрясло от возбуждения, от радости, будто это я поджег амбар с немецким добром.

Утром приехали немцы, целый грузовик. Таких еще у нас не видели—с черепами на фуражках. Один вид их приводил в трепет. Село притихло. Старались не высовывать нос из дома. А мать отвела нас с Анькой... К кому, ты думаешь? Не к бабушке, не к тетке Авдотье. Не к соседям. Через огороды, крадучись, на другой конец села, к Поливоду. Я тебе рассказывал... Евлампий Никанорович еще до революции учительствовал у нас, при советской власти все село обучил читать и писать.

Последние годы перед войной старик не работал, на пенсию отправили. Жена у него умерла, и жил он бобылем. Бабы наши кто ему постирает, кто уберется в доме, кто за огородом присмотрит.

Никогда раньше мы к нему не ходили. Дом у него был, пожалуй, лучшим в селе. Железом покрыт. Много книг, картины на стенах. Меня все это не занимало. Разве только книжки. Не понимал, для чего Поливоде столько книг. И что это за книги, которых ни немцы, ни полицаи не трогают? Или боятся приходить к старику? После того как мать ушла домой, Анька плакала. Старик быстро отвлек ее игрушками да сказками, рассмешил. И меня пытался приручить, но я, хоть и не смотрел волчком, не поддался: сказок не слышал, что ли! Мама приказала строгонастрою: пока не придет за нами, никуда. Если только Поливода сам пойдет с нами. Но я все же подумывал, как слетать к Яшке, разузнать, что творится в селе. Жаль, правда, Аньку: при мне она уши развесит, сказки слушает, а без меня такого реву задаст, старику не совладать будет. К счастью, мама скоро вернулась. Не такая испуганная, как утром. Шепотом, но не таясь от меня, рассказала, что амбар сожгли братья Казарские, а сами ушли в партизаны. И не одни—

мать взяли с собой. Немцы и полицаи ищут ее, всех соседей и свояков перетрясли, объявили: тех, кто скрывает бандитов или их родичей, расстреляют без суда. Очень злые они еще и потому, что Казарский Сергей... он теперь заврайоно на Витебщине, так этот Сергей где-то за неделю перед пожаром в полицию поступил и в ту ночь амбар караулил. Поливода—я приметливый был—тоже обрадовался, за стол посадил всех, чаем поил. Я догадался, почему мать привела нас к нему—значит, с партизанами дружен. После отец рассказывал, что Евлампий Никанорович был первым, с кем он установил связь, как только пришел в отряд. Из армии отца в специальную школу взяли, а затем спустили их всех на парашютах в Чечерские леса, разослали по отрядам командирами диверсионно-подрывных групп. Через Поливоду он и маму первый раз в лес вызвал. В архивах не значится фамилия учителя как связного. Я говорил об этом в райкоме. Разве не партизан был тот человек, которому отец доверился и который знал, конечно, где отряд стоит. Отец сказал мне потом: если б мать арестовали после пожара, старый Поливода привел бы нас, детей, туда, в лес, к нему. Сергей Казарский тоже подтвердил, это Поливода надоумил его идти в полицаи, а потом сжечь амбар. Да такому человеку, скажу тебе, если по-умному, памятник надо ставить. Главное ведь, как жизнь прожил, что сделал для людей. Конечно, всем не поставишь, но такому, как Поливода... Чтить надо хорошего человека и дела его. Однако и о таких, как Шишка, не забывать. Когда Плиска целовалась с ним...

— Далась тебе эта Плиска. Из ума выживает. За столько лет вылетело все из головы...

— Она старая. Ладно! Она забыла. А молодые, те, что не видели войны? Им все равно, кто откуда вернулся? Кто как воевал?

— Нет, им не все равно. Корнею, Вале...

— Я не о своих детях говорю...

— Я тоже не только о своих думаю.

— Ну, ладно, а родители их, наши с тобой ровесники? Некоторые живут—лишь бы тихо было. На собрании ни один не встанет слово сказать. Или на товарищеском суде. Все знают, а свидетелей не найдешь. Никто ничего не видел, никто не слышал. Если такие начнут якшаться с Шишкой?

— Ваня! Одно дело—самогонщик какой-то. Другое—убивать людей. Этого не простят.

— Ты так веришь людям?

— А как же иначе, Ваня. Ты и сам веришь. Не надо из-за одной дурной бабы бросать тень на всех. Ты же не такой. Прости. Я все время перебиваю тебя.

— Нет. Я сам отвлекаюсь. Подступиться страшно к той ночи.

— Может, в другой раз? Может, сходим к Коржову?

— Нет, не рассказывать тоже страшно. Страшно, что до сегодняшнего дня редко вспоминал ту ночь. Сам в чем-то стал Плиской!

— Ваня!

— У нее, может, от горя да от старости разум ослаб. А у меня? У меня от счастья! Жена, дети — позавидуешь. На каждой Доске почета портрет мой. В доме разве что птичьего молока не хватает. Потому и не хотелось вспоминать. Нет, к Коржову мы не пойдем. Я сегодня там, Тася! Там! Утром сидел у телевизора с Корнеем, а на самом деле, закоченевший, подбирался к Шмыгиному стожку. Теперь вот под печью я, и сплит меня, глушит огонь его автомата, засыпает раскромсанный пулями кирпич... В ту ночь им выдали автоматы. До этого винтовки были. Я видел их тогда в школе. По селу они редко ходили с винтовками. У Шишки пистолет был. А когда ввалился с эсэсовцами, с автоматом уже. Не помню, говорил тебе, что случилось это перед праздником, перед Октябрьской? Нарочно выбрали такую ночь. Когда мы легли с Анькой спать... она обняла меня... Часто так обнимала во сне. Не говори, не говори, пожалуйста. Помолчи. Я, случалось, обижал сестру, мог обмануть, ударить, крикнуть — не лжись! А она все равно ластилась. Дурачок был — неловко, когда обнимались при чужих. А если свои только — приятно. И мама не налюбуется, какие мы добрые друг к другу. Сегодня целый день в ушах Анькин шепот. «Завтра мама булок напечет... белых-белых и вкусных-вкусных». У меня даже слюнки потекли. Когда я те булки ел, на пасху разве! Сначала не поверил, Анька выдумщица была, как наша Валя в детстве.

«Завтра праздник, потому мама и печет булки, только ни о празднике, ни о булках никомушеньки. Придут немцы, все заберут...» Это она мне шептала в самое ухо. И я вспомнил про тот день. О нем и дед Качанок говорил, и мама в букваре читала. Осталось в памяти, как перед войной ходили с красными флагами по улице, у сельсовета трибуна была тоже красная. И отец сажал меня на плечи, чтобы лучше видеть: тогда я, как Анька был, чуть постарше. Родился осенью, на Октябрьскую, в сороковом пять исполнилось. А она перед петровым днем, летом родилась, ей только шел еще пятый. Долго мы с ней шептались, не засыпали. Так долго, что мама осерчала. Мы всегда по голосу узнавали, когда сердится она серьезно, а когда — попугать, чтобы «на головах не ходили». В тот вечер это было именно так. И, чтобы сделать ей приятное, затихли. Анька скоро уснула, а я долго еще лежал с открытыми глазами. Керосина у нас не было, жгли коптилку, мазут какой-то, от которого тетка Федора плевалась, говорила, нечистой силой несет. У нее самой перед образами лампадка горела с пахучим маслом. Где она его доставала? Коптилка в тот вечер стояла на прищечке, и мать

возилась где-то там рядышком. Может, и правда тесто месила, готовилась к празднику. Я подумал, что булки печь будет ночью, чтоб никто не видел. А еще думал, что не только для нас с Анькой — для отца и для партизан. Также захотят праздновать, как до войны. Хорошо помню, так интересно было, загадал: станут они ходить с флагом по лесу? Конечно, отец во что бы то ни стало придет в эту ночь за булками, не может не прийти, не зря мать так поздно возится. Притворился, что сплю, но про себя решил: ни за что не засну, не пропущу его. Но притомился за день, набегался... Согрелся под одеялом, Анька рядом сопит носиком, будто на дудочке играет...

Никто так и не знает, когда они ворвались. Соседи говорили потом, как раз в полночь. Старуха Коржова, мать Павла, будто бы схватила ходики со стены, когда гореть стало, и ходики показывали двенадцать. А тетка Федора, которой тоже не спалось, чуяло сердце беду, болело, не соглашалась ни с кем, спорила, что подожгли дом после вторых петухов, считай, под утро уже.

Я проснулся оттого, что мать тормошила меня не так, как обычно. Во всю силу. «Иванка, Иваночка, проснись, сыночек». Анька проснулась раньше, может, потому, что мать схватила ее на руки. Испугалась спросонья, заливалась, плакала.

В дверь громко стучали. Светили в окна. Мать потянула меня к печи. Но я очнулся уже, догадался, кто так грохочет. Мать умоляла, шептала: «Иваночка, в подпечек, в подпечек лезь. И Аньку... Аньку! Под сеньями полежите. Когда уйдут, в дом не влезайте, туда идите... Знаешь, куда... к Евлампию...»

Меня не нужно было уговаривать. Все понял с полуслова... И сразу юркнул в подпечек. Окна, что напротив печи, мать каждый вечер завешивала мешковиной, да и на другие окна сделала занавески доверху. С улицы свет фар падал на потолок. Кричали по-немецки... По-нашему не слышно было.

Но Анечка... дитя неразумное, когда со мной лазила, не боялась ни темноты, ни хорьков, ни мышей. А тут вцепилась в маму, редела на всю хату. Я выкарабкался назад, чтобы втащить ее, но они ударили прикладом как раз в то окно, что напротив печи, зазвенели стекла, потянуло холодом. Мать, больно схватив меня за плечо, толкнула обратно в подпечек. Закричала сердито: «Слышу, слышу! Кому там не терпится? Оденусь и открою!»

Их было много. Входили один за другим... один за другим... В начищенных до блеска сапогах. От них пахло чужим, незнакомым. Принесли с собой фонари, в темноту подпечка пробивались полоски света. И я видел эти сапоги. Одни начищенные сапоги. Говорили по-немецки, мне показалось сначала, вроде и незло. Но вот я услышал голос мамин: «Не хватай! Дай дитя одеть! Не понесу ж ее так вот, голую!»

Ответил Лапай со смешком: «Можешь не гордиться. Без тебя оденут. Офицер спрашивает, где твой муж?»

«А то не знаешь, где мой муж. На фронте, откуда ты удрал!»

«Поговори! Поговори еще! Договорись, сучка партизанская!»

И тут раздался крик Шишкин, он орал на мать: сама во всем виновата, в том, что они ворвались сюда. «Алена! Что ты себе думаешь? Упала господну офицеру в ноги. Попроси. За детей попроси».

Не услышал я, что ответила мать, только Лапай взвизгнул: «А сын где? Сын где? Куда сына дела, шлюха?»

«У родни мальчик», — тихо сказала мама.

«У какой родни? У какой родни? Где?» — Лапай просто как ошалел, и немцы лопотали все сразу, и сапоги их простучали мимо печи, заскрипели, засмердели гуталином.

«Да у старой Батрачихи он. Найдем. Никуда не денется».

«Под печью посмотри! Под печью! Шишка, не лови ворон!»

Сообразив, что будут светить фонарем под печь, я опустился в ямку, из которой ход вел под сени. Ямка слева от стены была прикрыта фанерой. Сверху приклеены на ней какие-то тряпки пыльные. Загляни кто под печь, увидел бы только эти тряпки, мать посыпала их пеплом, куриным пометом, будто кур там держали, да так и не подмели после. Мне нужно было, как учила она, закрыть потом этим щитком ямку. Не помню, то ли с перепугу не закрыл, то ли неаккуратно. Но Шишка не стал смотреть, сунул под печь дуло автомата и... пошел длинными очередями...

— О боже!

— Ты знаешь, я не помню, страшно ли было. Может, оттого, что потом немало страшного видел, тот страх не сохранился в памяти. Одно только и теперь в глазах: яркие-яркие, как молнии, вспышки, автомат бил у самого лица, вот так, у глаз. Я смотрел вверх. Молнии ослепили, оглушил грохот — он водил автоматом, бил во все стороны, пули крошили кирпич. Мне казалось, что обвалилась печь. На спину больно сыпался щебень, потому я, видимо, и пригнулся, сунул голову в нору. Когда хата опустела, я, наверно, не сразу опомнился. Доносились откуда-то далекие выстрелы, будто с улицы. А потом стало тихо-тихо, ни голосов, ни скрипа сапог. И тогда я услышал Анькин голос... Даже у них не сразу поднялась рука на ребенка. Анечка не плакала, она просила. Какой это был голос, Тася! Она просила: «Дядечка, не стреляй, мне больно будет». Не смотри, не смотри так, Тася... Я помолчу.

— Не нужно больше. Хватит, Ваня.

— Теперь уже все. Самое страшное пережил... побыл там, в подпечке, услышал... еще раз услышал ее голос... Анечкин. Мне казалось потом, что,

если бы я выскочил, кинулся на них, грыз их зубами, рвал одежду, мог бы спасти ее. Я долго считал себя трусом. И долго никому... ни в партизанах, ни в детдоме, да и тут, в Добранке... не мог рассказать, что все слышал... то, как просила Анечка, слышал... Тетке Федоре говорил, что вылез через нору и сразу удрал.

Только когда стали подрастать свои дети, когда смотрел на них, семилетних, может, тогда и понял окончательно, каким был наивным в этих своих детских страданиях. Что я мог сделать, мальчишка несчастный?

Хотел вернуться наверх тут же, после их ухода. Но еще там, в подпечке, ударил в нос запах керосина и дыма. Выглянув, увидел, от стола катится клубок огня. Не сразу сообразил, откуда, почему такой огонь, и быстро опять в нору, как мама наказывала. Еле нашел тот ход в поленице, еле дополз до навеса. Они подожгли сразу в разных местах, чтобы скорей загорелось. Наверно, очень спешили. Уверены были, что в живых никого не осталось. Облили керосином, польхало все. Я еще притаился на огороде, видел, как хата горит. Видел соседей — выбежали свои дома спасать. Спрятался от них. К Поливоде не пошел. Пошел отца искать. Мне нужно было скорее найти его. Как можно скорее. Рассказать про все — про маму, про Аньку. Бежать в Подкозное, туда, где встретил его... Найти бы только то место в темноте!

В ту же ночь они убили сестру Казарских Маню и троих ее детей. И бабушку нашу застрелили. Федора говорит, что стрелял немец. Она была, когда судили Лапая и Шишку... Лапая — к расстрелу... Почему не тронули тогда они Федору? До конца жизни обижалась на бога, что не послал ей смерти вместе с матерью, с невесткой, с племянницей. Раздирала мне душу, когда молилась за Аньку. Ты знаешь, я очень жалел ее, тетку, но, бывало, ненавидел за молитвы эти... В сорок втором еще только партизанские семьи уничтожали. Потом стали сжигать подряд села, целиком — Хатынь, Борки, Березняки... Все собирался свозить в Хатынь вас. Но побывал там, неделю не в себе ходил. Боялся. За детей. Памяти своей боялся. Хотел убежать от нее... спрятаться. Вот она и отплатила! Не убегай! Не прячься! Помни! А то заплывешь жиром. Обо всем забудешь, кроме брюха своего...

— Ваня, ты никогда не забывал.

— А как я рассказывал тебе про смерть матери, Аньки? Чтобы не было так уж больно ни мне, ни тебе, чтобы не потревожить счастья нашего.

— Это не ты, это я не умела слушать.

— Перед свадьбой тетке Федоре наказал, чтобы при тебе не оплакивала их. Тайно от нас и молилась до самой смерти своей...

— Не казни ты себя. Она молилась... А ты работал. Для детей. Разве твой отец, твоя мать не старались так же? Ты и за них, и за себя и

жил, и работал. Сначала я поддалась тебе, настроению твоему, а теперь не согласна. Нельзя, Ваня. Не хватало еще, чтобы подлец этот, Шишка, поломал жизнь нашу. Может, пойдем к Коржову?

— Тася!

— Ладно, не пойдем. Это я так. Думаю как лучше. Если не пойдем, то прячься, Федька идет. Пристанет, как липучка.

Иван поднялся со стула, шагнул к двери в другую комнату, но остановился.

— Не прятался я от людей.

10

Астапович был хозяин рачительный, дальновидный, но и умеренный. Не отставал от нового, что вводилось в сельском хозяйстве, во всяком случае, у них в области, однако и не забегал вперед, не стремился во что бы то ни стало скакать на белом коне впереди прогресса. В общем, действовал по старому правилу деревенскому: лучше приbedниться, чем выхвалиться. И, странно, хотя совхоз подчас и недобирает премий из-за этого, рабочие поддерживали проверенную тактику своего директора.

Но вдруг этот расчетливый, предусмотрительный человек решил во что бы то ни стало обогнать своих же товарищей, испытанных чемпионов «по бегу», по внедрению НТР. И произошло это с ним после того, как перешагнул пенсионный рубеж. Все, кажется, получил за свой долгий и честный труд. А покоя нет. То ли теперешнее его положение, завоеванное по праву, позволяло добиться большего, чем он мог раньше. То ли, собираясь, как говорят, на отдых, спешил, пока силы есть, закрепить все так, чтобы тот, кто сменит его, не обмолвился ненароком: «Почил старик на лаврах». Или считал, что наградили его в некоторой степени авансом — и орден высокий, и значок депутатский, — старался оправдать награду.

Отныне главная функция директора заключалась в том, что он «выдавал на-гора» новые идеи. Не просто по-маниловски провозглашал их, «сотрясал воздух», а тут же энергично приступал к осуществлению, если убеждался, что идея стоит того.

Главная тяжесть по реализации директорских планов ложилась на плечи его помощников. Поэтому, наверно, Астапович, подбирая себе образованных, молодых — главного агронома, зоотехника, инженера, экономиста. Все главные и все молодые. И парторг молодой. Молодые руководители, что молодые кони: бсрут с места стремительно, рывком, но быстро выдыхаются и, бьвает, спотыкаются. Спотыкались они чаще всего на «материальном обеспечении идей» все из-за тех же злосчастных «ножниц» между спросом

и предложением. Идей, в общем-то, хватало, переизбыток даже, а машин, приборов, инструментов, металла, цемента, дерева не допросишься. Но Астапович начисто исключил для себя такие понятия, как плановые лимиты, недостача. Все, что существует, что предназначено для сельского хозяйства (не игрушки делаем — народ кормим!), все обязаны добыть!

Чего не могли «выбить» молодые обладатели институтских дипломов, то поручалось Качанку, который много лет назад, будучи уже председателем сельсовета, кончил вечернюю школу-десятилетку и в тридцать три года получил аттестат. О том, как он сдавал экзамены, в Добранке анекдоты ходили. Сейчас у него в наличии имелось с полдюжины справок об окончании разных краткосрочных курсов — по линии Советов, кооперации, профсоюзов; кстати, с курсов этих он привозил отличные оценки, похвальные грамоты и тыкал в нос учителям, которые обучали его в десятилетке, ставили четверки, а потом расписывали, как Индию он искал в Южной Америке.

Астапович смело бросал Якова в любой прорыв, не боялся, что тот осрамит его. Качанок твердо держался заповедей: не воруй, не бери взятки, не пей, не ходи к чужой жене — и не бойся райкома. Конечно, без того, чтобы «услуга за услугу», «ты мне — я тебе», не обходилось. Но, если уж иначе не обернуться, Яков всегда советовался с директором, и, оба опытные, осторожные, они находили такую форму поощрения, к которой не мог придаться ни один ревизор.

Главный талант Качанка и состоял в умении в нужный момент найти нужного человека. Люди эти часто не имели прямого отношения к тому, что срочно требовалось совхозу, но знали подступы к тем, кто распределяет «дефицит» в облплане, владеет им на заводах, на базах, складах.

И Кузя, и Астапович часто ходили на поклон к Рабочкому — всегда чего-нибудь не хватало. Качанок никому не отказывал, но частные просьбы игнорировал. О своем доме, о хозяйстве тоже забывал, и, если не было во дворе его запустения, в том Клавина заслуга. Это он неустанно всем доказывал. Особенно Яков не переносил индюков, которых в последнее время усиленно разводили добранцы. Считал их «гибридом страуса с барсуком». Почему, непонятно. На каждом собрании проезжался по барсукам, вопил против «современного окулачивания».

«Опять Яшка индеек клюет», — острили в задних рядах. И еще возмущался он, что все сами и съедают. Из райпотребсоюза как приедут заготовители с пустым фургоном, так и едут несолоно хлебавши.

Уже года три Астапович на всех совещаниях доказывал, что руководить по-старому не годится: не то время, не те масштабы. Все, собственно, и пытались руководить по-новому. Но считали,

что без АСУ все новое, по сути, не новое, а только подправленное старое. По мере того как приближался ввод крупнейшего комплекса, идея АСУ все настойчивее овладевала Астаповичем. Да и не только им, остальные совхозные директора, которые прежде не так уж подгоняли события, теперь боялись не поспеть за временем. Сбиться с ноги. Не все, конечно, ясно представляли значение АСУ вообще и в частности для хозяйства животноводческого. Одно не вызывало сомнений ни у кого: четкая, отлаженная связь необходима. Как на войне.

Узлом связи занимался Качанок, жил этим, будто оттого, какая будет эта АСУ, зависела его судьба. О том, что настоящая автоматизация может свести на нет значительную часть его деятельности, он и не помышлял.

Правдами — только правдами! — хотя и без лимитов был разработан проект, из-под земли выцарапано все, что стоило немалых денег. Застопорилось из-за «мелочи», из-за какого-то реле, название которого обозначалось двумя буквами и пятью цифрами. Качанок поклялся, что он будет не он, уйдет со своей высокой должности быкам хвосты крутить, в пастухи, если не достанет это злосчастное реле.

В обычные дни, когда с делами управлялись легче, не так, как в жатву, диспетчеру оставляли дежурную машину — на всякий случай. Мало ли что в большом хозяйстве приключится. То неожиданно пришел груз на станцию и вагоны надо срочно разгрузить, не платить же за простой, то авария на линии электропередачи, то кому-то лично безотлагательно требуется машина. Семь тысяч гектаров земли. Две тысячи людей, всего не предусмотреть.

Иван не любил этих дежурств — безучетная работа. Но иногда все-таки приходилось.

Не любил Иван «каботажного плавания», так, помня юношескую мечту свою, он называл эти внутрисовхозные перевозки. А диспетчер предпочитала оставлять именно его. Диспетчером работала жена Виктора Кузи — Лиана, женщина хрупкая, милая, деликатная. Ее, дочь минского профессора, Кузя сорвал с учебы в радиотехническом институте, и она поехала за ним в деревню. Мужчины посмеивались: кто-то видел, как богатырь агроном носил жену на руках. Но это их личное дело.

Какое-то время и сам Кузя, и Астапович не могли подобрать работу для заочницы факультета радиосвязи. В клуб она не захотела идти, плановиком попробовала — не получилось. Но диспетчером попросилась сама, когда у Астаповича кончилось терпение и он уволил Дениса, по-уличному Кружеля, за его «неразливную» дружбу со Щербой. Пользуясь этой дружбой,

Федька выпрашивал внутрисовхозные дежурства, поскольку в этом случае можно было работать на полевых дорогах, не выезжая на магистраль, где, «не к ночи говоря», по словам Щербы, легко встретить «страшных врагов рода человеческого», инспекторов ГАИ.

Лиана стала таким диспетчером, о котором, свыкшись с Кружелем, и не мечтали. Даже многоопытный Астапович не представлял, что совхозный диспетчер может превратиться в столь значительную фигуру — в организатора работы.

— Да ведь это золотая голова — целая ЭВМ! — не переставал восхищаться Лианой Астапович и почему-то чаще хвалил ее при Качанке: — За полгода она изучила хозяйство и людей лучше, чем мы с тобой, Яков. И все помнит! Чего и мы с тобой не помним. А какие задачи задает! Какие комбинации! У нее поучиться надо.

Качанок молчал. Он ревновал к Лиане. Прежде, если где-то что-то рвалось или заедало и машина начинала буксовать, обращались к нему, и он бросался на помощь, звонил, шумел. Теперь без шума, спокойно, вежливо, обходясь без него, без директора, диспетчер улаживает все сама, и все обращаются к ней: «Лиана Альбертовна, сеялки выбиваются из графика — неритмично подвозят семена», «Лианочка, деточка, теляткам на выпасе не хватает воды». Она как бы в чем-то обогнала его, незаменимого Качанка. Хорошо еще, что не ее дело говорить с районом, с областью, выбивать, утрясать, доставать, а то, чего доброго, не только его, но и Астаповича заменила бы.

Лиана позвонила после того, как он отвез на дальний картофельник студентов.

— Нужно в город, Иван Корнеевич.

— Нужно, значит, поедем, — Иван доволен был, что не придется целый день снова в село или, еще хуже, сидеть как привязанному в бытовке у телефона, ожидая наряда. В город хотя и близкий, но рейс. — С кем ехать? Зачем?

— Привезти реле, — Лиана полностью — буквами и цифрами — назвала его, это реле. — Возьмете Григория Ксенофоновича Шишковича. Он знает, где получать.

У Ивана перехватило дыхание.

— Кого?

— Шишковича. По-моему, это тот, что вернулся из Сибири. Я не всех людей еще знаю.

У Ивана сердце зачастило, сбилось с ритма, больно, до спазма сжалось горло.

— Алло! Иван Корнеевич! Вы слышите меня?

— Кто распорядился?

— Яков Матвеевич. Приезжайте, я отмечу ваш рейс в путевке.

Старый совхозный коммутатор после отбоя издавал обычно не короткие гудки, а какой-то странный свист. Иван так и остался стоять с трубкой в руке, слушал, пока не достиг его другой свист — свист ветра в голых осенних дере-

вьях, когда он, мальчонка, голодный, измученный, блуждал по лесу вокруг дома лесника.

Долго стоял он так. Наконец бросил трубку, выбежал из бытовки. Ехал, словно шальной, никогда так не гнал по селу. Куры не успевали отлетать от колес. Затормозил у совхозной конторы так, что облако пыли закрыло двухэтажное здание.

Не заметив на крыльце людей, поздоровавшихся с ним, взбежал через пять ступенек на второй этаж, с ходу рванул дверь кабинета Качанка.

Яков сидел за столом, взмокший от умственного напряжения, сочинял условия соревнования животноводов за лучшую зимовку. Самое трудное было придумать что-либо новое хотя бы по форме, не повторить прошлогоднего документа.

Качанок глянул на Ивана неодобрительно — очумел, невежа, шуму сколько наделал. Пользуются его добротой люди. Но Ивану неудовольствие не выскажешь — друзья с пеленок. Поэтому, изобразив на лице задумчивость, Качанок уткнулся в бумаги. Прикинул, если с Иваном обойтись по-доброму, головастый Батрак может подбросить дельную мыслишку, в частности, Яков Матвеевич не представлял, с каким новым почином выступить дояркам. А хотелось придумать такое, что подхватит вся область, вся республика. Судя по тому, как он ворвался, Батрак возмущен каким-то непорядком. Почему так долго молчит?

Иван действительно слова не мог вымолвить, в голове будто заело что-то, заклинило. Вспомнил вдруг деда Яшкиного. С него и начал:

— Дед твой был человек, а ты г... собачье!..

Ошеломленный Качанок ни одним движением не выдал негодования, только поджал губы.

— Не тревожь костей дедовых.

— Твои кости хочется поломать. Мозги пустые проветрить. С кем снюхался, сукин сын? С Шишкой?

Все наконец прояснилось, и Качанок поднялся, довольный, что не унизил себя руганью, хотя этому наглецу стоило бы ответить его же словами. Вконец распоясался. Но не позволяет Якову должность, кабинет этот.

— Я единственный человек, способный тебя понять. И я понимаю. Злость твою...

— Это не злость. Это...

— Ты, как дед мой, бескомпромиссный. Правильно, Иван! За его тебя уважают. Однако не блажи, дело, брат, есть дело. Скажи мне, что его треклятое реле может раздобыть черт лысый, я и черту поклонюсь.

— И фашисту? И бандиту? Ты! Лидер профсоюзный!

Качанок поморщился, словно кислую раскусил.

— Меня можешь поносить. Но над должностью моей не смеяйся! Не разрешаю!

— Не до смеха мне! Баранку крутишь не в ту сторону. В кювете будем, Яша. Ты меня знаешь. Не побоюсь вместе с тобой в кювет влететь.

— Стоп! Стоп! Не кипи! Не желаешь ехать с этим гадом? Не принуждаю. Не знал, кто дежурит. Подмени кого-нибудь на картофеле. Любой в город смотается. Знаешь ведь, реле его нам вот так! — Яков резанул себя ладонью по шее. — А у этого типа дружок есть...

— Эх ты! — только и сказал Иван, понял, насколько Яшка далек от тех мук, которые вот уже месяц скупают его. И сегодня поездка эта задела особенно больно, может, больнее, чем та встреча в сельмаге. Выходит, не одна Плиска... Обидно стало за Качанка. Конечно, не пережил он того... Хотя что значит не пережил? Отец погиб под Кенигсбергом в конце войны, батареей командовал. Дед кипел ненавистью к Шишке. А Яшка? Мозги жиром заплыли?

Иван хлопнул дверью, не замечая удивленных людей, пронесся мимо. Сбежал по лестнице, вскочил в кабину своего ЗИЛа. Но не сразу повернул ключ зажигания. Рука повисла, как неживая, какое-то время смотрел бездумно через ветровое стекло на шеренгу осмоленных, укрепленных на бетонных пасынках столбов электропередачи. Как странно укорачивается расстояние между ними в перспективе, где-то там, в конце улицы, будто стоят они рядом, один к одному.

Сначала в голову пришло постороннее.

Вспомнилось почему-то, как Щерба поспорил с молодыми практикантами ПТУ, что, «приняв всю норму», объедет на комбайне любой столб и не зацепит. Зацепил, поломал косилку. Только жатва и нехватка комбайнеров спасли его от наказания — от лишения шоферских прав. Он, Иван, был безжалостен, когда проступок Щербы разбирали на собрании. Но Федор не обиделся.

Подумал внезапно с холодностью даже какой-то: «А почему я боюсь встретиться с ним? С Шишкой? Кто кого должен бояться? Нужно нам столкнуться лоб в лоб. Глянуть в глаза. И узнать... Про все... Как это вышло: за месяц один уже такими обзавелся связями, может обеспечить дефицит. Качанок не сумел, а он может. У кого выспросил, что нужно совхозу? С кем сговорился? С добранскими, с чужими? Я их выведу на чистую воду. И Яшку выволоку, не пожалею! — Но тут же, как иглой в сердце: — Сидеть с ним в одной кабине? Везти его?»

Что это — ненависть? Боль? Жажда мести? Страх за себя, за семью? Целый месяц избегал встречи с ним. Томился из-за этого еще больше. Нельзя ни в коем разе, чтобы страх — и перед кем, перед теперешним Шишкой — одолел его, лишил воли и гордости. Партизанской гордости.

Иван вылез из кабины, вернулся в контору, в диспетчерскую, она помещалась на первом этаже в маленькой комнате, половину которой занимал стол, где был смонтирован пульт — самодель-

ная система связи со всеми хозяйственными службами.

Лиана встретила его улыбкой — у нее было особое уважение к таким, как Иван, сильным, умелым людям.

— А мне показалось, вам не хочется ехать.

Медленнее, чем обычно, записывая рейс в путевой лист, спросила несмело:

— Правда, что он... этот...

— Правда, — коротко отозвался Иван.

Лиана взглянула озадаченно.

— Может быть, не стоит, Иван Корнеевич?

— Что не стоит?

— Ехать вам.

— Поеду. У меня нервы крепкие. Если Качанок не может никак обойтись без Шишки...

Вместе с путевкой Лиана передала документы на получение реле. Иван взглянул в них: оплата оформлена через банк по счету управления связи. На черта в таком случае полицей? Но то, что явной сделки нет, как ни странно, успокоило, придало решимости ехать.

11

Мать Григория Шишки Проню не любили в Добранке, считали, что неутолимая ее алчность, зазнайство, неуемное желание «показать себя», возвыситься над другими, возможно, и подтолкнули его пойти в полицаи. До войны он прославился разве только, что за неуспеваемость отчислили со второго курса автодорожного техникума. Устроился мастером по прокладке шоссе. Работал потихоньку, ничем особо не выделялся. Когда же война началась, люди удивлялись: с чего бы это Шишку не призвали вместе с другими в армию? Неужели такая работа нашлась, освобождает от мобилизации?

Марину, жену Григория, порицали за то, что вышла за полицаи. А потом сочувствовали, несладкая была у нее жизнь: и пил, и гулял, обманывал на глазах, а она молчала. Скажет слово — с кулаками лезет. Носила Марина обновки из немецкой лавки, но чаще синяки носила — «фонари». После суда над Шишкой осталась с ребенком без всего. Конфисковали и дом, построенный полицаем, и добро, им награбленное. Марина поручила девочку свекрови, а сама уехала неизвестно куда, лет шесть где-то на стройке пробыла. А после, когда вернулась, попросилась в колхоз, купила себе домишко. Жили они вдвоем с дочкой, та в лесничестве уже работала, неплохо вроде бы, только хата очень уж убогая. Одна на все село такая, из прошлого века будто. Больше половины домов в Добранке дотла сгорело — отступая, немцы два часа били по деревне. Как они строились потом, погорельцы, в те первые годы, когда не достать было ни лошади, ни машины никакой! Наверное, чтобы легче было ему пилить, трелевать, старый

Даниленко, первый хозяин той хатки Мариной, срубил ее не из сосны, из осины. «На мой век хватит», — объяснил. Так оно и вышло. А на Маринин век, тем более на Анин не хватало, как ни латала и так и сяк свой домик Марина.

Астапович не раз сетовал, что надо бы снести это «доисторическое строение», общий вид села портит. Но кто поселит в новый дом семью полицай? Марина жила себе, как крот, все время в земле копалась, ни разу не попросилась на работу полегче. В пятьдесят семь лет старухой выглядит, сморщенная, увядшая. А Шишка и сейчас, после всего рядом с ней — жених.

Иван часто встречал Марину — в одном же хозяйстве трудились оба. Случалось, подвозил с поля или на поле, и встречи эти никогда не тревожили, изредка мелькало, правда: «Неужели живой он еще?» Хотел как-то спросить — по селу разные слухи ходили, но подумал: и ей неприятно, и ему не легче, если скажет, что жив, здоров.

«Обрадовалась, наверное», — впервые с недобрым чувством подумал о ней Иван, резко затормозив у слепой, на одно оконце, вросшей в землю хатки.

Шишка, судя по всему, ожидал машину, вышел сразу же. В новом драповом пальто, с той же большой желтой сумкой, что и в сельмаге. Заметил за рулом Ивана и на какой-то миг замялся, остановился у ворот. По лицу его, как мышь, прощмыгнула тень, почти неуловимая, только он, Иван, мог заметить ее, эту тень — будто лезвием бритвы полоснуло по лицу, по лбу, подбородку... Или показалось так? Нет, остановился все же. Точно. У Ивана опять перехватило дыхание, сердце больно толкнулось, словно стало ему тесно, словно хотело вырваться. Даже зазвенело в ушах и боль отдалась в затылке. Недавно пожаловался Тасе — голова тяжелая, она принесла тонометр, измерила давление и огорчилась. Повышенное. Раньше не бывало этого. Стал принимать раунтин, но от давления ни звука никому. Еще пенсионером станешь в сорок три года.

Неужели и сейчас от одного взгляда опять подскочило? Как же вести машину, когда он рядом окажется.

Иван нажал на педаль сцепления и включил скорость, чтобы сорваться с места, поехать... и швырнуть на стол Качанку документы. Но Шишка будто разгадал его намерение, мгновенно отворил дверцу, поставил ногу на подножку, поздоровался. Теперь уже правила безопасности не позволяли тронуться — собьешь. Сколько их, правил, охраняющих жизнь человеческую! Везде! На дороге, в поле, на заводе, в доме... Добрых, мудрых этих правил...

Иван на приветствие Шишкино не ответил.

А тот уже свыкся с тем, что не все добранцы с ним здороваются. Верил, терпеливостью, услужливостью изменит все. На незлопамятность людскую надеялся. Потому и сделал вид, что

не заметил Иванова молчания, важнее было, что не кто иной — Батрак согласился ехать с ним. Ничего, в дороге заговорит.

Ивана Шишка остерегался, хотя и рассчитывал, что, поскольку мальчика в ту ночь дома не было, он не знает про то, что полицей участвовал в расстреле семьи. Даже на суде явных улик не нашлось. Лапая осудили за уничтожение Хаток — сожгли сорок человек, а он, Шишка, от той экзекуции уклонился, больным прикинулся. Было это уже в сорок третьем, летом, когда немцам дали по зубам под Орлом и Курском. Фронт приближался к Гомелю. Каратели, мол, творили все, СД. Вообще-то, возвращаясь домой, побаивался — будут мстить. Но, пожив в Добранке, убедился, что при всей неприязни к нему на убийство никто не пойдет — кому охота ломать свою жизнь? Хотя бы тот же Батрак — живет, как барин, жена красивая, медработник, дети учатся. Прежде чем решиться на что-то, о семье подумает.

Иван невзначай нажал газ. Мотор фыркнул. Шишка живо, по-молодому вскочил на сиденье, хлопнул дверцей, пошутил:

— Добрая лошадка. Не застоитя!

Иван какое-то время собирался с силами, ждал, когда отхлынет боль в затылке. А вот взял с места и ощутил вдруг боязнь, которую испытал однажды. Давным-давно это было, на курсах трактористов, впервые тогда сел за руль полуторки. Боязнь сбить человека. Ехал осторожно, как стажер, до боли сжимал баранку, упершись в нее грудью, слышал удары собственного сердца. И еще было странное чувство: будто впервые ехал по селу, незнакомым показалось оно, чужим. И встречных не узнавал. Проезжая мимо амбулатории, подумал: а вдруг Тася увидит в кабине Шишку? Как поступит она в таком случае? По-честному где-то в глубине души хотелось: пусть вмешается, пусть сорвет им эту поездку. И в то же время заранее неловко становилось за сцену, которая могла разыграться на людях, да еще в присутствии этого...

При выезде на шоссе чуть не произошла авария. Выезд был под углом, так что слева шоссе открывалось, а направо, чтобы убедиться, свободна ли дорога, нужно было круто повернуть голову. О том, чтобы упростить выезд на шоссе, не однажды заходила речь на собраниях.

Иван только чуть повел головой, иначе пришлось бы увидеть рожу Шишкину, и опоздал... Услышал, как сзади заголосили тормоза, заскрежотало железо.

Открыл дверцу, оглянулся. Шофер грузовика, чуть не наскочивший на него, тоже высунулся из кабины, грозил кулаком. И тут Иван словно стяхнул с себя оцепенение. Ослабил руки, отвалился от баранки, дал большой газ — вернулся обретенный годами автоматизм. Слово из узкой темной улочки вышел на широкую ровную до-

рогу. И страхи все остались там, на той улочке.

Однако не для того же он неожиданно для себя самого согласился ехать с Шишкой, чтобы промолчать всю дорогу, целый час. Обратную дорогу исключил сразу, решил, что из города Шишку не возьмет с собой. Хватит одной поездки. Но ради чего он едет все-таки? Чего ему надо? Глянуть полицая глаза в глаза? Нет, сейчас совсем не хотелось видеть его, да еще за рулем — не очень-то поглядишь. Глянуть нужно так, чтобы у того мурашки по спине поползли. Хотя не поползут, наверное, душа мхом заросла. Сказать ему... что... Пускай знает, пускай не думает, что давность стерла из памяти людской, из его, Ивановой памяти ту страшную ночь. И еще узнать надо, как же это он, Шишка, месяц здесь только пожил и сразу в ход пошел. Видно, это желание подстегнуло, заставило Ивана согласиться на поездку. И еще возмущение, что Шишка равный с ним теперь, вроде полезный даже человек. Это оскорбляло не только его, Ивана, — всех погибших. И тех, кто на фронте пал и в лесу партизанском.

Нелегко было завести разговор. Иван не сразу решил, как обращаться к нему, к Шишке, на «вы» или на «ты». По возрасту надо бы на «вы», да не много ли чести?..

— Кто это у тебя друг, что может реле достать?

Шишка явно обрадовался, что Иван нарушил молчание, вздохнул облегченно, повернулся всем корпусом, стал охотно рассказывать:

— Начальник колонии. Инженер по связи. Теперь директор базы. Мы с ним в заключении линию связи тянули. Вся в земле. Я бригадиром был. От смерти его спас, Петра Петровича. В карты проиграли его. Хотели взорвать в карьере. Трассу в сопках мы динамитом высекали. Проиграли его просто так, от скуки. Законы ж там какие? Волчьи. Кого захотели, того и съели. Но... вы, конечно, партийный, можете не поверить старику... А я вам скажу: имей бога в душе, и бог отведет и руку убийцы, и холод, и голод, и цингу, и метели полярные. Петр Петрович с богом в душе был. И я уже в те дни познал бога... С одним человеком познакомился, с профессором, он меня и просветил, грешного... Изменилась вся моя жизнь. Голубем я стал во льдах тех. Раньше просто молился, повторял бездумно слова. А нужно, чтобы в душу бог вошел.

Рефрижератор заслонил небо, белая, как гигантский гроб, коробка кузова почернела в глазах Ивана, казалось, не по земле ехала, летела в воздухе, заброшенная туда невеста какой силой, готовясь вот-вот обрушиться всей своей непомерной тяжестью. Первые навстречу шла не машина, тысячи которых за его шоферскую жизнь промелькнули мимо, хлестнув в открытое стекло кабины волной нагретого воздуха. Навстречу летела смерть. Никогда не думал, что мо-

жет она настичь на дороге, за рулем, хотя и видел сотни аварий. Но каждый раз находилась своя причина; редко, очень редко виновата была машина, почти всегда — водитель. У него такого случиться не могло, в себе, в своей выдержке, опыте, в своих руках, глазах он был уверен.

А тут произошло что-то невероятное, дикое — будто в непроглядной темноте ночи непонятно почему и у его машины, и у рефрижератора одновременно отключились фары. Во мраке на бешеной скорости они неслись прямо в лоб друг другу. Как это там шофер не видит опасности, шпарит, заняв всю узкую полосу асфальта?

В последний миг Иван успел, бросил свой ЗИЛ на обочину, взбил песок, пыль поднял.

Что это с ним? Так недолго и до конца! Иван снял кепку, вытер ею лоб, хотел положить рядом на сиденье и увидел обращенное к нему перекосившееся лицо Шишки.

— Рисково ты едешь.

— А я угробить тебя хотел.

Шишка отшатнулся, посмотрел на шоссе, откуда шла встречная машина. Спросил не сразу, Ивану казалось, после бесконечно долгой паузы, после того, как разминулись с машиной:

— За что же его угробить?

— А ты не знаешь, за что? — Иван вывернул руль так, что машина очертила «восьмерку». — Бога почувствовал в душе? А тогда у тебя был бог, когда ты в мать и в сестренку мою стрелял?

— Не стрелял я в них!.. Не стрелял! — по бабьи тоненько заскулил Шишка. — Не было меня там!

— Не было? — Иван вдруг опять почувствовал в себе привычную силу, уверенность, но почему-то затормозил так резко, что шины заскрежетали, запахло резиной. Снова прибавил газ рывком. — Не было тебя? На это, выходит, надеялся? Свидетелей нет. Есть свидетель! Я! Под печью сидел я, куда ты палил из автомата.

Шишка, наверно, не собирался высказывать из машины, возможно, только прижался от страха к дверце, и она открылась. Иван, знавший свою машину назубок — ничто не могло ускользнуть от него, — сразу, услышал, что замок щелкнул, и вмиг с размаху схватил Шишку за грудки, смял на нем пиджак, рванул к себе.

— Ну нет! В тюрьму за тебя я не собираюсь.

Шишка тяжело навалился на Ивана, мешая вести машину, будто захлебнулся воздухом, потом захрипел, царапая ногтями щиток. Иван затормозил, остановился. Брезгливо оттолкнул от себя Шишку, тот откинул голову на сиденье, закатил глаза. Ивану гадко было глядеть на него. По цвету лица, по рукам, крепко сжатым в кулак, странно холемым (давно тяжелой работой не занимался), догадался — никакого сердечного приступа, притворство одно. Не без того, конечно, что приперло его. Еще бы — услышать такое!

Возвращаясь, думал наверняка: поскольку

живых свидетелей тех самых страшных его дел не осталось, то теперь, через тридцать пять лет, кому какое дело, что когда-то он корову у кого-то забрал, свинью или шомполом кого-то огрел? Девчат в Германию на работу отправлял. Тоже не все выжили, не все вернулись. Рассказывали, что потом, на суде одна из них, Маня Дунайка, даже выгораживала его, свойским называла.

Шишка приоткрыл глаза, но дышал тяжело. Иван заметил, что и сам дышит нелегко, будто они боролись не на жизнь — на смерть. Разозлился на себя за слабость. Дети же у него. Тася. Представил ее с расширенными от испуга глазами, и упрек в них: «А о нас ты подумал?»

— Валидол дать? В аптечке есть.

Шишка крутанул головой.

— Тогда хватит придуриваться! Поехали за реле. Как это вы спелись с Качанком? Деда его на тебя нет. Плюнул бы в морду твою. Жаль, не дождал.

Шишка молчал.

Иван выехал на асфальт, километров пятьдесят держал, не больше. И тоже молчал. Какая-то опустошенность, тупик: а дальше? Что еще может он сделать? Выходит, ничего. Довезет до города. Доставит обратно. Нет, этого не будет. Подумаешь! Очень ты ему насолишь! Вернется автобусом.

Через несколько минут снова сказал, пускай все знает:

— Мать убежище выкопала в подпечье. Только Анечка не полезла в него, боялась. Ход оттуда под сени был. Через ту нору я и выбрался. Вы же керосином облили все, подожгли, душегубы.

Шишка прошептал, словно не слыша ничего:

— Господи, не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоём карай меня, — перекрестился.

— Ловко ты договариваешься с богом! Не в гневе... Нет, я буду в гневе судить тебя! Я! А не бог! Правду скажешь всю и богу, и людям!

Показалось, что легче стало, отвел немного душу. Вел машину спокойно. В конце концов, то, что неотступно точило его целый месяц, чего неминуемо ожидал он, произошло: столкнулся лицом к лицу, сказал, что жив он, свидетель преступления. Прокручивал раньше мысленно сотни разных вариантов этой их встречи. Большею частью доводил до того, что кончалась «очная ставка» отмщением перед всем миром, перед всеми добранцами. Когда же представлял, что может увидеть его один на один в лесу, в поле, терял на какой-то миг власть над собой, хотел самого страшного. Содрогался. Надеялся на время — оно самый мудрый советчик.

И вот все свершилось. Он, пожалуй, может быть доволен собой, своей выдержкой. Но тут же пришло гнетущее чувство, что при всем своем накале он как бы примирился с существованием Шишки. Едут они дальше. Вместе пойдут на

базу. Увидят человека, которого Шишка спас от смерти. Шишка спас!.. Что же получается? На этом все и кончится? Можно, конечно, настроить людей, чтобы всем селом бойкотировали Шишку. Но большое дело тому до села! Плонет и уедет. Разговор в кабине — не та кара, о которой думал Иван. Все не то. Он снова занервничал, снова в голову полезло всякое.

У самого въезда в город впереди оказалась «Победа», машина — чуть ли не его ровесница, но недавно покрашенная, ухоженная. «Победа» шла медленно, хотя по «почерку» Иван не сказал бы, что за рулем новичок. Захотелось обойти его, быстрее избавиться от Шишкиного соседства. Но мешали то пост ГАИ, то бесконечный поток встречных машин, которых становилось все больше по мере приближения к городу.

При подъезде к бензоколонке встречная полоса оказалась свободной. Иван щелкнул рычажком поворота, коротко просигналил на всякий случай, пошел на обгон. Вдруг «Победа», не включив «поворот», нарушая правила, повернула налево, к заправочной. Иван, поглощенный мыслями своими, проморгал, упустил какой-то момент. Инстинктивно нажал на тормоза, но понял: столкновения не избежать.

«Победа» сама подставила себя под удар сбоку. Не увидев на заднем сиденье пассажиров, Иван молниеносно, резко крутанул руль вправо, срезал «Победу» багажник.

Удар, хоть и ослабленный тормозами, все равно был сильный. «Победу» развернуло на шоссе, и она встала рядом с ЗИЛом, так что водители очутились лицом к лицу. Левое крыло «Победы» сплющилось, багажник открылся, и на шоссе посыпались спелые краснобокие яблоки.

Первое, что вспомнил потом Иван, Шишка схватил его за руку выше локтя — боится смерти, подлюга — и все еще держал. Иван с досадой стянул его руку и, обрадованный тем, что хозяин «Победы» сидит цел и невредим, белый только, смахнул рукавом пот, заливший лицо, улыбнулся.

Но тот выскочил из машины, ругаясь, полез драться. Иван удержал его руку и тихо, с усмешкой посоветовал:

— Включи «поворот» лучше. Для ГАИ.

Частник онемел. Кинулся к своей машине и щелкнул рычажком. Но не сообразил, что машину развернуло и «поворот» показал туда же — на бензоколонку, вправо. Спихватился, что не то сделал, и заспешил обратно — налево повернуть. Но уже подходили машины, водители выскакивали из кабин, засекли эти манипуляции. Возможно, увидел это и инспектор, не спеша направляющийся к месту аварии. Он знал, что иногда полезно дать виноватым разобрататься самим, потом легче выяснить истину. Владелец «Победы» понял, что делает глупости на глазах у всех. Шофер ЗИЛа, хитрец, заставил его обнаружить

свою ошибку перед людьми. Он снова сунулся в кабину и выключил «повороты» совсем.

Шишка сказал Ивану:

— Я подтверждаю, что он не дал «поворота».

Иван резко повернулся, лицо его стало каменным, процедил сквозь зубы:

— Пошел прочь! Чтоб духу твоего не было, убийца! Не тебе выручать меня!

Шишка выкатился из кабины, не забыв, однако, свою сумку, и незаметно юркнул в сторону за кустарник, росший вдоль дороги. Рассудил, что незачем ему иметь дело с милицией. Лишний протокол, лишнее напоминание, кто он и откуда вернулся.

Иван не сразу вылез из кабины, долго затягивал ручной тормоз, так долго, что кто-то из шоферов, удивленный, спросил:

— Тебя там, друг, не придавило?

Наконец он вышел, осмотрел помятое крыло и разбитую фару ЗИЛа.

После случая с «поворотом» хозяин «Победы» вопиственность свою поубавил, сидел, растирал колено.

— Стукнуло? — сочувственно осведомился Иван.

— Видимо. А может, от нервов. Оно у меня простреленное.

Человеку этому было под шестьдесят. Недавний отставник, под пиджаком ношенная военная гимнастерка, а на широком лацкане три ряда орденских колодок. Увидев их, Иван решил, что возьмет вину на себя. Да и как не взять. Мог ли он, первоклассный шофер, простить себе такую грубую аварию?!

Из багажника на асфальт все еще падали яблоки — лопнул мешок. Ивану стало жалко, захотелось собрать их, чтобы красоту такую не давили сапогами, колесамп. Но подошел инспектор, на ходу вытягивая из планшета рулетку — измерять его, Ивана, тормозной путь.

12

Фамилия начальника районной автоинспекции Дремако. Но шоферы шуточно окрестили его Недремако. И правда, встретить его можно было в самых неожиданных местах, в такой глухомани, где, как острилли ребята, не ступала никогда нога автоинспектора.

Местные водители на Дремако не жаловались: и слова дурного от него не услышишь, вежливый, и шутку ценит, а главное, точный. Район особый, сложный — вокруг областного центра этакое огромное кольцо, железная ступица которого — зона городской ГАИ, а шины и спицы — районной. Отношения с соседями, с городом, с другими районами непростые, а главное, проходит через район магистральное шоссе, связывающее Белоруссию, Карелию, Ленинград,

Прибалтику с черноморскими курортами. В таком районе не зевай.

Дремако летает по дорогам на своей «канарейке». Но если скажет быть в ГАИ к такому-то времени, ждать себя не заставит. Не то что другие начальники — от темна до темна выдерживают нарушителей в коридоре, считая такое «томление духа» воспитательным приемом. Капитан Дремако этого метода не придерживался. С шоферами в районе у него особые отношения: считал, что они должны быть его помощниками. Одним небольшим штатом ГАИ не отделаешься, порядок не наведешь. С такими водителями, как Батрак, он давно в дружбе и совхозный машинный двор никогда не минует. Приедет, плакаты развесит, расскажет и о печальных, и о веселых происшествиях на шоссе, предупредит кое-кого, чаще всего Щербу, удивит своею осведомленностью.

Отпустив владельца «Победы» Савеличева, капитан задержал Батрака.

— А теперь, Иван Корнеевич, давай говорить неофициально. Какого черта ты все берешь на себя? Не дал же он «поворота»! Стыдно просто за майора! Чего сдрейфил? Права отберут? Или что самому придется ремонтировать эту колымагу? Проклятая собственность разъедает душу!

Дежурный инспектор там же, на трассе составил протокол, внес все показания Ивана, Савеличева и свидетелей. Но появился вездесущий Дремако на своей «канарейке», взглянул на следы аварии, на протокол и приказал обоим потерпевшим явиться в автоинспекцию. Ивану тоже неловко было, когда на вопрос Дремако отставник ответил, что не помнит, включил ли он сигнал поворота. Как всякий опытный водитель, наверно, сделал это автоматически. Одно твердо знает: после аварии выключил, чтобы не замкнуло, не сгорело реле.

Иван досадливо отвернулся.

«Эх, майор, майор, не пристало тебе».

Но не выдал. Не хотел, не мог просто нанести человеку еще травму, пускай оправится немного.

Словом, великодушие проявил, а Дремако его за это в угол поставил, как врунишку школьника. Понимал, что многоопытный капитан точно представил себе, как и что случилось.

— Павел Павлович! Не он же разбил мою машину. Это я его.

— Мне нужна ясность, чтобы разобраться в этой истории.

— Показал он «поворот» или не показал, меня это не оправдывает. Зевнул я, значит, и ответ мой.

— А кто у тебя был в кабине? Женщина?

Иван почувствовал, что кровь прилила к лицу: капитан подбирался к первопричине. Но причина такая, что не здесь об этом рассказывать.

— Не робей, Таисни не доложу. Хочу точно

знать, из-за чего или из-за кого ты зевнул. До истоков докопаться. Тут на днях парень один сбил человека. Отличный водитель. И так нелепо все это вышло. Побеседовали с ним по душам, оказывается, в тот день врач послал его в онкологическую больницу... А этот дурень решил: раз туда направление, значит, крышка, значит, отгулял на белом свете, собирайся в дорожку. Так кто же все-таки с тобой был?

— Да подобрал около РТС старичка какого-то.

— Что же это он улизул, твой старичок? И слова не вымолвил.

— А что ему говорить? Я ведь не отказываюсь.

— Ты хуже делаешь. Не такой уж я юрист, но изучал и законы, и психологию...

— Прав не думаете меня лишать?

— Послал бы тебя на полгода в слесаря, да знаю, какой спрос на вашего брата. Отнимаем прав больше, чем выдаем. И вдобавок еще простой машины. Хозяином надо быть прежде всего, а потом уже инспектором. Иначе нечего будет инспектировать.

— Судиться с майором я не стану. Машину ему восстановлю. Хочет, деньги завтра привезу, или пусть пригонит к нам в мастерскую, ребята мои помогут. Чем вы недовольны, товарищ капитан?

Дремако поднялся из-за стола.

— Ну, Батрак, я считал тебя разумным человеком, серьезным. А ты — как мальчик. Если завелась у тебя лишние деньги, хоть новую покупай майору. В конце концов, ваши счета. Только зачем брать на себя, если все не так было? Я же не процент хочу уменьшить, процент все равно будет общий... Я о тебе думаю. Мне твоя слава дорога. И ты обязан дорожить своим добрым именем. Вот чем недоволен я, Иван Корнеевич! Не люблю этакое всепрощение. Четко должно быть разделено, где правда и где ложь.

— Лгут, когда выгораживают себя. Я же ни себя, ни его, майора, не выгораживаю. Разница он, конечно.

— Спасибо и на том, все-таки признание,— Дремако иронически усмехнулся. — Но для себя хоть не забывай, как на самом деле было. А то станешь казнить, спать не будешь...

— И так не спится,— грустно сказал Иван.

— Вот об этом начальнику ГАИ не сообщай, права заберу. Была бы возможность, я в первую очередь проверил бы, как отдыхаете. Приборчик бы такой, чтоб ясно стало, сколько кто из вас спит. Вроде того, что показывает, квас пил или «чернила».

Дремако, как тонкий сейсмограф, уловил странную возбужденность Иванову, понимал, вряд ли это из-за аварии, скорее, наоборот, причина ее. Потому-то и хотелось, чтобы его давний приятель, один из лучших шоферов района открылся ему. Даже обидно стало, что Иван так упрямо замкнул. Скорее всего, с ним была женщина. Капитан

хорошо знал этих опасных дорожных спутниц, с которыми он, начальник ГАИ, вел борьбу. Но в Добранке такая не могла подсесть. Да и Батрак не тот человек, не в том возрасте. Дремако хорошо знал Тасю, знал их жизнь, даже втайне завидовал. Сам-то ведь холостяк, жених-перестарок.

Дремако почему-то не хотелось отпускать Ивана, чувствовал, что просто обязан узнать правду.

Завязавшейся беседе помешал приход прокурора. Михалевский был в районе новый человек, но Иван знал его, слушал на последней сессии райсовета и подумал тогда: не очень ли молод для такой должности?

На киноактера прокурор похож, почему-то решил Батрак: высокий, стриженный по-модному, в горчичного цвета заграничном плаще, в красной рубашке, с ярким красно-синим галстуком. Но тут же вспомнил, как высмеяла его Валя, когда нечто подобное он сказал о председателе райпотребсоюза: «А тебе требуется, чтобы начальник щеголял в галифе из диагонали, с полевой сумкой? Вот это был бы авторитет!»

Прокурор поздоровался с Дремако за руку, Ивану кивнул, взглянул подозрительно: видел возле ГАИ его грузовик с разбитой фарой и помятым крылом. Спросил у капитана:

— Во что врезался?

— Чмокнул отставника в багажник,— отшутился капитан.— Банальная авария, а не пойму, кто из них виноват.

— Не так ты вопрос ставишь. Узнай, сколько он вчера тяпнул: двести, триста? А может, и все семьсот?

— Тысячу,— иронически бросил Иван, показалось естественным, что пижонистый прокурор предположил именно это. А Дремако смутился, даже покраснел, попытался сгладить неловкость:

— Между прочим, познакомьтесь, Леонид Аркадьевич, это Иван Корнеевич Батрак. Из совхоза «Добранский». Лучший водитель. Депутат райсовета.

Михалевский понял свою бестактность, пожал руку Ивану и уже другим тоном, доброжелательно повторил те же слова, которые только что произнес Иван:

— Как же это вы зевнули?

— Задумался.

— О чем?

— О бабах.

Прокурор недовольно вздернул брови.

Дремако сказал укоризненно:

— Не слушай, Леонид Аркадьевич. Это мне он мстит. Я под горячую руку поинтересовался, не женщина ли с ним ехала. Иван Корнеевич — семьянин каких мало. Дочь — невеста. Сын — герой уборки. Помнишь, газеты писали про семейный экипаж Ивана Батрака?

Ивану эта похвала показалась неуместной, и он поднялся со стула,

— Можно мне идти?

— Иди. Но имей в виду, загадал ты нам загадку.

— Вы же умеете их разгадывать,— усмехнулся Иван, прощаясь.

Михалевский и Дремако остались вдвоем, какое-то время молчали тягостно. Отношения у них сложились дружеские. Сошлись они сразу, как только прокурор полгода назад занял свою должность. Способствовало этой дружбе многое. Во-первых, близость профессий, частые встречи на работе, да и возраст — почти ровесники. Дремако года на два старше. Разница только в том, что Михалевский уже семь лет женат на своей же однокурснице, юристке, которая работала теперь в раймилиции следователем. Оба среди районных работников слыли эрудитами. Кстати, сам Михалевский считал, что именно образованность, профессиональная и общая, помогает ему быстрее подниматься по служебной лестнице. Завистники же видели другую причину: отец у него известный юрист, доктор наук. Знали бы они, какие у его отца твердые принципы, какой он враг всяческих протекций! Сыну помог разве только тем, что со школьных лет заинтересовал своей профессией, мечтал, чтобы из четырех детей хоть один стал юристом. И рассудочный, не по-детски сдержанный Леня, которому предрекали будущность математика, неожиданно в десятом классе объявил, что идет на юридический. Ничто его не остановило. Нужен был стаж, и он пошел на завод, потом в армию, там вступил в партию, стал чемпионом округа по плаванию. Абитурient с такой характеристикой проходил первым номером, за помощью к отцу не пришлось обращаться. Когда окончил, получил диплом, выбрали секретарем райкома комсомола. Но оттуда сам попросился на работу по специальности, послушался отца. И вот сейчас прокурор района, между прочим, самый молодой в области, чем и гордился. У Павла Дремако биография иная, как он говорил, прозаическая: босонгое голодноватое детство в полесской деревне, курсы шоферов, водителей танка, курсы инспекторов ГАИ, школа милиции, заочная. «Вечный курсант,— шутил капитан.— Жениться некогда было».

При всем том, что их с Леонидом тянуло друг к другу, они уже давно перешли на «ты», случилось и такое, будто недоговоренность, барьерчик какой-то вставал между ними неожиданно в самой обычной беседе. Дремако остро, болезненно реагировал на эти заминки, считал, что возникают они от примитивности его суждений о литературе, о жизни. Михалевский не был столь самокритичен, препоны все эти старался не замечать, не фиксировать на них внимания.

А тут капитан внезапно понял, что неловко ему не за себя — за прокурора, и посчитал долгом своим сказать:

— Самое опасное, Леонид Аркадьевич, в нашей работе — видеть в человеке потенциального преступника.

Михалевский насторожился.

— Ты о чем? Что выдал этому твоему Батраку про граммы? Ну что ж, вырвалось. В конце концов, не могу же оставаться всегда в мундире. Как видишь, снял его. Я тоже человек. Разреши и мне сказать иногда глупость.

— Но он знает, что ты прокурор.

— Тяжкая это должность. За каждой запятой следи, отвечай за нее, невпадет не брякни. Наконец, имею и я право на эмоции какие-то. Однажды такой вот... лучший водитель автобуса сбил мою мать... Теперь она с палочкой ходит. Инвалид. Следствие установило, что накануне шофер гулял на свадьбе... Вот откуда недоверие к таким, с крылышками. Словом, ты меня удивляешь. Ежедневно подбрасывают тебе аварии, а ты нянчишься с ними.

— Не нянчусь. Уважаю взаимно. Я их. Они меня. Если в каждом буду видеть врага, а они все чохом во мне тоже врага своего, к чему приведет дело? Нельзя считать всерьез, что люди всю свою энергию направляют на то, чтобы нарушить закон.

— Но нельзя и забывать, что немало тех, кто хочет,— Михалевский изобразил пальцем в воздухе зигзаг,— обойти закон. А наша обязанность — охранять его, закон. Доверяй, но и проверяй — стариннейшее правило. Что мы с тобой и делаем — проверяем. Согласен?

— Не могу не согласиться. Но, знаешь, я иногда опасуюсь, как бы инструкции, правила эти не заслонили человека. Они, как информация, накапывают лавиной. А человек все тот же. И еще думаю, что не мог такой, как Батрак, просто совершить эту аварию. Была какая-то у него причина. Но какая, вот загадка.

— Тебе в писатели надо было, а не в начальники ГАИ. Ну, допустим, поскандальил он с женой или с тещей. Что ты будешь делать, мирить их? Всех не помиришь. Между прочим, я зашел по поводу Короткова. Твоя версия смахивает на правду. Страх перед онкологией мог вызвать такое состояние. По-человечески все понимаю. Но куда подшить догадки, под какой параграф их подвести? Да и вообще странновато использовать мнительность как смягчающее вину обстоятельство. Обсмеет любой грамотный юрист.

— А мне, знаешь, не смешно. Мне жаль парня.

— А мне, думаешь, не жаль? Но, если я дам волю чувствам, плохой выйдет из меня прокурор. Собственно говоря, никакой. Лучше с ходу менять профессию.

Павел Павлович поймал себя на том, что Михалевский чем-то раздражает сейчас его. Огорчился. Почему вдруг? Опасный это симптом. Не потому ли, что вырядился Леонид, как на гулянье, явно боится измять свой плащ, не садится, расха-

живает по комнате? И говорит, словно диктует, в такт шагам.

Павел Павлович совсем сник, когда Михалевский попросил вдруг за сына какого-то врача, «давнего друга их семьи». У парня отобрали права за лихачество.

Капитан не терпел этого — когда обращаются к нему с такими просьбами начальство или люди, с которыми ежедневно сталкиваешься, вместе едешь на рыбалку, болеешь на футболе. Человек мягкий, он с трудом отказывал, а потом угрызался от собственной слабости. Подумал, что вот Михалевский рекламирует себя как законника, а его толкает на зигзаг, выписанный пальцем в воздухе. И неожиданно отказал вдруг, хотя нарушение небольшое, обошлось без аварии.

— Ты прости. Но пускай-ка твой протезе подходит полгодика пешечком. И ему полезно. И время будет подумать.

Михалевский был крайне обескуражен безоговорочностью отказа.

Но Дремако не хотелось, чтобы друг обиделся. Из-за такой ерунды рассориться! Стал оправдываться, но так, что Леонида Аркадьевича поразило его объяснение.

— У Батрака это профессия. Семью человек кормит. Однако не уклонился, взял вину на себя, хотя виноват не он. Тот. Только совести у него не хватило, у майора. Понимаешь? Стыдно за него. И за протезе твоего.

Понять логику начальника ГАИ было трудно-вато даже прокурору.

13

В конце сентября день переходил в вечер, в ночь сразу, незаметно. Отошли деревенские сумерки с мягким пламенем позднего заката, с необычной тишиной, повисшей в воздухе, когда даже пыль, взметенная стадом, долго не оседает. А летними вечерами село дотемна полнится звуками — мычаньем коров, голосами детей, музыкой, летящей из открытых окон, треском мотоциклов — и затихает постепенно.

Осенью все иначе. Коровы не просятся подолгу домой. Их уже поджидают, сразу загоняют во двор, иначе придется бежать за ними на совхозный огород, где убирают капусту. Недолго остаются на улице и дети — школа, уроки. Молча расходятся по домам механизаторы, даже в «Бабын слезы» заглядывают пореже, хотя только там и можно сколотить компанию.

В домах, во дворах та же будто работа, но все равно не то что летняя, совсем другой ритм у нее. Тася остро ощущала это. Первая осень без коровы, и у нее, проворной, быстрой, на стыке дня и вечера, когда кончалась служба и не наступал еще час телевизора, как бы провал образовывался, который нечем заполнить. Ужин приготовить

на трюх — какая это работа. То, что муж задержался сегодня на машинном дворе или в конторе, не волновало. Не впервые. Завтракала вся семья точно в одно и то же время, ужинали же часто по отдельности. Корней, например, уже поел, сидел за уроками. Радовало, что в десятом классе парень занимается особенно усердно, побатраковски, вьедливо, как определил Щерба.

Тасе приятно было, когда Корней доверительно признался ей, что, хотя отец и советует пойти в институт механизации и электрификации сельского хозяйства, он мечтает о радиотехническом. Пока что это была их тайна. Но Тася знала, Иван не станет возражать. Просто хорошо, что сын так открыто, так по-душевному близок с нею.

Увидев, что Корней ломает голову над задачей, представляя, какие они сложные, его задачи, ходила по дому на цыпочках — не дай бог помешать. Но какая-то пустота, ненужность угнетала. Хоть бы Иван скорее пришел, при нем это чувство сразу улетучивается. Такой тягостной тишины никогда не бывает. В который раз пожалела, что продали корову, всегда при деле была бы. А когда вылетит из гнезда Корней, не вернется в совхоз Валя?! Выйдет за какого-нибудь лейтенанта, укатит с ним на Курилы. И останутся они, старики, вдвоем. Эта мысль испугала ее. С тарелкой в руке, с рушником она подошла к небольшому зеркальцу, висящему над умывальником. Перед этим зеркальцем Иван брился; она заглядывала в него редко, предпочитала видеть себя всю в большом трюмо в спальне. Фигура еще стройная, а морщинки вот этих, лучиков издалека и не видно. Бороздки только на ще — явная примета возраста. Она старалась не обращать на них внимания, а вдруг возьмут да разглядятся, исчезнут, как веснушки. Во всяком случае, ни разу еще, пожалуй, не подумала так безнадежно: неизлечимая это болезнь — старость. Но виновата в этом не она, а та, что глядит на нее из зеркала грустно и растерянно. И Тася показала язык той, в зеркале: вот тебе, бабуся! Ты и старей, а я не буду! И засмеялась, будто обманула ту. Нет, она еще молодая, так много еще хочется разного!

Корней, только что томившийся над задачей, выглянул из комнаты.

— С кем ты тут?

— С кошкой.

— Мне показалось, смеешься.

— Старею, сын. А старики разговаривают сами с собой. И смеются в одиночестве. И плачут. Что-то отца долго нет.

— Раны зализывает.

— Какие раны?

— На машине. Он же в аварию попал.

У нее подкосились ноги и, кажется, на минуту остановилось сердце, будто тисками сжало.

— В какую аварию?

— Приехал, говорят, с погнутым крылом, без фары.

Тася засуетилась, торопливо накинула пальто, укорила:

— Ну что ты за человек! Что за человек! Отец в аварии был, а он сидит задачки решает. И хоть бы хны.

Корней дернул плечами.

— Его же не привезли, сам добрался. Подумаешь, фару разбил. Новую поставит... Тоже мне авария!

Но Тася уже не слышала, выскочила на улицу.

Осенний вечер был темный, облачный. Дождь сеялся. На улице горели, раскачивались фонари. Пучки мгlisto-желтоватых лучей словно пульсировали — то укорачивались, то вытягивались, будто надо им непременно достать, слиться с колеблющимся светом соседнего фонаря.

Она бежала напрямую через огород, хотя тропка грязная, а по скользкой доске через ручей и днем нелегко перебираться. Но это была его, Иванова, тропка, каждое утро шел по ней на работу, каждый вечер возвращался. Если никто ничего ей не сказал, даже Корней, значит, действительно страшного не случилось, иначе гудела бы уже улица. Но спугнуло само слово «авария». Никогда не попадал Иван в аварию. Непонятно, откуда вдруг всплыло: Шишка. Потому и летела так, не помня себя. Ноги в резиновых сапогах оскальзывались. Почудилось, как во сне, когда кажется, что бежишь до сердцебиения, до изнеможения, а ноги обессилели, не могут сдвинуться с места.

Успокоил ровный свет на машинном дворе, особенно яркий в мастерской. Значит, работают.

Калитка была открыта, и Тася увидела на яме Иванов ЗИЛ. И ноги. В стоптанных туфлях, в старых потрепанных рабочих брюках, ноги Ивана торчали из кабины. Сторож Матвей Репях, опершись на берданку, сидел на большой, из-под БелАЗа шине и сосал люльку. Голос Щербы, как всегда, задиристый, доносился из-под машины, из ямы, как с того света:

— Великий ты у нас брехун, Матвей.

Репях лет на двадцать пять старше Щербы, но Федька ни с кем не церемонится.

— Людей спроси, кто в Добранке самый большой брехун, в кого ткнут пальцем, как думаешь? — гнусавил Репях, выпуская дым через нос.

— В меня. Но я брехун без корысти. Иван, скажи, как Валя тебя обзывает меня? Фантазер? Сочинитель. Вот правильно. Но я все отдаю людям задаром. А ты ж... растакою твою... за каждое слово калым шакалншь.

Тася вошла во двор, остановилась стесненно у тяжелого крюка, нависшего прямо над ее головой.

— Утихомирься, словоблуд! Женщина здесь.

— Кого там принесло?

— Да Иванову...

— А-а! Кума! Вечер добрый! Дорого тебе обойдется эта авария. Не выдать нам премии из-за твоего умельца. Остаюсь с Любиной дулей в

кармане, у кого пить буду? У тебя, дорогая ку-мушка.

— Когда наконец напьешься? — возмутился Репях.

— Ты, старый, сколько жен поменял? Трех законных? Да? А незаконных сколько? Так вот я тебе объясню, старая уключина, кого на что тянет. Как ты к бабам остыл, так и я к влаге етой остыну. Иссякну. Иван, поверни-ка руль. Палец я тебе золотой поставил. Если его смочить, сто лет в ходу будет.

Иван, услышав, что Тася тут, выбрался из кабины. В черном замызганном халате, без шапки, с масляным пятном на щеке. Стоял, как провинившийся школьник, опустив руки, в одной держал гаечный ключ, в другой провод какой-то. Смотрел без улыбки, виновато. Спросил чуть не шепотом:

— Ты что?

— Долго нет тебя... — как бы извиняясь, сказала она.

— Во баба! — закричал из ямы Щерба, будто это его Тася осчастливила приходом. — У тебя хоть одна такая была, Репях?

— Что произошло? — Тася не сводила глаз с мужа.

— Да вот... поцеловался с одним...

— Не слушай ты его, — продолжал свое Федор. — С одной, а не с одним. Такая, знаешь, круглозадая. Старовата, правда. Ну, а Иван в зад-то ее и чмокнул. Крутни-ка опять руль!

Тася за много лет свыклась с тем, что Щерба выкомаривается постоянно, но сейчас покраснела, может, от скабрзных намеков его, а вернее всего, от счастья, что муж рядом, что и впрямь ничего особенного не произошло, только крыло у машины сейчас другого цвета — желтое. Почему он так виновато смотрит на нее, неужели думает, что может упрекнуть за случившееся?

Иван полез в кабину, повернул баранку в одну, в другую сторону.

— Так! Зер гут!

Старому Репяху, хотя и не был он обидчивым, не терпелось отплатить Щербе, насолить ему.

— Оближись на чужое сало.

— У тебя только сало на уме. А у человека — душа! Знаешь ты, мешок дырявый, что такое душа? Если у бабы есть душа, такая побежит искать мужа среди ночи, в холод, в пургу. Моя зараза не побежит. Только в день полочки в контору бегаёт. А может, я под забором где-то...

— А ты не валяйся, как... — осекся Репях.

— Как кто?

— Сам знаешь.

— Нет, нет, скажи, конокрад! Иван, пускай егот уж ползет из мастерской, а то я вылезу из ямы... Но заруби себе на носу, Репях, завтра не досчитаешься пяти тракторов. И один на печке будет у тебя стоять, дожидаться.

Матвей в каком-то допотопном кожухе, в облезлой шапке, с берданкой восседал, как камен-

ный идол на кургане, и, казалось, ничего уже не принимал близко к сердцу. Но тут не выдержал, плюнул в сердцах, злобно.

— Тьфу! Пропади ты пропадом! Сгинь! — быстро, по-молодому поднялся и, вскинув свою одностороннюю плечо, направился к воротам.

Федька прямо зашелся от восторга.

— Довел все же! — Он сипел, будто выпускал воздух из шин.

Тася прыснула.

— Нельзя так, Федор. Старый ведь человек.

Репях рассвирепел больше всего за конокрада и за трактор. Полсотни лет назад угнал он в соседнем селе коня; его поймали, избili крепко, после чего и смотался он из Добранки, бродяжничал, пас коней у киргизов, сторожил на Волге пристани и склады. А с трактором приключилось дело недавно, когда Репяха с его небольшой пенсией Астапович поставил стеречь машинный двор — поддержать хотел старика. Матвей, хоть не очень болтливый, но, как и все бродяги, враль, напелл кому-то после чарки, что он, сторож, якобы проявил в одной истории ну просто-таки героизм. Кто поверил, а кто посмеялся. Но утром следующего дня разыгрался скандал — на машинном дворе не досчитались трактора. Угнали. Можно сказать, среди бела дня. Астапович не поверил, когда доложили. Украсть трактор!.. Не сомневался, подшутил кто-то нарочно. Облазили все вокруг — все задворки, лес, луг. Нету. Как в воду канул. Следы от трактора всю землю исполосовали. Дождя эти дни не было, так что не разобрать, где старый, а где новый след. Позвонили в милицию. ЧП районного масштаба! Начальник выслал лучших своих оперативников. Один долго ползал по земле, изучал следы на машинном дворе, на выезде из него и вдруг пошел по какому-то следу напрямик к хате Репяховой, а точнее, к хате вдовы, у которой Матвей, возвратившись из дальних странствий, в примаках состоял. Вошел в хлев с трухлявыми воротами, куда хозяева редко заглядывали, поскольку по старости да по лености не держали ни коровы, ни свиньи. В том хлеву и стоял себе как миленький трактор «Беларусь», удивленно посверкивая фарами, будто спрашивал: «Как я попал сюда?»

Помирала со смеху, хохотала вся Добранка. Астапович грозился наказать злодеев, но так и не стал выяснять, кто они. Конечно, сразу про Щербу подумали: такое только он мог удружить. Астапович сжалился над старым Репяхом, не уволил. Но не переносил Матвей, когда при нем вспоминали об этом. А тем более Щерба.

— Нельзя так, Федор, — повторила Тася.

— Старик егот заслужил. Надо мной тоже шутки шутят. А я с кулаками ни на кого не лезу. Раз заслужил, ем и облизываюсь.

В любое другое время Иван и внимания бы не обратил на Щербины слова, но сейчас они пора-

зили его. Заслужил... За то, что коня когда-то украл. А что же тот заслужил?

Давно уже замечал за собой: вспомнит о Шишке и словно деревенеет, одна мысль о нем парализует. Потому и рефрижератор тогда летел навстречу диким горным обвалам, верной смертью. Слава богу, в нем сидел другой человек, который держал руль надежно. И все же... Безопасность на дороге — это зоркость двух пар глаз и умение двух пар рук. Достаточно одной ослабнуть, как ослабла в тот миг у него...

Он похолодел. Вспомнил, как утратил чувство машины и дороги. Действительно, будто сразу в двух машинах потухли фары и они вслепую неслись друг на друга. Как он мог посадить Шишку к себе в кабину? Туда, где сидела обычно Тася, Корней.

Казалось, допустил святотатство, непоправимо позорное, непрощаемое. Поэтому и не сказал Дремако, кто с ним был в кабине. Не сказал и в совхозе, вернувшись на машинный двор. Подробно расписывал аварию, но про Шишку ни слова. Это было и вовсе странно, поскольку в конторе известно, с кем он ездил. Еще в тот день мерещилось, что все — и механики, и трактористы — знают об этом, но молчат. Неловко им, обидно за него: как мог согласиться, с кем сел рядом? Нет, он не корил их, наоборот, благодарен был за деликатность. Попросил, правда, слесаря Павла Мазеева помочь в ремонте машины. Кому-кому, а ему, Ивану, Павел никогда ни в чем не отказывал. А тут сослался на то, что обещал тестю покрыть хлев засветло. Тогда Иван поверил, а теперь подумал: просто отговорился. В другом причина Павлова отказа.

Федор охотно остался с ним. Наверно, не доложили еще ему, картофель в бурты возил. Мог и не в курсе быть. Иначе не утерпел бы, сказал. Почему у него самого не хватает мужества выложить все начистоту? Или выйдет, что аварию пытаются оправдать? Не требуются ему никакие оправдания! Не нуждается он в жалости. Однако Федьке нужно все объяснить. Что подумает он, когда узнает? И Тасе, разумеется, тоже. От Ивана не укрылся изучающий взгляд жены. Сколько будет он так стоять, ушедший в себя, не в силах слова промолвить? Щерба уже вылез из ямы, бубнил что-то над ведром с керосином, отмывал руки.

Иван жалко, через силу улыбнулся.

— Иди домой, жена. Нам еще крыло красить. Работа нетрудная, но время займет. Покуда почистим, загрунтуем.

— Пойдем, у тебя лицо измученное. Завтра кончите.

— Что ты! Завтра — это ж целый день простоя. А так за ночь высохнет.

— Не искушай, кума! Тут и у меня принцип: кончил дело — гуляй смело, — вступился за Ивана Щерба.

— Я тоже останусь, — твердо сказала Тася. — Давай и мне работу.

— Какую еще работу? Ужин иди готовь. Придем с Федором.

— Не неволь ее, Иван. Я тебе, кума, принесу стул из конторки, сядь и сказки нам рассказывай. Умешь? А если забыла, лекцию прочитай... Хочу узнать, как на свет появился. Никак не смирюсь, что бабка в Козинном меня нашла. Черт его знает, а может, таких, как я, и правда из болота таскают? Потому-то всю жизнь и «мокрые»...

Работу Тася отыскала себе: до блеска протерла стекла, щиток приборов, зеркало. Хотела подмести в кузове, но Щерба не разрешил: нельзя пыль поднимать, осядет потом на краску свежую.

Перекидывались легкими, бездумными шутками. Она и Щерба. Иван молчал. Не слушал, не слышал их. Тася все это видела. Томилась: когда же останутся наконец вдвоем с Иваном, когда выведает, что такое с ним? Неужели расстроился так из-за поломки? Не было бы большей беды! А это чепуха, с кем не случается! Хотя характер у него такой, у Ивана. Это тебе не Щерба, который сто раз обдирав своей машине бока. И сейчас на старой трехтонке держат его, на «музейной». И он, Щерба, смеется над собой вместе со всеми, ни из чего не делает трагедии.

Хлопнула калитка. Пришел Корней. Тасю тронуло это. Значит, скребло у парня на сердце!

— Явился, крестничек! — приветствовал его Щерба. — К шапочному разбору! А то помог бы батьке латать...

Корней с видом знатока осмотрел машину. Спросил, подделываясь под Федьку:

— И в какой пятак влетит этот гузак?¹

Иван удивился: практичный какой! Никто еще об этом не говорил с ним. Ни в мастерской, ни Тася!

— С ЗИЛом-то нестрашно. Какой это ремонт! А вот майор... Пригнал бы «Победу» сюда, не дорого обошлось бы. Пожалуй, только крыло да крышку багажника покупать. Но он, видно, жох. Все, что можно, сдерет по высшему разряду. И за ремонт, и за переживания свои.

— Плакали наши «Жигули», мама, — усмехнулся Корней. — То Валька чулок растрясет, то отец...

Его слова неожиданно разозлили Щербу.

— Чего хмыкаешь, поросенок? Думаешь, матери для себя машина нужна? Ездить в ней роды принимать, что ли? Для тебя старается, олух царя небесного!

— И мне не нужна она! — огрызнулся Корней, отойдя подальше, потому что Щерба вдруг повернулся к нему и иконечником распылителя выписал на бетонном полу восьмерку, чуть не испачкав Корнею туфли и брюки.

¹ Гузак — шишка.

Тася, благодарная сыну за приход, обиделась за «олуха», ринулась на защиту:

— Корнею у нас ничего не надо, одни книги.

— Ты смотри! — вроде удивился Щерба. — Я думал, один такой в Добранке, которому не надо ничего, я. Может, и мне книжечки собирать? Как-то один проезжий на склад сельпо завылся, перебрал весь книжный запас, два мешка наложил. Я к нему: разве, говорю, у вас книг не хватает? Посмотрел на меня, как на первобытного. Книжки, говорит, сегодня самый ценный товар, дороже золота. Валюта! Во! Так что крестник мой тоже себе на уме, знает, куда капитал вложить. Глядишь, и будет етот самый... прибавочный продукт. Чего кривиться, кума? Считай, что я открытие сделал. От «Жигулей» твоих одно разорение да хлопоты. А от книг авось что-то и прибавится. В голове. Будет в голове — будет и в кошельке.

Сегодня все старания Щербы рассмешить Ивана пропадали впустую. Он думал: приду домой, обязательно расскажу Корнею, как все было. И кто в кабине сидел. Но поймет ли? Наверное, нет, и сам не может ведь толком объяснить свой поступок.

Опасаясь, что Федор раскрутит на полный оборот «брехалку», доберется до девочек, как обычно и бывало, если уж заведется, Корней исчез незаметно.

Туманная изморось окутала землю, сгустила ночь. Виден был только ближайший фонарь — большой желтый шар, жиденький свет которого едва достигал земли. А за ним ни огонька. Мгла, как вата, даже звуки приглушила.

Поспорили, как домой идти — по улице, скудно подсвеченной фонарями, или по тропке через огороды.

Федор настаивал — по улице, и Тася согласилась, теперь ей все равно, это сюда искала путь покороче. Хотя упорство Иваново настораживало: почему он упрямится, почему только по тропке? В такую-то темень! Фонарик-«лягушка» у него, не очень осветишь им. Никогда из-за мелочей не пререкался. И Щерба тоже. А тут набычились, не уступают друг другу. В конце концов Федор махнул рукой, пошел по улице. Иван крикнул ему вдогонку:

— Приходи ужинать, ждем тебя!

— Не приду.

Тасе стало неловко — за доброту, за помощь обидели человека.

— Чего это он, Ваня?

— А кто знает. Блоха укусила, наверное.

Ответил так, но подумал с горечью: ждал, видно, Федор, что расскажет наконец про Шишку, про аварию всю правду, но не дождался.

Шли молча. Иван то нажимал, то отпускал рычажок «лягушки». Назойливо пищал динамик, фонарик светил неровно, а то и совсем угасал. Немели пальцы.

А Тася чем больше думала о Федоре, тем больше ощущала какую-то неловкость. Давний же друг их, чего только не навидались, не пережили вместе. Почему вдруг так? Стряслось что-то.

Перейдя ручей первым, Иван направил свет на доску, протянул Тасе руку. И не выпустил. Так, держась за руки, и остались они стоять, замерли.

— Тася! — тихо и тревожно вдруг позвал Иван, будто потерял ее в темноте.

— Что? — и это «что» означало: я здесь, я с тобою.

— Со мной ехал он.

— Как чувствовала, — тихо ахнула Тася.

— Качанок его послал. Я взял... Я хотел посмотреть ему в лицо. Сказал все... А потом... потемнело у меня в глазах, чуть не налетел на рефрижератор. Тася, мне хотелось убить его!

Она отняла руку, обняла его голову, провела ладонями по колючим холодным щекам, зашептала горячо:

— Что же это такое, Ванечка, родной? Что он делает с нами?

— Услышал, что я сидел под печью, что все видел, хотел выпрыгнуть из кабины. Умотал, как только я столкнулся с «Победой», теперь больше он не вернется сюда. Не рискнет. И мы забудем о нем. Вышвырнем из памяти... — Иван сам не верил, что сможет забыть, сможет снова обрести покой, но пытался успокоить жену, видел, как действовали на нее слова о том, что хотел убить. — Будь он проклят! Пусть подохнет своею смертью. Глупенькая! Дрожишь вся. Прошу тебя. Успокойся!

14

Нет, Шишка не сгинул. Он вернулся в Добранку. Правда, не сразу, не в тот же день, а так дня через три. Это время провел в Гомеле, в гостях у племянницы.

Гнев Батрака — то, как вскипел человек, даже до аварии дело дошло, — его слова о том, что в ту ночь сидел он в хате под печкой, потрясли Шишку больше, пожалуй, чем арест в сорок четвертом, когда пришли за ним и взяли из окопов, из боевого охранения на берегу Вислы. После освобождения Гомельщины он сразу же подался на Брянщину, сумел по довоенным документам устроиться дорожным техником — ремонтировать разбитые войною шоссе. Но все время был настороже, опасался. Когда же оттуда его призвали в Советскую Армию, тут уже Шишка решил, что вывернулся, что, в общем-то, все пока неплохо для него складывается. Боязливо пряча голову за бруствером, пытался выставить вперед руки, мечтал о легком ранении. Считалось бы, что кровью искупил вину свою. Перетрусил сильно потом, на очной ставке с Лапаем. Тот в свое время отступил с немцами, и он, Шишка, доволен был: канет бесследно его

бывший соратник где-нибудь в Германии, а случись даже, попадет в руки к советским вместе с гитлеровцами или власовцами, то другие его провинности «Смершу» и выяснять не понадобится. Без долгих разбирательств кокнут, как предателя, и дело с концом. Но все расчеты Шишкины рухнули. Изловили многих, кто служил оккупантам, в том числе начальника районной полиции, бургомистра. Начался суд, длился он целые две недели. Может, то, что судили тогда сразу многих, среди которых были и поглавнее «шишки», помогло как-то ему, рядовому полицаяу. Впрочем, скорее всего, пришел он к выводу, выручили его сами же добранцы, весь свой гнев обрушили на Лапая. Давала показания на суде старая Даниленко, на вопрос прокурора о том, как он, Шишка, вел себя, ответила: «Етот больше самогонку глушил да по чужим бабам шлялся».

Похолодев, с подкосившимися ногами, едва не теряя сознание, он выслушал приговор. Не обнаружив своей фамилии среди тех, долгий перечень преступлений которых завершался словами «К высшей мере наказания — смерти через повешение», Шишка ощутил себя заново родившимся. Все остальное не пугало его, главное — остаться в живых. В колонии он быстро пообвыкся и убеждал тех, с кем свела его там такая же судьба, что вины, собственно, за ним только и всего — поступил под пьяную лавочку в полицию. Угораздило сдуру!

Постепенно и самому себе внушил, что ничего такого особо страшного не совершил. О том, что участвовал в расстрелах партизанских семей, просто заставил себя забыть, напрочь выкинуть из головы. Отсижив в колонии уже лет пятнадцать и повстречавшись там с человеком, который надумал «приобщить его к богу», Шишка охотно, с легкостью поверил, что «господь принял его», поскольку дважды уберег от верной смерти. Значит, нет на нем греха, а если и был бы, то тяжкой жизнью теперешней своею, постоянным обращением к богу замолил все, очистил душу. В последние десять уже вольных лет на золотых промыслах вообще ни разу не пришла ему на память та самая ноябрьская ночь, когда «вынудили» его (с самого начала оправдывал себя тем, что вынудили) стрелять в своих же — в односельчан, в женщин и детей. А если сам бог отпустил ему прогрешения, зачем тогда бередить прошлое?

Только однажды вспомнил он ту ночь, когда, получив письмо от дочери, решил все-таки попытать судьбу, вернуться в Добранку. Подкачало здоровье, болели ноги, да и годы не те уже, чтобы работать на рудниках.

К тому времени он полностью уже полагался на бога, всерьез уверовал, что в этом его единственное спасение. Прожив два месяца в селе, стерпев и открытую враждебность, и угрозы школьного учителя Богатенкова, семью которого тоже расстреляли где-то под Речицей, и неустанные тре-

бования Шербы «очистить мир сей» от его, Шишкиного присутствия, наблюдая недоумение и странный интерес к нему молодых, все больше и больше склонялся к тому, что силы небесные покровительствуют ему, не дают в обиду.

И вдруг — как гром среди ясного дня! Шерба, правда, неделю назад пугнул как следует, пообещал, что «кровь детей отольется ему». Но пьяный был и Шишка не придавал значения его словам.

От места аварии он сиганул в кусты быстрее зайца. Полдня проторчал в лесу под городом. Даже заступника своего божественного укорил. Отступился вдруг от него владыка, хотя двадцать лет уже славит его Шишка. На память весь Псалтырь, весь Новый завет читает. Страх смерти мгновенно подсказал самое простое: бежать отсюда, затеряться в море людском и дожить где-нибудь тихонько остаток жизни. Но слишком многое он уже изведal, а еще больше всякого наслышался, да и законы знал, чтобы предаться первым, прямо-таки мальчишеским порывам. Что он, карманник какой-то жалкий? Исчезнуть — значит, признать вину. И тогда его начнут искать. А тех, кто судился под грифом «военные преступники», ищет даже не милиция, а другая организация, более солидная. Ему встречались в колонии бывшие полицаи, солдаты зондеркоманды, власовцы, которых отыскивали и через десять, даже через двадцать лет. Укрылись некоторые еще с самой войны, когда кружило людей, как в омуте. А вот как изпод земли взяли да выкопали, нашли. И не было будто ни фотографий их, ни отпечатков пальцев, ни особых примет. А у него описаны, учтены каждая родинка, каждый зуб — и свой, и вставной, замерены ревматические искривления ног. Весь он сфотографирован, просвечен и целиком, и по частям. Где такому укрыться? И документы новые не раздобыть — невозможно. О том, чтобы границу перейти, и мечтать нечего. Теперь это и опытному шпиону не удастся.

Два дня прогостил у племянницы в Гомеле, за добрил подарками. Но мужу ее не по душе пришелся неожиданный гость, наверное, слышал о нем раньше, прознал, что за птица залетела к ним. Шишка ночью услышал, как он шипел на ухо жене: «Чтобы завтра и духу его не было. И шмоток этих чтобы я не видел!»

Так и вернулся Шишка домой, предоставив себя целиком воле божьей.

Но и пригрозил господу, предупредил: «Если что со мной случится, во гробе кто будет славить тебя? Позаботься же о том, кто помнит, кто жив пока». Кроме небесных были и другие причины, земные, которые привели Шишку назад в Добранку. Дочь. Отцовские чувства пробудились в нем впервые и так поздно. Что бы он там ни вещал о любви к ближнему, возможно, только сейчас понял, что никогда и ни к кому не испытывал настоящей любви. Ненавидел и тех, кто спал с ним на одних нарах, осужденных за то же самое.

ненавидел и тех, кто стерег их. От страха, что ненависть эта может привести к новому преступлению, а значит, к «вышке», вероятно, и потянуло к богу. Хоть какая-то отрада для души, сгоравшей от постоянной оголтелой злобы, уставшей от нее. И вдруг привязанность человеческая, согревшая его.

С Мариной как не было душевной близости в молодости, так не было ее и сейчас. Более того, жена встретила его настороженно и не очень скрывала, что огорчена его появлением. Но Анна, которая писала ему последние пятнадцать лет, сначала, пока отбывал срок в колонии, редко, даже тишком от матери, а потом, когда уже был на поселении, не скрываясь и часто, встретила отца на вокзале в Гомеле — потянулась к нему сразу с открытым сердцем. Так, по крайней мере, надеялся Шишка, и он оценил и силу родства, и голос крови, и любовь дочкину. Растрогался, принял как божью благодать, снизошедшую на него.

Анна была существом странным, во всяком случае, мало кем разгаданным, поскольку чувства свои таила даже от матери. Наверно, немало в ее характере оказалось от бабки, от отца, и такого именно, что когда-то привело Григория на службу в полицию. Это и ограниченность, и неумение хоть как-то усмирить свои желания, умерить их, связать с жизнью, с интересами других людей, не отделять себя от них, не «подниматься» над ними. Этого не умел и не хотел молодой Шишка. Этого не умела и Анна, дочь его, хотя была она сейчас лет на десять старше, чем ее отец в те далекие времена, когда столь бесславно закончилась его карьера.

Детство выпало Анне тяжелое. Оставалась она с бабушкой, которую в селе и раньше не привечали, а в первые послевоенные годы просто видеть не могли. Черная тень неволью падала и на Анну. Дети, ее ровесники не общались с ней, обходили стороной. Она окончила шесть классов, и родственники отвезли девочку в город в няньки. Устроили в интеллигентную семью, к преподавателям музыкального училища. Старательная была Анна, послушная. Ее встретили сердечно, по-доброму. А в ней клокотала злоба и к взрослым, и к детям их с самого начала, с самого первого дня жизни у этих людей. Как-то хозяйка случайно услышала, как о ней и ее детях отзывается в беседе с подружками та самая услужливая скромница Анна. На этом и закончились их отношения.

Вскоре умерла бабушка Проня, и Марина вернулась домой со стройки, стала работать в Добранке. Анна приехала к матери, но в совхоз не пошла, не захотела. Бывший лесничий, пьянчуга, нечистый на руку, зачислил ее в штат лесничества и сделал своей домработницей. Хозяйство у него было хоть куда — и коровы, и свиньи, и индюшки. Ворочала Анна за троих. Прощала все лесничему: и то, что столько работы навалил на нее, и что в казну залезает, и что грубиян, а когда перепьет,

и кулаки в ход может пустить. Одно только перенести не могла: знала, какой охочий до чужих баб, а на нее, хотя они и часто вдвоем оставались, даже под градусом не польстился ни разу. Будто и не женщина она вовсе. За это злобилась не только на лесничего, на всех добранских парней — никто из них не приударил за ней, не прижал где-нибудь в темном закутке.

Правда, в городе она познакомилась в скверике с солдатом и несколько раз по воскресеньям, когда ее отпускали на выходной, встречалась с ним. Нетерпеливо ждала каждого нового свидания, целовала его, ласкала. Но солдат через какое-то время исчез. То ли демобилизовался и уехал домой, то ли не по вкусу ему она пришлось, а может быть, узнал, чья дочь Анна.

В семнадцать — двадцать лет она была с виду недурна. А потом, хоть и работала в лесу и пила парное молоко, как-то быстро поблекла, исхудала. Плоскогрудая стала, жилистая, с мужскими ухватками, но крепкая. Схватила как-то, когда еще жила в лесничестве, бодливого быка прямо за рога и крутанула так, что тот аж взревел от боли, а потом, завидев ее, убежал.

Но скоро новый лесничий приехал, молодой, образованный, с женой учительницей. Он тут же направил Анну в цех ширпотреба, где делали топоры, ручки для лопат, черенки к ножам. Анна пошла туда покорно, быстро освоила профессию, но через какое-то время предложила свои услуги лесничихе — помогать по дому. Захотелось проверить, такие ли они на самом деле правильные — и лесничий, и его жена, — какими хотят казаться. Они охотно согласились, но не знали, сколько надо платить за это, стеснялись спросить у нее, а она молчала. Заплатили так щедро, что Анна удивилась, но не отказалась, от денег она никогда не отказывалась, хотя работала не так исправно, как у того пьяницы, который рассчитывался с ней за государственный счет. Обирала этих людей и презирала за щедрость, за порядочность.

Потеряв всякую надежду выйти замуж, завести свою семью, она стала искать сближения с людьми, которые, казалось ей, не добиваются радостей в этой жизни, а думают об иной жизни, о вечной. Это и привело ее к баптистам. Она ходила к ним далеко — в Горностаи, за семь километров, где жил пресвитер. Но довольно скоро разуверилась в них, особенно из-за пресвитера, греховодника старого. Лесничий, даже когда напивался, никогда не приставал к ней, а этот слизняк тут же полез с лапами. Анна плюнула ему в лицо и больше не общалась с сектой, хотя старые паучихи еще долго приползали к ней, плели паутину, опутывали. Но не получилось у них.

Отец, как только вошел первый раз в хату, преклонил колени перед образами, долго молился. Анну удивили, тронули слова, которых она раньше никогда не слыхала: «Иные — колесницами, иные — конями, а мы именем господу бога нашего хва-

лимся». Анна плакала, жалела отца: так истово молиться может только человек настрадавшийся, которому ничего не нужно теперь уже — ни коней, ни колесниц, одна только вера.

Может, на этой почве и проросло семя душевной близости между ними. Но взрастило его так быстро на самом деле совсем другое — честолюбивые желания грешной жизни.

Не Марине, жене, а ей, дочери, признался Шишка, что приехал к ним не с пустыми руками, что кроме щедрых подарков, к которым Анна не была равнодушна, не то что мать, привез круглую сумму денег. И не собирался сидеть на этих деньгах, как собака на сене. О семье заботился: «Дом построим, дочка, такой, чтобы людям завидно стало». С этим, собственно говоря, и возвращался: пускай полюбуются, что не только цел и здоров, но и живет не хуже тех, кто проклял его, вычеркнул из памяти. Пусть они поглядят, пусть утрутся!

Анна тоже давно мечтала о новом доме, особенно когда поняла, что никуда ей не деться из этого, никто замуж ее не возьмет.

Запасала понемногу лес — по два-три кубометра. Больше лесничие без наряда выписывать не решались. Но бревна темнели у них во дворе, гнили, мать одалживала их соседям — все равно на сруб не хватает.

Ладно, чтобы не мозолить глаза людям, они не станут строить себе дом лучше, чем директорский или чем у Ивана Батрака. Отец стоял за кирпичный. Но Анна все равно бродила по лесу, выбирала сосны — корабельные. Деревянный ей больше нравился. И представляла, как будут исходить завистью добранцы, шипеть от злобы. Зависти не боялась, наоборот, как подумает об этом, веселее становится на сердце. Хоть таким образом отплатить за свое унижение, за бедность, за неудачную жизнь, не давшую даже простого женского счастья.

Анна растерялась, когда отец уехал с Батраком и не вернулся из города ни в этот же день, ни на завтра. Это был бы страшный удар, исчезни он вновь, обмани ее надежды на дом, на иную жизнь. Просто возненавидела мать, когда та на третьи сутки его отсутствия заметно оживилась. Ни от чего другого, поняла Анна, как от мысли, что человек, с которым их связывало только то, что он отец ее дочери, снова сошел с ее дороги, исчез так же неожиданно, как вернулся, и теперь можно уже надеяться, навсегда.

Но через несколько дней Шишка объявился. На вопрос, где пропадал, сослался, что гостил у племянницы, у дочери его сестры. Марина после смерти свекрови, с которой вынуждена была какое-то время жить в одной хате, ухаживать за немощной, порвала всякие отношения с мужними родственниками. Племянницу эту они не выдали лет двадцать, давно забыли о ее существовании. Да и она не очень-то интересовалась их судьбой.

Шишка с удовольствием рассказывал про то,

как провел время в гостях: погулял, мол, повеселился. Но молился в тот вечер он дольше обычного, и в молитве этой Анне почудились и смещение, и страх. Она снова пожалела отца: неужели так и жил все время, все тридцать пять лет? Да такая мука любое искупит!

— Посмотри на врагов моих, как много их и какую лютой ненавистью ненавидят меня.

У Анны от слов этих все холодело внутри.

Марина стала готовить ужин, затопила печь, такую низкую, что ставить или вынимать ухватом чугуны приходилось на коленях. Она нарочно гремела ведрами, тазами. Не переносила Шишкиных молений, не верила в искренность его.

Анна метала на мать гневные взгляды, но Марина делала вид, что не замечает. Стала вдруг передвигать лохань, хотя куда ее в такой тесноте можно переставить?

Шишка только вздыхал, однако молитвы не прерывал, наоборот, произносил слова громче, отчетливее:

— Суди меня, господи, по правде моей.

Услышав это, Марина засмеялась. Звонко, как когда-то в юности.

Муж посмотрел на нее внимательно и перешел на шепот. Анна возмутилась:

— Ты що это? Що тебе смешно? Що человек молится?

— Много же нагрешил, коли так спрашивает бога.

— Прости ее, господи, сама не знает, что говорит,— голос Шишки дрожал от гнева.

А дочь закричала истерически:

— Как не стыдно тебе! Как не стыдно! Старая уже! А ничего святого нет. Ни любви, ни жалости, ни бога. Оттого мы и мучились... Дай нам теперь пожить! Дай!

Марина повернулась к ним, держа в руках ухват, выставила его вперед, будто заняла позицию для обороны. Сказала сурово, жестко, редко так говорила с Анной, единственным близким человеком:

— Нет, дочка, не оттого мы мучились. Не оттого! Не из-за меня. Есть у меня жалость. И к тебе. И к людям.— Замолчала. Шишка поражен был, не ожидал такого удара от жены, всегда покорной, казалось ему. Возвращаясь домой, уверен был, что не выгонит, простит. Но Марина и тут не ударила, вздохнула горестно.— К себе у меня только нет жалости. Себя казню. А жить живите. Я вам не помеха,— и, с грохотом швырнув ухват в угол, вышла из хаты.

Иван любил партийные собрания. Разговоры на них всегда велись серьезные, о насущных делах, которые имели отношение и к его собственной

работе, и к работе односельчан. Много и горячо обсуждали разные разности и на других собраниях, совещаниях. На профсоюзных каждый раз о быте заходила речь, шумели из-за мелочей, препирались. На производственных, главным образом, технологией занимались, обсуждали текучку кадров. Стиль партийных собраний настраивал на торжественный лад, определял директивность решений. За столом президнума всегда Астапович и парторг Забавский. Не обходилось и без товарищей из района, а то и из области. Его, Ивана, тоже часто выбирали в президиум, потому-то и приходил обычно на собрания в выходном костюме, при галстукке. Да и не он один. Разве только в посевную или в жатву, когда на счету каждая минута, заявлялись прямо с поля в спецовках, пропахших соляжкой и бензином.

Сегодня собрание отчетно-перевыборное. Итоговое.

Кончили работу на час раньше, чтобы люди успели поесть, помыться. В совхозе обычно только конторские сидят на месте от звонка до звонка. А у всех остальных часы работы зависят от разного. Для тех, кто в поле, от погоды; на ферме — от подвоза кормов и даже от того, какой нрав у буренки: один день доится легко, другой фокусничает. Ну, а у шоферов рабочий день включает в себя самое непредвиденное, не оставишь ведь в поле выбранный картофель, свеклу, а тем более зерно. Нынче на мясокомбинате Иван провел четыре часа: очередь на километр и ловкачей развелось полно, так и норовят растолкать локтями, пролезть вперед. Астапович — тот ни разу не поехал на мясокомбинат «пробивать», проталкивая свою «живность», ездил иногда Качанок. А кое-кто из соседних хозяйств, Иван знал их в лицо, крутятся постоянно там с такими набитыми портфелями, аж «замочки трещат». Но вернутся ли их водители домой раньше? Пусть бы кто-нибудь проверил, думал Иван, меньше ли у них затраты на сверхурочную работу? Из Кузи вырастет дельный хозяин, все сам подсчитывает в рублях и других заставляет считать, плановый отдел и бухгалтерия стонут от его требований. У Астаповича иной стиль — он берет энтузиазмом. Но поддерживает Кузю, хотя агроном, по молодости своей, случается, и паломает дров. Директор взял под защиту и главного инженера, когда того начали было клевать. Забавский несколько раз критиковал Астравца. Тогда Иван в душе поддерживал парторга. У инженера, не в пример Кузе, совсем иной метод, «немодный» в наше время. Поменьше перемен, нововведений, экспериментов, инструкций, совещаний, больше личной самостоятельности. И даже философия у Астравца своя: он ее как-то в разговоре высказал: «Все лучшее отбирается эволюционным путем». Ивана возмущала эта отсталая точка зрения — по существу, оправдание собственной лени. Но прошел год, и механизаторы стали работать не хуже — лучше. Выходит, инже-

нер по-своему прав, умело руководит машинным парком, вряд ли стоит обвинять его.

Впрочем, Забавский, скорее всего, опять начнет критиковать инженерную службу. Придется выступать, стыдно им, механизаторам, будет, если их инженера снова станет защищать Астапович, а не они.

Иван думал обо всем этом, пока брился перед зеркальцем над умывальником. Но мысли сбивались, не мог сосредоточиться на чем-то одном. В конце концов, все в жизни важно — и совхозное, и свое, личное, — все в один узелок связано. На таком собрании обо всем пойдет речь: о том, что Седьмое ноября не за горами, что строительство комплекса близко к завершению, о картошке, брошенной на поле без охраны, которую тут же некий проезжий «турист» на колесах решил прибрать к рукам; у бригадира и тракториста вычли из зарплаты стоимость украденного картофеля, а на собрании добавили изрядную порцию критики.

Он снял с вешалки костюм и вдруг замер: ему тоже ведь могут выволочку дать за аварию. Публично. Качанок уже склонял на все лады эту историю. Чего это он вырядиться решил, чтобы люди смотрели на него и в душе посмеивались? Нет, пойдет как есть, в рабочем костюме. Только рубашку заменил, снял байковую клетчатую и надел нейлоновую синюю. Но делал все автоматически, без того праздничного подъема, когда думал с утра о собрании. Вспомнил про аварию, и сразу все отошло куда-то, снова все заслонил Шишка — назойливый, нагло навязчивый призрак.

Ивана не просто удивило, ужаснуло то, что после их разговора Шишка все же осмелился вернуться в Добранку. Напрасно утешал он и себя, и Тасю, что полицей больше не появится, что они сумеют забыть о нем. Нет, невозможно, выходит, это. Теперь все... работа, жизнь связаны с ним. Такая же, собственно говоря, авария... Если его станут критиковать сегодня за то, что случилось на шоссе, это будет не просто больно, это помещает ему вникнуть в другие дела, которые и есть его жизнь.

Зло брало на Качанка, на Забавского, даже на Астаповича — был же всегда настоящим человеком, товарищем, а тут с высоты своей не замечает, что творится вокруг? Но тут же устыдился своей злости — никогда он не настраивался против товарищей по работе.

Увидел в окне бегущую домой Тасю. Спешит проводить его на собрание. Усмехнулся снисходительно: «Будто в Москву на съезд». Предложит, конечно, надеть парадный костюм, раздражился и против жены, не согласился с ней заранее.

Нет, Тася, оглядев его, вздохнула тихо, спросила озабоченно:

— Ты поел?

Ивану стыдно стало за себя, тревожно оттого, что жена догадалась, почему не захотелось ему переодеться. Между ними давно установилось то

молчаливое понимание, которое сближает больше, чем любые самые пылкие, ласковые слова.

— Не хочется мне. Обедал в городе.

— До полночи же будете заседать. Один Яшка может пластинку на весь вечер завести.

— Ну дай простокваши тогда. Сушит что-то во рту.

Тася кинулась в погреб, вернулась с запотевшим глиняным кувшином. Сняла деревянной ложкой сметану в мисочку. Иван не любит. Плотными голубоватыми пластами, как срезала, накладывала простоквашу в кружку. Иван взял горбушку, ел, стоя у стола.

Плащ все-таки всучила ему новый, и он не возразил, надел послушно. Уже был у двери, когда Тася тихо оклинула:

— Ваня!

Он повернулся быстро.

— Что?

— Да ничего. Просто хотела посмотреть на тебя. — Ей было неловко.

— Ну, ты... прямо как на фронт провожаешь.

О фронте не стоило говорить — он подумал об этом во дворе, вспомнив страх, промелькнувший в Тасиных глазах.

Иван шел на собрание уже более спокойный, но какой-то и обезоруженный. Раньше в такие дни ощущал особый прилив энергии, все интересовало его: и доклад, и стычки в прениях, без них никогда не обходилось. Всегда рвался в бой. Теперь же не представлял, что может предложить людям, что сказать им. Сказать, это он понимал, необходимо, но совсем о другом. А уместны ли будут они сегодня, эти слова его, поймут ли по-настоящему, что его точит?

Полегче стало, когда подошел к людям, стоявшим на крыльце, перекинулся шутками кое с кем, увидел, как добро встречают его друзья, работающие каждый день рядом. Близкие ему люди. Правда, не со всеми и во всем он согласен с ними. Некоторые просто дороги ему, как родные, но есть, конечно, среди них и пролазы, вроде этого его «дружка с пеленок» Яшки Качанка. Он тоже сейчас крутился здесь с горящими щеками, возбужденный. А впрочем, разве это необходимо, чтобы все на одну колодку были, под одну гребенку стрижены? Наверно, и с ним многие и во многом не всегда сходятся. Важно, главное, что все это свои люди, что делают одно великое дело и за дело это готовы в любой бой, на любого врага, как тогда в сорок первом. Не всегда в сумятице будней думается так высоко, но, когда всерьез подумаешь об этом, легче прощаешь друзьям их маленькие слабости. Иван вошел в зал, где должно было состояться собрание, хотел до начала успеть уплатить партвзносы.

Все здесь, в этом зале, только летом отстроенном, было новым. Качанок первым подскочил к нему, стиснул руку так, будто не виделась давно и он крайне обрадован встрече. Иван усмехнулся

про себя. Яшкины хитрости всегда как на ладони. Это, между прочим, и вредит ему, но кое-когда и выручает. По душе людям такое простодушие, непосредственность. Хотя при тайном голосовании Качанок получал немало голосов против, но в конечном счете всегда проходил и в профком, и в партком и репутация его как делового человека это не снижало в глазах начальства. Рассуждали трезво: кто активно работает, тому «черных шаров» не избежать. Кому-то путевку не дал, кого-то критиковал, кому-то не самый лучший участок в сенокос выделил. А разве Астапович не повинен в таких делах? Однако же выбирают единогласно, редко один-два голоса против. Но тут, считали, особый случай, авторитет настолько высокий, что даже явные недруги не отваживаются против голосовать, знают, что остальные станут дурно думать о них, осудят. Да и не так уж трудно будет догадаться, кто это сделал. А за то, что против Качанка голос подал, даже и похвалить могут. Потому-то перед каждым тайным голосованием Яков паниковал: как бы в районе не задумались, а почему все-таки против него столько этих самых «черных шаров»? Стоило бы разобраться. Когда такая мысль приходит в голову тем, в чьих руках кадровые вожжи, добра не жди. Качанок и так, в общем-то, безвредный, а перед голосованием — только что не ангел с крылышками.

Ребята изощрались, не стесняясь его:

— Якова сегодня хоть на хлеб намазывай! Слаще, чем мед у старого Дубодела.

Резкий на язык заведующий фермой Петр Кравцов «подбил итог»:

— Мед-то мед, да свинарником от него несет.

По общему смеху Качанок понял, что опять по нему «проехали». Догадался, кто. С Кравцовым у него старые счеты. Но его он не опасался: этот ради красного словца ни перед чем не остановится, но и не станет подговаривать людей голосовать против. Главное, не допустить, чтобы спелись, сговорились, черти, перед собранием. Этим именно, сговором, Яков и объяснял такие случаи, когда против того или иного из кандидатов неожиданно-негаданно для руководства, которое все знать должно и не давать промашки, голосует вдруг больше людей, чем можно было предположить в самом худшем случае.

Сам Качанок считал, что, если он не торчит в такое время часами в кабинете у председателя сельсовета и не смотрит в рот секретарю райкома, которая прибыла сегодня в Добранку, а находится среди рядовых членов партии, в гуще, можно сказать, это означает, что не о себе он лично заботится, а о том, чтобы все прошло с должной принципиальностью, чтобы люди настроены были по-деловому, не попали под влияние доморощенных демагогов или обиженных за какую-то сухую чепуху бытовую. Такие неизбежно встречаются в любом коллективе. Белоручка этот,

Забавский, уверен, что все само собой произойдет, что люди в организации высокосоциальные. Ерунда все это, живет человек явно не в реальной жизни, а в какой-то им самим для книжек придуманной.

Яков Матвеевич недолюбливал молодого парторга, но свое недовольство открыто не высказывал. Считал, что именно он, Качанок, всю ношу на себе тянет — и профсоюзную, и партийную. Трудно это размежевать в практической деятельности. Нелегко, нелегко, конечно, ему бывает, но куда тут денешься. Свое все, родное.

Однажды только проявилось его истинное отношение к парторгу: расхохотался при всех, когда старый, с двадцатых еще годов коммунист, персональный пенсионер Климович, скептически настроенный ко всем новшествам совхозным, назвал Забавского культуртрегером. И слово какое мудреное подобрал. Чужое, давно забытое.

Как только Иван уплатил взносы, Яков Матвеевич тут же подхватил его под руку, притиснул в углу.

— Никогда не думал, что ты способен так лаяться. А злости сколько! Откуда она взялась у тебя? Нашел тоже, из-за кого портить отношения! Из-за Шишки. Да мне и плюнуть на него слюны жалко, на морду эту полнейшую! Думаешь, он мне нужен? Реле позарез надо было достать. Между прочим, и реле его не понадобилось, инженер из НИИ заменил схему на более простую. С головой парень. Молодой, а в схеме той, в которой сам черт ногу сломает, разбирается — как семечки щелкает. Во, брат, какие кадры прут. Молодежь теперь — сила! Твой куда после десятилетки? Моя в музыкальное, и никуда больше. Клавка против. А я не отговариваю, пускай идет. Может, его призвание ее. Правда?

Качанок знал, чем легче всего заполнить брешь в их отношениях: о детях Иван всегда говорил охотно. Но тут не отозвался. Напоминание о Шишке снова вывело из равновесия. Он слушал Яшку молчаливо-настороженно, смотрел на него даже не сердито, не враждебно, а словно впервые узнавая человека. Прощался с ним, с этим человеком, как с привычной вещью, которую и беречь уже незачем, но и выбросить жалко.

Это Иваново высокомерное, как подумал Качанок, молчание, неуважительный, отчужденный взгляд — будто он, Яков, уже никто и ничто — и рассердили его, и опасность почувдалась. «Спасибо должен был бы сказать, что не вкатили выговор за аварию. Ничего, пройдут выборы, я ему все припомню».

Но сейчас Рабочком вынужден был держаться иначе.

— Ты чего набычился?

— Кажется тебе.

Попробовал атаковать в лоб:

— Решил против Качанка голосовать?

— Больше у меня забот нет,

Это уже совсем что-то непонятное, оскорбительное — полное пренебрежение к нему, к Яшке.

Об обиде своей Качанок сказал прямо, без выкрутасов:

— Отстаиваешь-отстаиваешь ваши интересы... нервов не щадишь, а вы так и норвите куснуть.

До Ивана только сейчас дошло, чем живет в эти минуты Качанок, что волнует его, и он от души пожалел приятеля, успокоил не без иронии, правда, сказал неожиданно для Качанка дружески, доверительно:

— Не переживай, Яша, поддержим. Рабочий класс — опора надежная.

Забавский искал в своей работе новые формы. Не все, конечно, ему удавалось, опыта не хватало, знания людей, хотя и был он сыном колхозника, работал в юности на земле. Но это не сравнить: его колхоз того времени, пятнадцать лет тому назад, и совхоз «Добранский», хозяйство высокоразвитое, оснащенное новой техникой. А вот то, как живут люди, чем дышат, мало пока отличается от того, что было тогда в их селе. А это больше всего и волновало Александра Петровича. Он писал документальную повесть, в которой хотел показать духовный мир селянина-рабочего. Необходим был эксперимент. Некоторые нововведения Забавского в партийной работе уже давно прикрыли бы инструкторы райкома, если б не авторитет члена обкома Астаповича, которого явно интересовало то, что делает его парторг, его поиски, как директор называл это. Но не все придерживались такого мнения. И в райкоме, и в совхозе, да и тот же Качанок считал, что Забавский «экспериментами» своими на самом деле пытается оградить себя от самой тяжелой работы — хозяйственной. Более того, Яков готов был доказать, что при таком методе недалеко до того, чтобы принизить роль партийной организации в главном — в производстве хлеба и мяса. Но тезис этот он держал про запас, как самое мощное свое оружие. Им легко будет орудовать, этим тезисом, в случае неудачи, поскольку работа Забавского, в конечном счете, взвешивается на тех же весах, измеряется той же меркой — теми же тоннами и метрами. Только вот что остается от его работы в душах людей, этого не учесть, в статсводку не запишешь. Нет там такой графы, не значится.

В отчетных докладах есть железная форма, отступают от которой либо люди неопытные, новички, да и то где-нибудь в глубинке, в первичной организации, или — когда повыше — работники посмелее, с размахом. Такие обычно «рубят по узлам», отмечают второстепенное. В общем же, секретари придерживаются устоявшегося: производство, цифры, процент роста, соревнование, хвала

передовикам, критика отстающих, партработа, политечеба, комсомольская и профсоюзная организации, ближайшие задачи.

У Забавского отчетный доклад мало походил на те, к которым в совхозе привыкли раньше.

Парторг не отчитывался — говорил, как бы советуясь с собранием, о людях села, об их работе, отношениях, о том, как лучше воспитывать детей, о том, что покупают совхозники, почему пьют много некоторые. Отчего? Даже про кладбище упомянул: нехорошо, что туда скот заходит, присматривать за этим нужно, огородить, помочь людям памятники поставить, почтить не только тех, кто на войне погиб, но и тех, кто в честном труде свою жизнь прожил. Разузнал, какие книги в библиотеке на полках пылятся, а на какие в очередь записываются. Словом, речь шла о жизни. О советском образе жизни.

Слушали его внимательно, впервые на отчетном собрании такой разговор.

Секретарь райкома Тамара Федоровна Кошуба, недавний комсомольский вожак, сначала отнеслась к докладу Забавского с тем же интересом, что и другие. Но потом встрепенулась: не слишком ли круто забирает парторг? Все было бы к месту, если б обычное собрание с соответствующим порядком дня. А у отчетно-перевыборного свои установленные правила, которые вряд ли имеет смысл нарушать. Не миновать ей головной боли от первого, зря понадеялась она на Забавского, нужно было перед собранием проглядеть доклад, в конце концов, это ее прямая обязанность. Она курирует организацию, отвечает за перевыборы.

Астапович, сидевший в президиуме с другого конца стола, хитро шурясь, следил, как реагирует Кошуба. Заметил, что начинает ерзать на стуле. Посмеивался. Он один, пожалуй, был знаком с полным текстом доклада, поскольку на бюро Забавский выступал тезисно, чтобы сэкономить время. Астапович, когда прочел, тоже сперва удивился: очень уж не по канонам. А потом решил: пускай, коль уж числится за ним, за директором, слава, что опекает все новые начинания, то почему не поддержать и новой формы партийного собрания? Обо всем в докладе сказано по-партийному, а если не по трафарету, грех невелик. Он, Астапович, сам нередко думал о том же, что тревожит Забавского, но никогда не объединял так, не связывал в одну цепочку, не проверял все колеса, все подшипники, все звенья сложнейшей передачи. Заботился об одном — чтобы люди честно работали и чтобы хорошо жилось им. А выходит, нужно-то копнуть глубже. Забавский был его находкой. Многие сомневались: временный, мол, человек, гастролер, искатель сюжетов. Пусть временный, думал сейчас, слушая доклад, Федор Тимофеевич, такой временный дороже другого постоянного, свежим глазом на все посмотрел. Вон как притихли люди, как слушают.

Но и Астапович не заметил, что сидит среди них человек, который слушал Забавского не просто заинтересованно — впивался в каждое его слово. Иван Батрак.

В президиум Ивана в этот раз не выбрали. Никто из механизаторов не назвал фамилии Батрака. И он благодарен был им — тактичные ребята, не хотят, чтобы лишний раз вдруг всплыла авария, не хотят причинять ему боль. Но, пожалуй, и сам Иван не догадывался, что именно это их молчание больше всего и напоминает о случившемся, о том, что лишило его душевного покоя. После первой встречи с Шишкой в сельмаге, рассказывая Тасе подробно о своем детстве, пообещал, что все люди узнают об этом, все село узнает от него. Но потом понял, что сделать такое непросто. Не вылезешь на собрании со своей раной. Да и собрания такого не было. Попытался во время перекуров завести разговор на машинном дворе, но увидел, что молодые слушают спокойно, без возмущения, хотя и с интересом — еще один эпизод той давней войны. Будто фильм смотрят по телевизору. И его испугало это спокойствие. Да и не умел он рассказывать другим так, как Тасе, говорил коротко, сухо, почему-то смолчал, что мать еще ребенка ждала, будто дети перед ним сидят, которым неловко говорить об этом. Или, наоборот, сам он еще мальчишка и так же, как тогда, никому не может признаться, что мать должна родить братика ему или сестричку. Сразу после войны казалось, что лучше не знать людям об этом. Казалось, что нехорошо это, можно обесславить покойницу. Возможно, шло все от тетки Федоры, она тоже никому не говорила, что невестка в положении только в молитвах своих поминала «неродившегося младенца, убиенного иродами».

Теперь он понимал, что о ребенке, убитом во чреве матери, нужно, необходимо поведать всем, всему свету. Кто стрелял в мать, в Аньку? Немцы, Лапай? А может, он, Шишка? Под печь же он стрелял! В его руках был автомат. Кого Анечка просила: «Дяденька, не стреляй...» Только знакомого могла просить так. Иван переживал потом, что не смог объяснить людям всего, исправлял как-то ошибку свою, но опять же не так, как собирался, как надо было, почему-то никому из молодых не доверился. Корнею тоже рассказал кратко, подробности дополняла Тася. Но Корней понял, весь горел от гнева, слушая. Ивану захотелось пойти в школу, рассказать старшеклассникам, пускай понесут по окрестным деревням. Однако нелегко напроститься самому на выступление. Разве просто было молчать ему целых тридцать пять лет? Но сейчас это немисливо больше, память должна жить в людях, хватит, в конце концов, заботиться о себе, о своем покое печься. Может, раньше и было у него право на этот покой, а теперь нет, да и все равно нарушен он безвозвратно, наверно, его покой. Не вернется к нему, да и нужно ли, чтоб вернулся?

И все же искал случая, который поможет ему сделать так, чтобы узнали люди, чтобы Шишка не нашел ни у кого даже тени сочувствия. Чтобы не считали молодые войну далекой историей, чтобы поняли, как долго не заживают у отцов раны, как болят они. Чтобы треск мотоциклов и грохот джаза не очерствил души, чтобы не оставил равнодушными к чужой смерти.

Подумал как-то в дороге, за рулем: а что, если выступить на этом отчетном собрании? Но тут же отказался от своего намерения, вспомнил, о чем говорится обычно на таком собрании. Могут еще прервать: не на вечер воспоминаний пришел! А если и успеет довести рассказ до поездки за реле с Шишкой, вдруг найдется кто-то, хоть один, кто усмехнется: оправдаться решил за аварию — смертью матери оправдаться, гибелью отца, сиротством своим.

Удивится еще — для чего это понадобилось ему на людях вспоминать о таком. Этого Иван особенно боялся. Боязнь сделала его недоверчивым, всегда верил товарищам своим, а тут сомневаться стал.

И вдруг все не как обычно. Собрание необычное. Доклад Забавский, коротко сообщив итоги года, заговорил о том, как люди живут, чем живут они. Что не воспитываем молодежь на истории родного села, на примерах жизни людей погибших, работавших в самое тяжелое время. Забываем о женщинах, которые после войны и пахали на себе, и получали на трудодень по двести граммов. Некоторые из них, у кого не осталось детей или подались они в город, сейчас сено на себе носят, а мы поглядываем со стороны, будто так это и положено, будто при автоматической системе управления не до этих уже старух. А ведь уважение к прошлому своему, к своей истории несть основа той духовности, которой так часто недостает...

Многие были удивлены: молодой парторг, в общем-то, бьет по Астаповичу; доказывает, что не все в прославленном совхозе так хорошо, как об этом столько лет пишут в газетах. Качанок кипел от возмущения: разнузданся совсем Забавский, тень наводит на светлый день! Метал взгляды на директора: прекрати, останови сго! Но Астапович молчал попурившись. Никто не знал, что сам он подбрасывал парторгу факты. Рассуждал мудро: я работал, чтобы люди ели сытно, в новые дома въехали, одевались хорошо, а теперь кто-то поумнее меня, образованнее должен лучше их сделать. Людей.

Иван, всегда болевший за дела совхоза, не считал, что Забавский принижает, критикует сделанное до него. Нет, ему казалось, что парторг говорит только с ним одним, отвечает на его, Ивановы мысли. Просто заставляет его выступить, после таких слов невозможно не выступить.

Иван представил, как он сам выйдет на трибуну, как станет рассказывать. Сердце будто расколосось, разлетелось осколками по всему телу, больно билось в висках, в горле, в руках, горячие волны перекатывались в груди, стучались в затылок.

Прения и раньше начинались трудно — пока раскачаются. А необычный доклад совсем сбил людей с толку. Если кто и готовился что-то сказать в соответствии с привычной схемой, теперь растерялся: как состыковать свои слова с этим докладом? Долго никто не отзывался на настойчивые призывы председателя Якова Качанка.

Наконец выступил заведующий вторым отделением, Горностаевским, бывший председатель тамошнего колхоза, партизан-подрывник Осип Горностаев. Опытный хозяин-практик, но с низким образованием — довоенные семь классов, — Осип остро переживал, что такие «прохвесары», как Виктор Кузя, наступают на него своими знаниями, и защищался своеобразно: подлавливал агрономов или инженеров на ошибках и почти на каждом собрании кого-нибудь из них «раздевал», пуская «голеньким» в поле, на ветер.

«Раздеть» Забавского он не отважился, но заявил, что доклад ему категорически не понравился: не о том надо было говорить; как им жить, люди сами отлично знают, а вот как привес побольше бычкам дать, как зимовку скота организовать, это главная забота на данном этапе. У него в отделении итоги года хорошие, Осип хвалил своих людей, а значит, косвенно и себя самого.

Ивана его выступление взбудоражило еще больше. Не о том, совсем не о том говорил Осип.

У заведующего первым отделением Семена Дражневича, бывшего инструктора райкома, бывшего парторга совхоза, два высших образования — институт и партшкола, но у Горностаевы шли дела лучше, и они ревниво следили за успехами друг друга. Горностаев и Дражневич старался поймать на «мушку» — тоже ведь из «прохвесаров», — но публично никогда этого не делал, придерживался этикета. Однако еще не было случая, чтобы после того, как выступит один, не взял слово другой. Над этим их соревнованием потешались, и сам Горностаев, обладающий острым чувством юмора, язвил часто, выводил из себя Дражневича.

И сегодня тоже вслед за Горностаевым попросил слово Дражневич. Сказал, что ему, наоборот, доклад понравился, свежие, интересные мысли, хотя и не стал объяснять, в чем же их свежесть. Говорил, как и Горностаев, о делах хозяйственных, но слушали его хуже. Начался шумок, обсуждали доклад не с трибуны — в зале.

Яков Коржов, самый старейший из механизаторов

и самый скупой на слова, повернул голову к Ивану и глухо сказал:

— Правильно нацеливает парторг! Но так будет, наверное, только в его книге. Они, книги эти, в чем-то ему мешают. Жизнь, брат Саша, не по книгам идет,— и вздохнул. Качанок постучал карандашом по столу, призывая к тишине. Но Коржову, обычно не выступавшему, хотелось хоть перед Иваном высказаться. — Конечно, хозяйство они наладили. Астапович — деловой мужик! А про память, про душу — тут парторг в самое яблочко попал. Вчера вот была у меня вдова друга моего фронтового Матрена Солодка, из Горностаев. Знаешь? Два года ожидает шифера, чтобы хату накрыть. А Шишка...

Качанок снова постучал, и Коржов замолк. Иван даже притиснулся глубже к спинке стула, не сразу спросил — вдруг пересохло во рту:

— Что Шишка?

— Дом покупает,— неожиданно громко ответил Коржов. В «Межколхозстрое». Не тот ли, что на выставке показывали? Помнишь? Для семьи колхозника на четыре комнаты. Лукашов справку выдал, что нуждается...

Будто бортом грузовика прижало Ивана к стене, нечем стало дышать.

Лукашов, председатель сельсовета, сидел тут же, в президиуме, старательно заносил что-то на маленькие листочки, наверно, готовился к выступлению. Приезжий, но работает в Добранке давно, лет десять, не меньше. Знает людей. Не мог не знать, кто такой Шишка. Что же это? Качанок никого другого не нашел, кто бы раздобыл это злосчастное реле... Лукашов справку дает...

16

Дражневич не кончил еще говорить — Иван поднял руку. Кошуба обрадовалась, что слово просит лучший комбайнер, герой жатвы, подтолкнула Качанка.

— Товарищ Батрак слово просит.

— Давай, Иван, воздай нам что положено! — Качанок и тут слукавил, сфамильярничал: начнет если критиковать его, пусть люди помнят, что он наперед знал все, о чем скажет Батрак, готов был к этому. Но не забывал и обязанности свои председательские, и то, что секретарь райкома рядом сидит. Объявил торжественно: — Выступает товарищ Батрак, Иван Корнеевич. — Однако и подперчил, не сдержался: — Маяк наш.

Иван шел к трибуне, и у него темнело в глазах, шумело в голове, кружило, как листопад в осеннем лесу. И в груди болело, будто действительно прижало бортом, как виделось иногда во сне. Налег грудью на трибуну и словно приглушил боль. Небольшой зальчик был залит светом, но лица сидящих перед ним людей он различал, как в тумане. Лицо Якова Коржова, морщинистое,

темное, словно и не отмытое от ввевшейся летней пыли, суровое лицо, но и доброе спокойной мудростью своей, молчаливым участием. Валя, когда в десятом классе училась, сказала как-то, что по лицу дядьки Якова можно изучать историю, и написала сочинение про Коржова, про других фронтовиков-односельчан. Лучшее сочинение было в классе, на республиканский конкурс послали. Это строгое лицо друга, воспоминание о дочери прибавили уверенности, решимости. Хотелось увидеть еще одного человека — Астаповича, директор всегда подбадривал его, но повернуться к президиуму не хватило смелости. Ошеломило вдруг: не знает, с чего начать речь свою. И вновь обожгло сомнение: уместно ли оно, то, о чем он собирается сейчас говорить?

Наверно, долго молчал — вдруг заметил удивление на лице Коржова, который вообще-то редко чему удивлялся. И Качанок постучал карандашом по столу, хотя тишина была полная.

— Вот о чем хочется мне сказать, товарищи... Часто выступал я здесь насчет нашей работы, говорил и про уборку, про автотракторный парк... про порядки и непорядки. Все это у нас есть. Это жизнь наша — успехи и ошибки. А в работе всякое встречается... Но сегодня я не об этом хочу говорить, — Иван как бы извинялся заранее перед президиумом, что не оправдал их надежд на его выступление. — Я хочу говорить о другой нашей жизни. Тетка моя Федора называла ее жизнью души. Вспомнил вот сегодня здесь ее, покойницу. Много чего вспомнил, когда слушал Александра Петровича... Да и раньше... Все эти три месяца, может, тем и жил, что вспоминал. День и ночь вспоминал. За рулем. Что вспоминал? А я вам скажу, что. Все скажу! — он будто пригрозил кому-то. — Знаете, кого я вспоминал? Батьку своего, Корнея Батрака... О нем я думал... как он жил... те месяцы... после... как они семью нашу погубили... застрелили... мать, сестру мою Анечку... и ребеночка того, неродившегося. — Иван словно задохнулся, замолчал. Теперь уже не сводили с него глаз в зале, в президиуме; Иван ощущал это всем своим существом, будто оголился, содрал с себя кожу, и ему больно даже оттого, что взгляд прикоснулся. — Может, только теперь я понял, как отец жил те месяцы... зиму ту и весну... Тогда я пацан был, восьмой год всего пошел. У детей, конечно, раны заживают быстрее... Хотя... выбираю там, на партизанской кухне, картошку, а потом вспомню вдруг... маму и зальюсь слезами. Убегу в шалаш-конюшню, зима лютая была, зарююсь в сено... Им, коням, свою боль и выплакивал. Бабы... партизанки давали мне плакать, а потом уводили к себе в землянку, утешали, кормили. А отец... Он черный ходил. Страшно кашлял всю зиму. Пил много, но никогда не пьянел. Не на людях, когда вдвоем оставались, обнимал меня, даже больно бывало, и одно шептал: «Сынок! Сынок!» Редко говорил боль-

ше. Один раз только попросил: «Ты запомни их, сынок, запомни!» И фамилии назвал немцев... коменданта района, командира отряда зондеркоманды... и наших полицаев... Он часто ходил на задания, отец. Когда пешком, а когда на коне ездил. Вот тогда-то... заметил я... он и приходил обнять меня, когда верхом ехал. В ту пору я не догадывался, а теперь знаю... Сюда он ездил, в Добранку! На пепелище. Или на могилу... Была могила. Похоронили добрые люди и мать, и сестру... Бабу Ульяну, отцову мать, тоже застрелили. Старики... самые старые добранцы, несмотря на то, что каратели стояли еще в селе, похоронили всех. Со священником Игнатовым, он тоже с партизанами связан был. Мне потом тетка рассказывала. Да старики еще и сейчас помнят. Лукерья, мать Качанка... Или Марья Коржова, здесь она сидит... В один гроб с бабой Ульяной собрали обгорелые косточки... Материны и Анечки...— Иван умолк вдруг.

Большеглазая Тамара Кошуба переводила изумленно глаза то на Ивана, то на Астаповича. Но Федор Тимофеевич сидел, положив руки на стол, разглядывая узловатые от артрита пальцы, ни на миг не подняв головы, не глянул на секретаря райкома, на зал, на Ивана. Он, пожалуй, первый понял, что переживает Батрак, о чем хочет сейчас сказать. Думал раньше, даже с начальником районной милиции советовался — предполагали, какие могут возникнуть обстоятельства в связи с Шишкиным приездом. Но даже он, такой проницательный, всезнающий, не представлял, что кого-то это возвращение затронет так вот...

А Яков Качанок, как чуткий радар, уловил построение Кошубы, пребывав в растерянности, но не находил в себе силы остановить Ивана. Ожидал, что это сделает кто-нибудь другой, повыше...

— Отец ездил... На пепелище. На кладбище. Видел там его... сосед наш, покойный дед Евтех Крупняк. Рассказывал... Вышел, говорит, я на рассвете, летом это было уже, на пожарище бурьян поднялся, а там в бурьяне будто стонет кто-то. Легенда ходила по селу, что на пепелище каждую ночь дитя приходит... В белой сорочечке до пят... Апка... сестричка моя... мамку ищет...

Мария Коржова, сидевшая в первом ряду, громко всхлипнула.

Тогда Качанок отважился, тихо постучал карандашом и попросил деликатно:

— Иван Корнеевич, может, о делах поговорим...

Но зал колыхнулся, как бор, когда налетит предгрозовой ветер, загудел возмущенно:

— Что ты рот ему затыкаешь?!

Качанок испугался, хорошо знал: перед голосованцем не дергай людей, не противоречь, иначе схватишь лишние шары. Тамара Федоровна тоже растерялась: как же ей, районному представителю, повести себя в такой неожиданной, беспрецедентной обстановке? Человек рассказывает такое, что

не остановишь, не прервешь. Но почему именно сегодня, почему здесь? Странно как ведет себя Астапович, с его-то опытом, с умудренностью мог бы как-то переключить. Да и Батрак с полуслова раньше все понимал. Слышала, конечно, что его семья погибла в войну, но не знала точно, как все произошло. В конце концов, может, так и надо почтить память погибших — этим вот рассказом на партийном собрании. Но если б не на отчетном...

— Продолжайте, товарищ Батрак.

Но Иван не услышал этих разрешающих слов, не понадобились они ему. Перед глазами одно вставало: Анечка на пепелище. Это был единственный в жизни раз, когда вдруг поверил, будто воочию увидел, бродит она там. А может, всегда верил в это? Согласился же когда-то с Тасей, что не нужно новый дом строить на месте их спальной фашистами хаты. Так оно и осталось до сих пор незастроенным, то старое подворье. Выросли четыре липы-самосейки. Теперь могучие стали, возвышаются над селом.

— Полицай били тех, кто распускал слухи об Анечке. Дед Крупняк уж на что небожливый, не верил бабьим словам, но испугался стона. Затаился за углом хлева и увидел, как с пепелища прошел по огороду человек. Корней, говорит, то был Коршей... С автоматом. Тогда же... в то лето сорок третьего, люди помнят, однажды ночью началась у школы стрельба. Одного полица на смерть, одного ранило. Отец это стрелял, отец! Отряд тогда стоял далеко — в Груднянском лесу, за тридцать верст. Они выследили его. Полицай. Догадались, кто обстрелял школу. Или, может, еще кто заметил. Да и старый Крупняк не очень-то держал язык за зубами. Добранцы помнят, что это за дед был, вечно с бабами схватывался. Устроили засаду у Фадеевого брода... По реке коня не очень-то погонишь. На это и рассчитывали. Стреляли по отцу. Но он вырвался. Невредимый или раненый, никто не знает. В засаде у них были и пешие, и конные. Все рассчитали. До Хуторянки гнали. Вон куда! На хуторянском поле под отцом убило коня. Пришлось ему отступать к лесу, но полицай окружили. Отец залег в глинище, в ямах, где когда-то кирпичный завод был. Может, раненый был. Может, у него патроны кончились. Я-то думаю, что он сам кончил жизнь свою от последней пули, чтобы в лапы к ним не попасть. Когда я в детском доме был, приходил туда Артем Колодежный из Хуторянки. Ко мне приходил, узпал, что там я. Он-то и похоронил моего отца. Услышал на рассвете, что стреляют в глинище, вскочил с постели, в сад вышел. Артем связан был с отрядом Бруя, к нему они приходили из отряда. Вот и решил, видно, что кто-то из них напоролся на засаду. Не от его ли дома отводит? Поднял человек жену, дочь — если что, спрятаться успеют. А утром прикатили незнакомые полицай, трое. К старосте. Он через улицу от Коло-

дежного жил. Во весь голос похвалялись, что прикончили Батрака. Артем сразу догадался, о ком речь идет. Полицаян приказали старосте запрячь коня и привезти тело в Добранку. Но, пока тот привел коня, пока запряг, Колодежный с женой побежали в глинище и перенесли отца в лес, там и схоронили. Он мне показал его могилу под дубом. Нас директор детдома на машине возил туда. А потом я с теткой Федорой ходил. Сейчас перевезли его сюда, в братскую могилу, вместе с красноармейцами положили. Мы с вами, Федор Тимофеевич, ездили в Хуторянку... Колодежный рассказывал: хорошо, говорит, сынок, что не видел отцовской смерти. Глумились гады над ним, всего пулями иссекли, изрешетили, глаза выкололи... Он и на суде, Артем, был, когда судили полицаев. Двонх узнал из тех, что приезжали к старосте хуторянскому. Лапая и Свиридова из Хамовки. Повесили их... А Шишке двадцать пять дали. Не было его, и когда в Горностаях людей сожгли в церкви. Не поехал он на ту операцию, больным прикинулся, понимал уже, к чему дело клонится. А на суде это главное было обвинение. Никто не доказал, что нашу семью полицаи расстреляли. Зондеркоманда налетела, будто бы они все учинили... Каратели из СД... Но был... был очевидец. Был свидетель. Я! Под печью сидел... И он... Шишка туда... из автомата... Очередями! Если бы мама того лаза в подпечке не сделала... Может, он автомат свой горячий еще на Аньку и перевел? Кому она кричала: «Дядечка, не стреляй в меня...» Только знакомого могла так просить.

Мария Коржова, представив, что сосед ее (через два двора от них живет Шишка) в детей стрелял, ойкнула:

— Божечка мой!

Зал снова колыхнулся, и людская волна как бы прибилась к самой трибуне, новенькой, полированной, за которой стоял Иван.

— Никто, конечно, не знает, был ли там, в Хуторянке, Шишка, стрелял ли в отца моего. Но никто мне и не докажет, что не он сидел в седле, не он гнался за ним. Можно только представить, как важно было ему убрать Батрака, который поклялся отомстить за семью, который никогда не простил бы... нашел убийцу... Хоть на краю света... Шишка получил свое, но черт не взял его. Вернулся через тридцать пять лет. Здоровый. С деньгами. Я знаю, за одно и то же второй раз не судят. И я свои руки не замараю. Но... дышать с ним одним воздухом... не могу!.. Поймите меня, товарищи...

— Понимаем, Иван! — крикнула из зала Ольга Даниленко.

— Я вот слушал тут Александра Петровича... Хорошо он сказал про историю, про память нашу, про тех, кто не только под обелисками лежит, но и на кладбище нашем... кто на трудовом фронте свою жизнь окончил. А я, конечно же, о своих

вспомнил... о матери, об отце... А еще думал про надпись ту на самом большом в мире кладбище, в городе-герое. Никто не забыт, ничто не забыто! Ничто! Так почему же мы забываем, товарищи? Некоторые готовы уже шуры-муры завести с этой сволочью, с гадом этим... Мой приятель Яша Качанок, например. Сын офицера, что где-то под Калининградом пал.

Людская волна как бы отхлынула от трибуны, разбилась, раскатилась по сторонам.

Качанок сначала понурился — все взгляды скрестились на нем, — потом вскочил задиристым петухом, пригрозил Ивану:

— Подумай, прежде чем говорить. Не разводи... — но не досказал, почувствовал, что зал настроен против него.

— Я думаю, Яков Матвеевич, думаю. Знаешь, сколько я передумал, когда ты послал меня с Шишкой за каким-то реле. Шишка помощником твоим стал, доставалой, леваком. Пускай бы народный контроль проверил, как вы добывали с ним это, как ты сам признал, никому не нужное реле. Я не оправдываюсь ни в коем разе, но, возможно, из-за мыслей тех тяжелых и аварию совершил первый раз за всю мою работу на тракторе, на машине. А ты говоришь: не думаю. Нет, Яков, думаю. Вот тебе еще факт. Может, и тут захотел услужить ему... Правда, не своими руками, Лукашовыми. Этот наш префект, как сго Богатенков прозвал...

— Не черни людей! — сипло крикнул Качанок.

— Какая ж тут черпота? Шутка... Ну да ладно, Ларнон Петрович пускай извинит, сам пошутить любит... Только ему с этой трибуны говорили уже, не я первый. Вдовы по два года к нему за шифером ходят, та же Матрена Солодка из Горностаев. А некоторые молодые, пронырливые с ходу получают и лес, и шифер. Да и не о них я. Если работяга строится, не жалко. Я о другом, о нем я. О Шишке... Добрый наш председатель сельсовета, отзывчивый, выдал полицаю справку на покупку дома в «Колхозстрое». За двенадцать тысяч! А ты отдай ему, Лукашов, усадьбу крупянковскую. Напротив меня... чтобы я смотрел на его дом, любовался. Что ж это такое, товарищи? «Никто не забыт, ничто не забыто»? И вам тоже предьявлю, Александр Петрович. Вы тут хорошо, отлично говорили, правильно все. А подумали, когда шли по улице с Шишкой... был такой факт, люди уже шумели об этом... Не знаю, наверно вам хотелось посмотреть на него вблизи, в душу ему залезть... для книги новой. В вашей профессии, возможно, такое бывает. Образы же вам всякие нужны... А что чувствовали старикки, кто помнит Шишку? Или молодые, кто, может, только краем уха и слышал про те события? Я ведь тоже старался позабыть. Много легче было бы. А нельзя забыть! Нельзя! Так вот, Александр Петрович, что уж тут скажешь, если сам парторг разгуливает по улице с бывшим полицаем. Значит, про-

стили ему, значит, и забыть можно и не все надо помнить вечно. Не так разве?

— Так, Иван Корнеевич. Только так. — Забавский встал со своего места, лицо его горело. — И я прошу вас простить меня. Не подумал.

Иван распалился. Сначала волновался, даже лиц не различал. Потом волнение это перешло в решительность неколебимую — довести рассказ до конца, высказать все, что наболело. Пусть бы кто попробовал возразить ему, прервать... Не побоятся и самого Астаповича осадить, не пощадит. Но слова парторга, его просьба о прощении смутили. Будто на препятствие наскочил. Умолк. Повернулся к президиуму. Увидел, что все сидящие за столом смотрят на него то ли с удивлением, то ли с сочувствием. Подумал, надо бы что-то ответить Забавскому. Но что можно сказать в таком случае? Понятия не имел. Решил, самое разумное — ничего не отвечать. Главное высказал, и хватит! У всех своя голова на плечах. Не маленькие, разберутся. Одно только добавил:

— Вот и все мои слова на сегодня, — и, уже сойдя с трибуны, проходя между рядами стульев, снова извинился: — Простите, что не про хозяйство говорил.

Кошуба шепнула Качанку, пускай объявит перерыв. Нужно дать людям разрядку, чтобы поостыли. Да и самой собраться с мыслями, решить, как дальше вести собрание. Ситуация нелегкая. Она хорошо понимала Батрака, но что скажут в райкоме, если отчетное собрание сведется лишь к тому, о чем говорили Забавский и Батрак? Главное — итоги года, введение комплекса, который придется осваивать зимой. А это, безусловно, создаст трудности. Такой наказ дал ей первый секретарь: обсудить серьезно, детально с коммунистами в совхозе все возможности завершить и пустить в ход комплекс.

Из душноватого зала люди высыпали на улицу. Кто покурить, а некурящие — послушать, что станут говорить в кулуарах. Одна Мария Коржова так и осталась мрачно, неподвижно сидеть в первом ряду. Рассказ Ивана о смерти отца снова напомнил ей про сыновей, про двоих не вернувшихся с войны. Иван хоть знает, как они погибли, семья его, а она и того лишена. На Петра, правда, пришло извещение, что погиб смертью героя в боях за венгерский город Дьер и похоронен в братской могиле в том же городе, а на Павла и «похоронки» нет; где сложил свою светлую головушку, когда? Видимо, тогда, когда их Добранка еще под немцами была и «похоронки» некуда было посылать.

Кошуба с Астаповичем, Забавским и Качанок, с Лукашовым вошли в кабинет председателя сельсовета.

Тамара Федоровна подошла к столу, спросила у Лукашова:

— Воду у тебя хоть меняют, хозяин?

— Свеженькая, Тамара Федоровна, сам наливал перед собранием.

Она залпом осушила полный стакан. По тому, как спросила о воде, по голосу ее Качанок понял, что секретарь райкома явно не в духе. И неудивительно: вон куда собрание повернулось! Но против кого направлено ее недовольство? Против Батрака? Вряд ли станет валить на него. Баба опытная, бывалая. В него, в Качанку, все упрется. А кто ведь задал такой тон? Кто захотел себя выпятить?

Молчали. Не смотрели друг на друга, словно виноватые. Только Астапович сидел за столом председателя, делал вид, что занят — рисовал то ли бочки, то ли колеса с узорными спицами; всюду, где он присаживался, директор оставлял обычно такие рисуночки. Над этим его пристрастием к круглому посмеивались. Прищурясь, Астапович поглядывал на людей, прикидывал, кто сейчас о чем думает. Раздражило, что Забавский схитрил: взял с полки книгу, стал листать ее, стоя спиной к столу. А еще не понравилось, что молодая красивая Тамара Федоровна не по-женски размашисто вышагивала по кабинету от стола к дверям, слишком уж явно демонстрируя свое настроение.

Первым нарушил затянувшуюся паузу Лукашов:

— На хату их сколько раз мне пальцами тыкали. Всю улицу портит. А как иначе ее можно снести? Вот я и решил...

Кошуба не стала его слушать, остановилась у стола перед Астаповичем.

— На черта сдался вам этот Шишка?

— Кому вам? — удивился Федор Тимофеевич. — Нам? На черта он всему селу, всему району. А куда его денешь? Отсидел свое и вернулся к семье. Имеет право.

— По закону, — добавил Лукашов.

— Законники! — возмутилась Кошуба, и это прозвучало по-женски негодуяюще, искренне. — Гадина эта топтала наши законы. А теперь эти же законы охраняют его, — повернулась к Забавскому, сказала, как приказ отдала, не назвав по имени-отчеству, без той предупредительности, с которой обращалась всегда к такому необычному секретарю — к писателю: — Выступил Батрак, можно, конечно, понять его. Но не стоит продолжать эту тему. Измените ход собрания!

Забавский осторожно, бережно поставил книгу на место — это был свод законов, лицо его, глаза молча выразили удивление ее словами.

Качанок не выдержал:

— Как ему повернуть теперь собрание? Куда? Он его своим докладом уже повернул. Какой доклад — такие и выступления. Жизнь проверено.

Будто старый конь, услышавший незнакомое ему ржание, вскинул голову Астапович, так и не дорисовал бочонка. Удивился. Знал, что Яшка, хоть и не раз примерялся к должности секретаря, но, пожалуй, давно понял, вернее, дали ему по-

нять, что «не тот потолок» у него. Когда-то мог бы сойти и Качанок, а теперь действительно не тот уровень.

У Качанка были, конечно, свои заслуги, обладал он и такими качествами, которые Астапович умело использовал, но кое над чем и посмеивался. Лет на двадцать постарше Якова, он считал себя по взглядам, по устремлениям намного моложе. Не раз упрекал его: «Консерватор ты, Яков Матвеевич». Во всяком случае, Астапович знал, что Качанок все учел и работает без претензий, доволен своей должностью. Забавского, правда, встретил в штыки, ревниво, неприязненно — чужак! — но смирился. Год уже прошел с тех пор.

И вот прорвало Качанка, как старый мешок с картошкой. Сыпанул так, что загремело. Если только из-за того, что получил по носу от Батрака, то вспышка эта ненадолго, просто желание на ком-то сорвать злость. Это еще ничего, даже на пользу может пойти и ему, Качанку, и Забавскому тоже, пусть поймет, что не каждый его «эксперимент», не каждый поиск удался. Но если Качанок хочет выслужиться, очернить Забавского перед секретарем райкома, вывести его из равновесия, то дурак ты, Яшка, сам себя, изнанку свою выворачиваешь на всеобщее обозрение.

Не ответив на Яшкины насюки, чем еще больше обозлил его, Забавский осведомился холодно:

— А куда, собственно говоря, его нужно поворачивать, собрание? И зачем? Что в нем такого неправильного?

— А вам непонятно? — удивилась Тамара Федоровна.

— Непонятно.

— Ну, знаете...

— А що он понимает! От него все, как горох от стенки, отскакивает! — Качанок уже закусил удила, всерьез удивил Астаповича своей агрессивностью. — Шо ему до наших планов? До нашего хлеба, до мяса? Ему мораль подавай. Щоб материал был для книги! Конфликт ты щоб были. Щоб мы за чубы схватились. Так я могу тебе подбросить конфликт! Я не святой, но и ты не архангел. У нас с тобой каждый день конфликт. Пиши! Не боюсь!

Неожиданная выходка Качанка, откровенная злоба его огорчила Тамару Федоровну. Еще этого не хватало сегодня. Склоки!

Кругленький краснощекий Лукашов выкатился на середину кабинета и встал между ними — между Качанком и Забавским, будто действительно опасаясь, что схватятся за чубы.

— Ну, что вы, право, как дети? Из-за чего? Товарищи, дорогие...

Из-за чего, Качанок, пожалуй, не смог бы объяснить, просто выплеснулось раздражение, копившееся целый год. Забавский, Астапович — они всегда чистенькие, а он вол рабочий. У него всегда спина мокрая. Про реле то чертово Астапович бросил на совещании только одну фразу: «Никто не

может достать такого пустяка? Неужели мне этим заниматься?» И он, Качанок, пустился во все тяжкие, сделал все, чтобы получить этот пустяк.

Забавский, которого ошеломил неожиданный наскок Рабочкома, сказал тихо:

— Книгу мою вы, пожалуйста, не трогайте, оставьте в покое, — так просят за больного ребенка.

Просьба эта неожиданно смутила Качанка, он отступил в угол и, обессиленный, опустился в кресло.

Астапович поднялся, порвал листок с нарисованными на нем бочками, бросил в корзину, сказал твердо:

— Ничего не нужно поворачивать. Пусть люди выскажутся. У кого что наболело. Как у Ивана Корнеевича... А ты, Яков, не кидайся на людей, не гаркай, вклеил тебе Батрак, и поделом. Нашел тоже толкача! Полиция! За это мы с тебя спросим по другой линии.

Кошуба смолчала. Ни к чему ей ввязываться в спор с членом обкома. Пусть за свой коллектив сам и отвечает. Хочется ему послушать, пусть слушает. Самоуверенный старик, слишком уж, об этом не однажды говорили в райкоме, однако в последнее время помягчел он, заигрывает с людьми, перед пенсией, возможно.

Лукашов негромко поинтересовался:

— Мне надо выступать?

Кошуба ответила вопросом же, в сердцах:

— А вы сами как думаете?

А как ему думать, если секретарь райкома только что распорядилась «не продолжать эту тему»? Ну, а другой туз, с которым никак нельзя не считаться, с которым ежедневно работой связан, гнет, кажется, в другую сторону. Очутишься между двумя жерновами. А у него стенокардия, доктора советуют «избегать отрицательных эмоций», и он, Лукашов, приучает себя настраиваться только на положительные, на покой да на веселость.

Тася с каким-то напряженно-странным нетерпением ожидала, когда вернется Иван с партсобрания. Приготовила на ужин жаренку — так называют здесь картошку с салом, тушенную не на газовой плите, а в печке, на «духу», где картошка обретает и особую душистость, и вкус. Пропитанные жиром тонкие дольки в чугушке томятся, подрумяниваются. Иван очень любил такие «пригарки», выскребал чугунок, как маленький.

Так жарила картошку тетка Федора, когда они жили вместе в ее хатенке, делала это в праздники, а в будни разве только что в посевную или уборочную, когда Иван от темна до темна пропадал в поле. Тася же выросла на Слутчине в зажиточной семье, и ей казалось, что такая вот его тяга к самой обыкновенной картошке с салом — от бедности, от голодухи долгой. Но и сейчас, когда хватало как будто в доме и жареного, и пареного, та

полеская жаренка по-прежнему оставалась семейным лакомством, и дети оказались падки на нее, ссорились, из рук вырывали чугунок — кому до самого доньшка выскребать из него.

Но она не должна все-таки перестояться, жаренка, перепреть. По запаху всегда определяла точно, когда приспело время подать на стол. Вот тогда это вкуснятина. Язык проглотишь! Тася убеждала себя, что она ждет не дожидается Ивана именно потому, что подсохнет жаренка. Но даже Корней догадывался, что не в том дело.

Он сидел за уроками, а это святое. Телевизор в таких случаях не включался. А без него Тася не знала, куда девать себя в долгие осенние вечера. Неслышно, чтобы не помешать сыну, ходила по дому, прибирала, если где что заметит не на месте, как всегда, при этом посмеиваясь, вспоминая Валу, ее нескончаемые поучения о порядке в доме.

Остановилась за спиной у сына, привстала на цыпочки, заглянула через плечо: вся страница исчеркана формулами, как он только запомнить все это может? Захотелось погладить мальчишку по голове, по выгоревшим за лето льняным волосам, от которых пахло еще, казалось, соломой и солнцем. Но знала, что Корней не переносит «сантиментов» — возраст такой у него, ершистый.

«Скоро, сынок, скоро потянешься за женской рукой», — подумала и вздохнула легонько оттого, что это будет не ее, не материнская рука.

Корней услышал сдержанный вздох, оглянулся.

— Ты что, мама?

— Ничего. Это все одна задача?

— Одна.

— На целую страницу формул! Какая наука трудная стала.

— Это еще ничего! Тут у меня варианты разные. Что-то не получается, — и потянул носом. — Запахи на весь дом. Жаренка в голове, а не алгебра.

— Я положу тебе, готова как раз. Пригарочки твои любимые сверху.

Корней упрямо тряхнул головой, волосы рассыпались, упали на глаза, на лоб. Она погладила его по волосам, отвела их со лба.

— Ну, так что, угостить, сын?

— Отца подождем.

— Подождем, — согласилась она, обрадованная, что он хочет ужинать вместе с ними. Вообще с прошлого лета Корней заметно повзрослел, даже не реагировал на Нюркины штучки. В воскресенье услышал опять «Корней! Когда сватов пришлешь?» и засмеялся снисходительно: «Во, не поедет же ей!» — Что-то его долго нет, батьки твоего.

Корней подмигнул ей и выдал этим, что хоть и занят уроками, но чувствует нетерпение матери.

— Ждешь его, как будто из рейса дальнего. Чего ты, мам, такая неспокойная? Не в кульдоме же — на партийном собрании. Поговорить, знаешь, как они любят! Наши молодцы в школе тоже не

отстают. За отцами следуют. Вчера комсомольское было, так Ветка Качанкова с полчаса, не меньше, барабанила. Вся в папашу удалась! — И вдруг, глядя куда-то в сторону, пояснил как бы: — О фильме спор вышел у нас. Об итальянском. Про кровную месть. В Сардинии...

У Таси ноги словно к полу приросли: о чем это он?

Корней, видимо, подождал вопроса, не дождался.

— Так и проспорили, считай, весь вечер.

— О чем? — прошептала почти.

— О фильме, о чем же еще? Ванька Куликов и Ветка, за месть они...

— А ты?

Ей стало нехорошо вроде, слабость накатила какая-то: вот, оказывается, где отдается боль отцовская. А она еще переживала, осуждала детей своих: все равно, мол, им, не хотят вникать в то, что с отцом творится, будто и знать ничего не знают и видеть не видят, а главное, не желают. Нет, не так все просто и у них тоже. Валя сказала мельком, когда в город собиралась, словно и ни к чему: «Не растревляйте вы себе душу». Она, Тася, не придавала тогда значения словам этим. А они со смыслом были, и с каким еще!

Слава богу, не равнодушные они, дети их, только виду не подают.

— А я, — Корней помедлил, как бы повторил ее вопрос, подчеркнул, что о фильме, и только о нем разговор идет. — Надо точно представить себе, что герои те, в Сардинии, пережили, как сложилось все, а не зря языком трепать. Как амазонка, эта Ветка.

Что он предлагал, не очень ясно было, но она не стала выяснять, испугалась: а вдруг сам по себе перекинется мостик от фильма этого итальянского к ним в Добранку? Перекинулся уже. Понимала и не хотела, страшилась этого понимания.

Корней не выдержал все-таки, отложил в сторону учебник. Все равно, понял, проймет его, одолеет жаренка эта, дух от нее такой идет, что астрономия, которой надо заняться, не полезет в голову. Разве до строения вселенной, когда дом переполнен этим знакомым густым запахом тушеной картошки с салом! На что уж аскетом был Коперник и то не устоял бы, конечно.

Так он и сказал, Корней, оправдался. Тася какими-то новыми глазами оглядела сына: мальчишескую угловатость, застенчивость сменила мужская уже рассудительность, ироничность. Взрослый совсем парень!

Приятно, конечно, матери, когда дети взрослеют. Но и грустно немножко: растут дети, а она стареет. Какое-то странное чувство, будто не успела в жизни чего-то сделать, пропустила что-то. А что, не знала и не подсказал никто. В самом деле, смутное это состояние такое, никак его не объяснишь, не назовешь, слова точного не под-

берешь. По общему признанию, судьба отмерила ей сполна счастья. Даже сказать никому нельзя ничего, неудобно. Иван тоже может обидеться, вроде не так ей и хорошо с ним. А хорошо ведь, да как еще хорошо! В общем, чудная я какая-то, странная, огорчалась Тася. Дети взрослые. Пора уже за ум братья. Давно пора. Не раскидать из-за фантазий этих бессмысленных.

— Написал бы ты, сынок, Вале. Сколько дней ни слуха от нее. Забывает, ветрогонка, родителей. Добранку нашу.

— Не забудет! — отозвался Корней с уверенностью, тоже порадовавшей: и мысли не допускает, что можно забыть о них. Но у Вали характер иной. Корней весь в отца. А Валя в нее пошла, в Тасю, придумок хоть отбавляй. В голову не придет, чего вообразить может, потянуться за чем. Такой и она, Тася, была когда-то. Да и теперь... все кажется, что недодала ей чего-то жизнь. А Слутчину свою забыла; если и наведывается туда изредка, скучает. Сюда тянет. К добранцам. К лесу. К шоссе близкому, на котором и ночью не затихает шум машин, по которому будто сама жизнь мчится с новостями, что ни по радио, ни по телевидению не передаются, не печатаются.

— Выскочит еще замуж там, в Могилеве своем. — Встревожило вдруг ее молчание, хотя до этого не волновалась: не так уж и давно, после того как с картошки вернулась, Валя приезжала домой.

— Не выскочит, — опять очень уж уверенно сказал Корней.

Эта его уверенность вдруг показалась матери подозрительной, будто знает что-то о сестре, тайну ее. Но Тася твердо убеждена: нет у Вали тут, в Добранке, парня, да и ребят, ровесников ее, почти не осталось. Астапович горевал, как только ни старался — и Дворец культуры отгрохали, и магазин отличный, и квартиры молодоженам гарантирует не через десять лет, как в городе, а через год-два, — все равно не удержишь. Чем только их тянет к себе город этот?

Корней посоветовал матери спать ложиться, встает же раньше всех. Она прилегла не раздеваясь. Но заснуть не могла. И сразу же вскочила, услышав голоса на улице.

Уже полночь была.

Иван открыл двери тихо, осторожно, хотя свет в окнах — значит, не спят. Так же тихо разделся на кухне, сбросил ботинки. В одних носках заглянул в комнату.

— Не спите?

— У Корнея уроков много.

— Нагружают вас, — пожалел сына.

— Ничего. Тянем, — бодро откликнулся Корней.

— Надо тянуть, год решающий, — подтвердила Тася.

— Мама уже во сне меня студентом видит,

— А я, думаешь, не вижу? Разница только, что в разных институтах видим.

— Сами же дали мне право выбирать.

— И выбирай. Целый год еще в запасе, можешь выбирать. А мы сны будем пересказывать, кто из нас где видел тебя. Когда-то тетка Федора приходила ко мне в детдом, тоже сны рассказывала. А я, дурак, стыдился... Думал, от темноты, от набожности сны ее. И вера такая в эти сны у нее была...

Тася принесла из спальни тапки мужнины и тут же стала собирать на стол, переложила книги Корнея на полку; теперь самое важное — накормить отца, перед собранием только кружку простокваши выпил.

По тому, как расхаживает по комнате, не садится, как говорит с сыном, что тетку Федору вспомнил, чувствовала: Иван и возбужден, и одновременно успокоен чем-то.

Наблюдала и раньше за ним такое, будто пребывает где-то в нескольких мирах сразу. Значит, произошло что-то необычное. Но что?

Иван ел перестоявшую все-таки в духовке жаренку с аппетитом, как косяк, хорошо намахавшийся за день. Тася никогда не выспрашивала, о чем говорили на собрании, если оно закрытое. Случалось, что Иван о некоторых конфликтах или документах особых не рассказывал ей, и она не обижалась, хотя на следующий день узнавала от других все «секреты».

Она сидела напротив за столом, маленькими глотками отпивала из кружки простоквашу, только-только загустевшую, сегодняшнюю — лишь бы он не ужинал в одиночестве, — смотрела на него так, что Иван сразу догадался, не терпит ей услышать, что же произошло с ним там, на собрании. А в том, что произошло, не сомневалась.

Отковырнув вилкой со дна чугунок и выложив на тарелку хорошо прожаренные, пропитанные салом ломтики картофеля, Иван сказал наконец:

— Яшку Качанку прокатили на воронях, — и словно сам удивился.

Корней возликовал прямо. А Тася так и застыла с кружкой у рта.

— Ты, что ли, выступал против?

— Выступал. Ну, не против него конкретно.

— Не нужно было связываться с ним, Ваня.

— Ты либералка, мам! А либералы — соглашатели. Качанку правильно по шапке дали. И Ветка меньше строить из себя будет.

— Натуру не переделаешь. Такие уж они люди, Качанки.

— Я только сказал про то, с кем он спутался, кого в доставалы выдвинул... Разве мог я смолчать, Тася! Душа изныла вся за эти дни. Только теперь, кажется, и отлегло.

Сыну до этого Иван не говорил ничего, с кем он ездил тогда, в день аварии.

Корней слушал, и, видно, не все доходило до него. Иван пояснил:

— Шишку в помощники себе Качанок взял. Распорядился в город мне с ним ехать,— но до конца не досказал, как все было, снова повернулся к жене, так нетерпимо хотелось, чтобы посочувствовала, чтобы одобрила его. — Говорил о том, о чем нельзя забывать: Чтобы по правде было и навечно: никто не забыт... Чтобы жило все в людях, рассказал, как отец мой погиб. Теперь я знаю, как он умирал. Не раз потом умирал вместе с ним...

— Не надо, Ваня.

— Почему не надо? Я и в глинище то ходил под Хуторянской. Лес там вырос большой же, березняк. Как памятник. Это там, сын, где дед твой отбивался до последнего патрона. Раненый... А последний, думаю, патрон себе. Я еще у этого гада... спрошу, как они гнались за отцом. Был он там, Шишка! Был!

Тася знала уже теперь все. До этого лета о тех страшных событиях в Добранке, о трагедии Ивановой рассказывали ей как бы крупным планом — суть самую. И покойница Федора, и муж, и односельчане. Иван говорит сейчас, что щадил ее — то беременная была, то кормила, а потом счастье не захотел омрачать. Да и самому легче казалось забыть, чем истязать память. Два месяца назад поклялся себе, что обо всем о том, что ей рассказал, всем расскажет. Но никогда и в мыслях не было, что может так взять и выложить все на партийном собрании, с трибуны.

Иван отодвинул тарелку.

— Знаешь, как важно было, чтобы они поняли меня. Никто потом ничего об этом не говорил, а голосование показало — поняли. Качанка ты не жалеешь... Дурак он, а дураков учить нужно. Я и сам его пожалел, характер у меня такой. Собрание кончилось, все уже по домам расходятся, а он сидит... один за столом в президиуме... Такого еще с ним не было. Ребята на крыльце стоят, смеются, а мне не до смеху. В одной люльке, считай, росли...

В стекло постучал кто-то с улицы — тихонько, осторожно. Но Тасю испугал этот стук в такое позднее время. Корней первым сорвался со стула, отодвинул занавеску, узнал и удивленно шепнул отцу:

— Забавский.

— А я решил, Яшка,— Иван усмехнулся какой-то своей мысли. — Иди открой, сын, я запер калитку. — Когда Корней выскочил, видно, обрадовался гостю, Иван сказал жене: — Я ему тоже выдал, задело, значит, не спится. За ту его прогулку с Шишкой, помнишь, сама видела. Но доклад он хороший сделал, никогда такого еще не бывало у нас.

Тася быстренько унесла грязные тарелки, стряхнула со стола крошки. Не часто заходит к ним парторг, да еще среди ночи. Наговорил, видно, Иван бог знает чего. Но не упрекнула мужа. Больно ему, потому и прорвалось так. Готова бы-

ла защищать, если Забавский пришел с претензиями.

Но тот остановился в дверях, снял шапку, поздоровался с Тасей.

— Простите, что так поздно. Иду мимо, гляжу, окно светится. И вы за столом сидите. С улицы все видно.

— Раздевайтесь, Александр Петрович. Присаживайтесь. Я ужинать мигом соберу. Не ужинали небось...

Тася успела, пока он еще в дом не вошел, клеенку, на которой Корней делал уроки и ужинал Иван, накрыть чистой льняной скатертью, синевой, в клетку, накрахмаленной, аж шуршит. Она подавала за спиной Забавского знаки мужу: пригласи же человека! Но Иван сидел хмурый, оштыннившийся: что ему понадобилось так срочно? Это удивило Тасю и, наверное, смущало гостя. Корней тоже, робкий вроде, конфузливый, стоял сейчас у телевизора и как-то очень уж фамильярно, со странной скептической улыбкой осматривал секретаря. А тому явно было не по себе.

Неужели о нем сейчас говорили тут плохое — Забавский чувствовал себя неловко,— потому и смотрит так Корней? Но отступать некуда. Хорошо что хоть хозяйка радушная.

— Спасибо, не ужинал,— признался он. — Где мне, холостяку, в такой-то час застолье устраивать для одного себя.

От этих слов его Иван помягчел.

— Найди там какое-нибудь энзэ. Есть у нас причина,— попросил он жену.

Тася прямо порхнула от радости на кухню. Но услышала, что говорит Забавский, и тут же остановилась в дверях.

А он, положив плащ и шапку на спинку дивана, как бы подчеркивая этим, что недолго задержится, сказал Ивану:

— Я после собрания не пошел домой, не мог, по улице ходил. На шоссе вышел... Все думал о ваших словах, Иван Корнеевич. — Повернулся, увидел Тасю, застывшую у порога, сказал: — Тут, перед вашей семьей, еще раз скажу — простите. Потянуло меня, угадали вы, раскусить решил, что же это за человек, Шишка. Чем он дышит? Тем более, слухи докатились, что у Лукерьи Богачевой собираются вечерами, молятся старики, и он там за попа или за проповедника. Нужно было бы вызвать его в сельсовет. А я встретил его на улице и решил поговорить, заодно и слухи те проверить. И еще простить себе не могу. От людей слышал, конечно, о судьбе родителей ваших, да так и не выбрал времени, не удосужился от вас обо всем этом... самому узнать. Как оно было. С Шишкой бы тогда по-иному говорил. Вдвойне непростительное мне. И как секретарю... И как человеку, который пишет что-то... ну, собирается написать. Вы правильно сказали сегодня, не на словах мы обязаны не забывать ничего... И никого.

Недавно собирали нас в райкоме. Предложили создать летопись народной славы. В каждом селе, в каждом районе. А я год живу, год вроде руковожу парторганизацией, знаю, как вы работаете, как Танся Михайловна работает, как дети ваши учатся... А главного так и не узнал. Про то, как погиб отец ваш, только сегодня услышал, Всем нам укор это. И Астаповичу, и Качанку. Но знаете, о чем я думал, когда бродил по улице? А дети ваши все знают? Корней, Валя? Понимаю, что непросто вам рассказывать... нелегко. Но это необходимо, Иван Корнеевич. Это людям надо!

— Да садитесь вы,—наконец пригласил Иван. — В ногах, говорят, правды нету.

Тася вздохнула облегченно. Забавский сел за стол напротив Ивана. И сразу же рядом присоседился Корней, уже без усмешек, дружески уважительный.

Тася разлила по рюмкам вино. Но Иван не пригубил даже. Забавский еще говорил о том, что делается в совхозе, о людях, с которыми пришлось ему столкнуться по самым разным делам. Иван же молчал упорно, будто выговорился весь на собрании. Скажет два слова: «Ешьте, пожалуйста», «да уж», «все правда».

Это его молчание огорчало Забавского. Гостеприимство хозяйки не снимало тревоги. А ему так важно было, чтобы Батрак не подумал о нем плохо. Кроме всего прочего, была у него еще одна причина, тайная, заслужить расположение этой семьи.

17.

Собрание было в пятницу. А в понедельник внезапно приехала из города Валя.

Тася всполошилась даже, когда соседка их, учительница, придя на прием к врачу, решила обратиться: «У вас, Михайловна, гости. Дочка ваша».

«Валя? Что-то экстренное, значит. Точка ведь неделя началась»,— сердце екнуло в предчувствии необычного; после того, как появился Шишка, и особенно после аварии невольно ждала все время беды, которая может обрушиться внезапно.

Приезду Валиному не удивился только Корней. Он, кстати, первым и встретил ее: шел из школы и увидел, как выскочила с одним портфельчиком из экспресса «Ленинград — Киев». Обрадовался. Когда Валя дома, всегда ссорятся — задирается она, дразнит его. А уедет, и Корней, добрая душа, скучает по сестре.

Конечно, не бросились обниматься, даже не поздоровались как следует, только почему-то обменялись портфелями: он взял ее легонький, а она его тяжелый, набитый учебниками. Уже дома, во дворе за высоким забором, Корней, хитро сожмурив глаза, спросил только:

— Прилетела?

— Как видишь.

— Он звонил тебе или телеграмму отбил?

— Кто он?

— Кто-кто! Я тебе еще когда сказал: хочешь скрывать от меня, пожалуйста, но все равно не скроешь. Пока один я знаю. Больше никто.

— Никто? По-честному?

— Ни единая душа.

Валя достала из-под крыльца ключ, чмокнула брата в щеку, рассмеялась.

— Чего ты?

— Просто так. Хорошо дома. Читал ты рассказ Чехова о злом мальчике?

— Нет.

— Почитай. Тебе полезно.

— А про что там?

— Почитай,— и она снова засмеялась.

Корней догадался, что рассказ имеет прямое отношение к нему, и, раз мальчик злой, явно что-то нелестное, обиделся на вертихвостку эту, на сестру свою. Еще не успела в дом войти, а уже принялась порядок наводить — убирать с подоконника, с дивана разбросанные им книги.

Корней решил ей отомстить чохом и за злого мальчика, и за эту обязательную уборку, вечную, как укор всем им, неряхам.

— Ну и что он тебе сообщил?

— Кто?

— Опять кто?

— Ничего он не сообщил. Телеграмму прислал.

— Так ты не знаешь ничего? — притворился удивленным Корней.

— А что? — Валя остановилась с тряпкой в руке, она собралась вытереть пыль, которая серым тоненьким слоем легла на полированный сервант, на телевизор.

— Да тут знаешь что было!

— Не таяни ты,— голос Вали сорвался, она глубоко вздохнула.

— Если бы знала только! — Корней намеренно волюнтерил, томил ее.

— Не нагоняй страху. Меня этим не возьмешь,— Валя поняла, что брат разыгрывает ее, но не очень-то умело.

— Батка на партийном собрании разнес твоего в клочья. Пух летел.

— За что?

— Работает плохо.

— Саша плохо работает? — Валя, угрожающе глядя на Корнея, так с пыльной тряпкой в руке и пошла на него.

Зная необузданность ее с детства еще, Корней из предосторожности отступил за стол.

— Забавский им плохо работает! Много они понимают! Им только хвосты быкам крутить. Дальше этих хвостов ничего не видят! Не читают ничего! Все новое им — как камень под бок. Забавского критиковать!

Валя не помнила себя, лицо ее залила краска. Чтобы не называть отца, направила гнев свой на

«них» — на всех, хотя и не представляла, на кого конкретно.

Корней даже залюбовался ею, довольный, что хоть разок «разыграл» сестру, раньше всегда она подшучивала над ним, подпускала шпильки.

Войдя в роль, он подлил еще масла в огонь:

— Не бог он, твой Забавский. Скажи пожалуйста, уже и слова поперек не скажи! Всех можно критиковать! Надо. Критика и самокритика...

— Замолчи. Что ты понимаешь, дурень! Можно критиковать. Но отцу... отцу зачем это? Просто подговорили его завистники. А он, отец наш, доверчивый, как ребенок. Не разобрался... Чем не угодил ему Забавский? В чем обвинял его?

— Я на собрании не был. Не слышал. После собрания он сам приходил.

— Кто приходил?

— Саша твой, Забавский.

— Для тебя — Александр Петрович.

— А я вперед заглядываю. Может, свояком станет? Нет разве?

Валя удивилась: никогда раньше не был таким Корней настойчивым. Догадывалась, что дразнит ее. Однако дыма без огня не бывает, что-то произошло, раз Саша просил срочно приехать. Придумать все Корней не придумал, что-то случилось действительно.

— И что?

— Что что?

— Ну, пришел Забавский...

— В двенадцатом часу ночи. Мы уже ложились. Кулаком в грудь себя бил. Клялся. Прощения у отца просил... Я, говорит, Иван Корнеевич, во всем виноват. Простите...

— В чем виноват?

— Во всем. Работу завалил. С Шишкой целовался...

— С кем? — побледнела Валя.

— С Шишкой. С полицаем.

Валя подошла совсем близко к брату, сказала гневно:

— Трепись, да знай меру! За такое я тебе... Я тебе глазницы выцарапаю!

Корней понял, что перехватил через край, что дальше так нельзя с ней, дошла уже до белого каления. Начал спускаться на тормозах:

— Ну, целовался, конечно, в перепосном смысле. Они с Качанком дом хотели купить Шишке. А Качанка вообще прокатили на собрании.

Валя зло швырнула тряпку в лицо Корнею.

— Думала, ты человек, а ты трепло поганое, — и бросилась в спальню, закрылась на крючок.

Корнею послышалось, что сестра плачет, и он почувствовал, что зря наплел неизвестно что, ранил в сердце, она же любит Забавского. Еще в августе напоролся как-то в клубе на них в пустой комнате перед репетицией. Увидел, что целовались. Пообещал потом Вале молчать об этом. И сдержал слово. Почему же сейчас вдруг захотелось так зло подшутить над нею? Корней вко-

нец расстроился, окликнул сестру, она не отозвалась.

— Валя, прости меня. Лишнего я нагородил. Не так все было. Приходил он, правда это, но говорили хорошо. Мирно. Мама ужином его накормила.

— Пошел вон! — крикнула из-за двери Валя.

Корней потоптался смущенно, взъерошил волосы перед зеркалом и пошел собирать на стол — сестра с дороги, может, хоть обедом удастся ее задобрить.

И тут прибежала мать, запыхалась.

— Валя где?

— В спальне она. Плачет.

— Плачет? — У Таси испуганно расширились глаза. Чтобы успокоить ее, Корней сознался, признал свою вину:

— Это я обидел ее.

— Ты? — не поверила мать. — Корнейка!

— Ничего я не плачу! — подала голос из-за двери Валя. — Сочиняет все! Лгунишка несчастный!

Корней не обратил внимания на ее слова, только сконфуженно улыбнулся матери.

Валя вышла из спальни не сразу, нос у нее был красный, хотя глаза сухие.

Не поздоровавшись, сразу обрушилась на мать:

— Вырастили сыночка! Вскормили соской. Он вам еще покажет, теленок этот!

Но и на это Корней великодушно смолчал. А Тасе стало горько, что дочь не бросилась к ней, не обняла, как обычно, когда приезжала из города. Она поцеловала Валю и сказала обоим так, словно это они оба обидели ее вместе:

— Ну как вам не стыдно! Сколько не виделись и — пожалуйста! — на пороге поссорились! Из-за чего? Что там у тебя?

— У меня? — Валя на миг задумалась, как бы вспоминая, что могло у нее случиться. — Ничего. А у вас что?

— И у нас ничего. Разве что авария отцова. Стукнул одному машину...

— Отец? — не поверила, встревожилась Валя.

— Три сотни выложили.

— Ну, деньги — ерунда. — Валя уже отошла немного, поспокойнее стала.

— Конечно, ерунда, — согласилась Тася, вздохнув, добавила: — Когда есть они. Ты обедала?

— Нет.

— Я соберу сейчас.

— Мам!

— Что?

— Пусть этот шпион, — кивнула Валя на брата, — уйдет куда-нибудь. Мне нужно поговорить с тобой.

Корней решил было, что стерпит сегодня от сестры все — любые наскоки, грубость, полагал, что обидел ее сильнее. Но «шпиона» простить не

смог. В чем в чем, а в таком его никто еще никогда не уличил.

— За кем это я шпионил? За тобой? Пожалуйста, лижись с кем хочешь! Наплевать мне!

— Дети, дети! — развела руками Тася. — Вот уж не думала, что такие петухи. Чего не поделили?

Корней оскорбленно стукнул дверь, схватил в прихожей куртку, шапку и выскочил во двор.

Тасю осенило вдруг, о чем так таинственно, без свидетелей собирается говорить с ней Валя; разволновалась — вот оно, неизбежное! — и обрадовалась, что дочь доверительно, как подруге, хочет рассказать о себе, поделиться с ней, посоветоваться. Значит, неплохая она мать, значит, правильно воспитала детей своих. Когда-то в Валином возрасте она хоть и любила мать, но считала, что та старая уже, не поймет ничего. Иногда, когда денег просила на туфли или на платье новое и мать спрашивала: «Жениха там в городе не завела ты себе?», она отмахивалась: «Ну, мама, выдумаете! Не до женихов мне! Учусь», — хотя рассказать и бывало о чем, не одному голову кружила, пока Ивана не встретила.

Валя не стеснялась рассказывать о своих «женихах», но всегда со смехом, с издевкой. А Корней не мог примириться с тем, что кто-то чужой может увести, отобрать у него сестру.

Но никогда еще Валя так не волновалась. И волнение это передалось матери. Значит, серьезное, может, такое, как у нее к Ивану когда-то.

Предстоящий разговор с дочерью пугал. Наверно, из-за этого или, скорее, чтобы дать успокоиться Вале — вон какая пунцовая, руки дрожат! — Тася оттягивала его. Накрывала на стол, делала вид, что поглощена тем, как бы вкуснее и быстрее накормить дочку, хотя Валя отказывалась. Но мать и раньше на такие слова не обращала внимания. И Валя подчинялась. А пока стояла у окна, смотрела на улицу, будто поджидая кого-то, комкала в руках занавеску. Тася достала из погреба глиняный бочоночек, с зпмы в нем хранились залитые янтарным жиром крупные кружки жареной колбасы, подхватила один ножом, бросила на подогретую сковородку. Колбаса скворчала, разносила по дому запахи, от которых слюнки текли.

Тася знала, чем угодить дочери, чем нагнать аппетит после студенческой столовки, в которой, по ее собственным давним воспоминаниям, всегда пахло подгоревшей овсянкой.

Не спеша расставляла на застланный холщовой скатеркой стол миски с солеными огурцами, помидорами, масленку с желтоватым домашним маслом, рассказывала все о том же — об аварии:

— Майор тот сразу согласился, чтобы в нашей мастерской отремонтировали машину. Дешевле обошлось бы, отец все сам бы сделал. Но приехал он... посмотрел, как мы живем, и передумал... Давайте, говорит, три сотни, сам отре-

монтирую. Щерба вспомнил, видел его под Хуторянской, целое лето там жил в палатке. Только что не завод наладил — консервировал грибы, ягоды, рыбу, дичь даже. Хвалился, что две тысячи банок закатал. Зачем ему столько?

Валя не очень внимательно слушала мать. Майор, грибы, авария... Какая связь между аварией и грибами?

Тася чувствовала, что Валины мысли далеко, хотя обычно, приезжая на выходной или на праздники, она настойчиво выпытывала все добранские новости. В таком селе при большой дороге всегда что-то случается. А теперь ее так мало занимает даже их домашняя новость.

Но вот Тася подступила ближе к делу:

— Раиса Иванцова замуж выходит. На Октябрьскую свадьба будет.

Райка была Валиной одноклассницей, теперь в Чернигове на фабрике работает.

Валя оглянулась, посмотрела на мать. Показалось, что вначале та деликатно отводила разговор, а теперь осторожно подходит к тому, что ей, Вале, нужно рассказать, и нелегко это, хотя она и не робкого десятка, по всем статьям современная. Поглядеть бы в глаза матери! Но та, наверное, нарочно опустила их, уперлась глазами в стол, в угощение, которого хватило бы на пять голодных ребят-студентов. Когда-то Валя воевала и против этого «транжирства»: нужно позвать трех-четыре гостей, а мать готовит на пятнадцать. Шляхетский шик! Вот и теперь — такой стол ради нее одной! С ума сойти! Но подумала об этом без прежнего возмущения, с умилением даже каким-то к слабости материнской.

— Кого там высматриваешь? — Валя вздрогнула от этого вопроса. — Садись перекуси лучше.

Дочь не удержалась все-таки:

— Ничего себе перекусил, называется. — Но села за стол, подождала, пока мать расположилась напротив, и, держа кусочек хлеба в руке, смело, даже дерзко глядя ей в глаза, выпалила: — Мама! Слушай. И чтобы никаких ахов и охов. Не помогут. Завтра к нам придет... словом, посватается ко мне один человек. И я пойду за него!

— О боже! — Тася закрыла лицо руками. Ей хотелось и рассмеяться — правильно, значит, догадалась, и грустно стало вдруг. Но нужно взять себя в руки, дочка может обидеться.

— Ты чего, мам? Что с тобой? — Валя вскочила, обхватила ее за плечи.

— А я испугалась, что там у тебя случилось, отчего примчалась вдруг... такая... Ешь, пожалуйста.

— Ты что, думаешь, это не серьезно?

— Нет, не думаю. Я вышла замуж, моложе тебя была. И, как видишь, вполне серьезно. Говорят же: судьба придет — по рукам свяжет.

— Почему ты не спрашиваешь, кто он?

— Сама скажешь, наверное, раз уж так...

— А ты не знаешь?

— Откуда мне твоих городских знать! — Тася пожалала плечами и положила колбасу на Валину тарелку. Дочь, не притрагиваясь к еде, жадно ловила ее взгляд.

— Кто он? — Валя подцепила вилкой весь в жиру поджаристый кружочек, откусила, но никак не могла проглотить, будто сухая колбаса застревает в горле. Снова спросила: — Не знаешь, выходит? — И решилась: — Забавский он!

Нехотя жевавшая огурец Тася чуть не поперхнулась.

— Наш? Александр Петрович?

Теперь уже Валю подмывало засмеяться освобожденно, на весь дом. Удивило изумление матери, казалось почему-то, что это не будет для родителей так неожиданно. Молодец Корней! Не болтался, напрасно она его шуганула, нужно помириться скорее. Надежный оказался союзник.

— Когда же это вы... — Тася запнулась, искала самые подходящие, самые деликатные слова, — так близко познакомились?

— Лето же вместе провели. Ансамбль организовали.

Тасе стало как-то по-новому тревожно, странно, что никто в Добранке и намеком не обмолвился, не заметил ничего, не углядел. Шумело бы давно село. А зачем такая скрытность? Нужно ли от людей прятаться? У нее самой когда-то все наружу было. Один вечер с парнем пройдет — и все в курсе. С Иваном тоже так. Назавтра же по Добранке полетело: «Докторка с Батраком гуляла».

— Ты чего, мам? Будто и не рада. Он хороший, добрый. Если бы ты знала, какой он!

А у Таси слезы вдруг набежали на глаза. И ее мать тоже заплакала, когда, приехав на денек, Тася сказала, что замуж собирается. Представилась мать такая, какою стала сейчас, после смерти отца — любого известия страшится. Неужели и она, Тася, сравнялась с ней? Чтобы скрыть волнение, согласилась с дочерью:

— Хороший. Уважают его у нас.

Валя поцеловала мать.

— Ты умница, мамочка! Знала, что не будешь против. Но скажи, пожалуйста, сама отцу. Боюсь почему-то. Так волновалась, когда ехала домой. А тут еще Корней... Он один все знал... Говорит, поссорились они, отец и Саша. Выдумал, правда?

— Выдумал.

— Надо же! Не понимает еще, что это такое — полюбить. Только мы с тобой знаем. Так ведь, мамочка? Скажешь отцу?

— Скажу. Отчего же!

И тут Валя села на место, с аппетитом принялась за еду, все умяла — и колбасу, и огурцы, и творог.

Мать глядела на нее, раскрасневшуюся от счастья, от разговора их, и сама радовалась. Уже спокойно, рассудительно обговаривали, что нужно к свадьбе, какие обновки, как отпраздновать, что-

бы и «по-современному», и с выдумкой, ведь они с Сашей люди со вкусом.

После обеда Валя приделась, повертелась перед зеркалом, объявила:

— Я к нему.

— Может, нехорошо, дочка, сразу так, — попыталась остановить ее Тася.

— Все хорошо, мамочка. Не волнуйся. Никто плохо о нас не подумает.

Тася осталась одна. Убрала со стола, на душе спокойно было, радостно. В какую-то минуту даже неловко стало. Большею частью плачет мать, выдавая дочь замуж. И сама она часто с опаской думала о Валином замужестве: куда забросит ее судьба, с кем сведет, в каком краю доведется жизнь прожить? Свидишься потом раз в два или три года. Не чаще.

Почему же она так рада сейчас? Тому, что он, будущий муж Валин, тут, в их селе, и дочь теперь, конечно, будет работать здесь, в совхозе, жить рядом, даже какое-то время, может, и с ними вместе, в отцовском доме? А ведь ей вопреки Ивану не очень-то улыбалось раньше, что Валя может закинуть здесь. Село есть село. Мечталось для дочери о каком-то особенном счастье, непохожем на все, что знала. У нее, у Таси, конечно, полное счастье и по собственному ее разумению, и все так считают их знакомые — и добранцы, и городские. Однако же, бывает, заносит в груди, как ветерком легким, повеет грустью смутной, налетевшей тоской о чем-то неизведанном, непознанном. У нее ли одной так? Или каждый рвется к тому, чего нет у него и вряд ли может быть? Однажды спросила робко Ивана: а на него накатывало такое хоть раз? Как смогла объяснила это состояние свое, говорила путано, стесненно.

Иван сначала слушал внимательно, показалось даже, напряженно, а потом обнял. «Бывает, Тася, и со мною бывает. С человеком все бывает: и радость такая, что кувыркатся хочется, и тоска, от которой волком завыл был».

Наконец до Таси дошло, поняла, отчего хорошо ей так сейчас. Оттого, что Забавский это. Многие, в том числе и Иван, говорили, что не останется Александр Петрович надолго в совхозе, соберет материал для книги и восвояси в город. Одну его книгу Тася читала, скучновато, правда, ей показалось. Но раз так серьезно относится и к работе своей, и к колхозным делам, и к людям, то, наверное, хорошая должна быть эта новая книга. Прославиться может на всю страну, станут они с Валею жить в Минске. И у дочери будет все то, чего, возможно, не хватало ей самой. А вдруг и ее, Тасину жизнь это наполнит чем-то новым, тем самым найденным? Они с Иваном купят машину, будут наведываться в Минск к зятю и к дочери. С такими шоферами, как Иван и Корней, хоть каждую субботу езжай.

Размечталась, как девочка, в молодости так высоко в мечтах не взлетала. И неудивительно,

не было такой взлетной площадки тогда, крыльев таких и силы!

Скорей бы все это свершилось уже. Скорей бы наступил завтрашний день. Сгорала от любопытства, интересно, как это Забавский придет свататься? Чего Иван задерживается, вот уж удивится новости, обсудить надо, что и как приготовить и к помолвке, и к свадьбе.

Тася остановилась перед большой цветной фотографией Вали, висевшей на стене. «Вот же какому человеку голову заморочила. Да еще так, что никто не знал! Надо же!» А Иван все не шел, хотя в дальний рейс сегодня не ездил. Не выдержала, пошла встречать его через огороды, по тропке. Заметила, что Иван намостил в самом топком месте кирпичи, чтобы можно было пройти в любую погоду.

Почему он не хочет по улице ходить? Царапнуло что-то неприятно.

Она дошла до машинного двора. По дороге вспомнила, что получка сегодня. А вдруг в кульдюм закатился? Уговорили зайти. Нет, Иван — не Щерба, и она не Щербова Люба. Проверять его, искать там не намерена. И получку, кстати, сейчас переводили ему на сберкнижку. Удобно. Ни она, ни сам Иван никогда не проверяли, сколько там набежало, пока не возникала необходимость снять какую-то сумму. Ее заработка хватало на расходы, на «каждый день», и даже Вале перепадало.

Всех в полном составе Тася застала в мастерской. Решали именно ту самую «проблему кружки пива», по Федькиному определению, вернее, по заголовку в газете, откуда он и слямзил, Щерба. Проблема, собственно, всегда решалась просто: в дни получки на нее не тратили лишних слов, даже Федор. Все происходило само собой. И вдруг в их сплоченной когорте обнаружился один упорствующий — Иван Батрак. Откажись он от кружки пива только в этот раз, не стали бы уговаривать: мало ли какое неотложное дело? У каждого бывает. Силой никого не тянули, во всем, как говорил Щерба, нужна сознательность. Но Иван последнее время упорно сторонился людей. Не зазвать было ни на какие сборища — ни в кульдюм, ни просто в гости, скоротать вечерок с друзьями. А причины для застоля всегда находились, и веские, так что отказа его, человека компанейского, не могли принять, обижались. Словом, как объявил Щерба: «Был человек как человек, а стал не разбери поймешь, ни ведущий, ни ведомый, ни автомобиль, ни прицеп».

Ивану были неприятны эти укоры, раньше охотно отзывался на приглашения, иногда и не испытывая особого желания, но знал, что при нем и Щерба как-то в руках себя держал, старался, во всяком случае. Люба Федькина обычно просила: «Корнеевич, пригляди там за моим». И в кульдюме при Батраке обслуга по высшему разряду — не выпивохи собрались за столом, серьезные

люди, компания. Ребята учитывали все это и отказ Ивана не сочли сегодня уважительным, пошли на него стеной в атаку под водительством Щербы.

Иван стоял, блокированный друзьями, и неловко улыбался.

— Ей-богу, хлопцы, не могу. Печенка себя знать дает.

— Чего это ей вздумалось? Придуриваешься, Корнеевич!

— Правда же, печенка.

— Плюнь ты на нее. Промой как следует. Прополощи водичкой святой.

— Мы тебе, Корнеевич, благородный напиток поставим, со знаком качества, — все еще пытался уломать Батрака Щерба. — А захочешь, и шампань.

— Для печенки лучше чистая, без дубильности.

— Не для печенки, а под печенку.

Нагоняли аппетит друг другу, подзуживали.

— Не отстанем от тебя, пока не скажешь честно, в чем причина, — не отступал Щерба. — Я-то знаю, что придумал себе болезнь! Или Тася твоя придумала. Ты вроде Кузи. Тот воды стакан без своей мурашки не выпьет.

— Вот, брат, сила! Маленькая, а такого слона привязала к юбке.

— На руках ее по лесу носит. Комедия!

— На руках? Она у него на шее сидит.

— Ребята, нужно бы хоть раз напоить его, Кузю.

— Не идет, зараза. Ломается, как пряник копейный. Интеллигент! Из хаты же вылез, как и все мы. Был я в его селе, в Кузином. Куда там до нашей Добранки. Глушь!

Причина им требуется, думал Иван. Нет, не объяснишь даже своим товарищам. Да и не одна причина. Теперь, после того, как Шишка возник, ему еще хуже, когда выпьет, даже если хоть самую чуточку. Наплывают воспоминания, возбуждают так сильно, что не может он уснуть до рассвета. А на следующий день как вести машину? Это одна причина. Вторая: двадцать лет сидел за рулем и никогда не думал, что может в аварии оказаться, наехать на кого-то, сбить. А теперь только возьмется за руль — бред такой лезет в голову. Со страхом едет, страх в холодный пот вгоняет, глаза застилает. Поэтому дал себе зарок: не пить вообще. Чтобы, кроме мыслей, ничто не туманило голову. Чтобы в случае чего не мучила совесть... Но как об этом расскажешь? Слухи поползут по селу. Качанок зуб теперь на него имеет. Что угодно может перевернуть вверх ногами.

— Значит, не пойдешь?

— Нет, ребята. Не могу.

— Давайте свяжем его. И понесем в кульдюм.

— С песнями.

— Мимо конторы пройдем. Пусть посмотрит дед на свои кадры. Полюбуется.

Хохочут, черти. Ивану тоже смешно.

— Не дурите, хлопцы. Выпейте там за мое здоровье.

— Икаться будет — значит, это мы тебя скло-
няем, печенку поминаем твою.

— А бычьей закусуваем.

И тут вошла в мастерскую Тася. Механизаторы смутились, не услышала ли словечки те, которыми они приправляли шутки свои? А Федор сразу пошел в штывковую:

— А-а, кума! Теперь ясно все! Ходь, ходь сюда, ближе! Отчитайся перед рабочим классом, почему ты нам испортила человека.

— Я? — Тася на мгновение растерялась, но, зная этих зубоскалов, тут же решила приноровиться, сверкнула глазами. — Каждый день обнюхиваю его, не чую, чтобы испортился. Свеженький. Такой же, каким всегда был.

Но Щерба не улыбнулся, накинулся уже всерьез, зло:

— Що ты из него сделала? Кошель с деньгами! Машина тебе свет закрыла. Кулачка!

— Это я кулачка? — Тася даже побелела. — Расскажи лучше людям, дорогой мой куманек, сколько ты горелочки у меня выпил. Три машины купила бы!

То, что Федька часто угощался у Батраков, все знали.

Тася, сообразив, что произошло здесь перед ее приходом, сделала широкий жест.

— А ну, пошли все к нам. Напою и накормлю не хуже, чем ваша Катя.

Такой поворот событий огорошил, кое-кто стал смываться потихоньку — неудобно выходит, как попросились.

Щерба сказал примирительно:

— Накормить-то накормишь. Но не ущемляй свободы человеку. Все вы, бабы, рассты, а мы у вас негры.

Тася пригласила к себе людей не только потому, что раззадорили ее, но и от щедрости, от желания сделать Ивану приятное, а заодно втихомолку поднять с ним чарку за Валю. Почему в такой день не устроить маленький праздник рабочей гвардии, как говорит Астапович? Давно уже дома у них не было гостей.

— Что это вы разбегаетесь, как мыши? За молоковоз прячетесь? — и тут же не упустила, припечатала Щербу: — Это ты негр? Не от «чернил» ли почернел?

— Хватит, разошлась! — хмуро остановил ее Иван.

Тасе стало обидно, что он не поддержал приглашения, поставил ее в неловкое положение. Но выручил тот же Щерба:

— Веди, веди своего святого. Пой его молочком. А то стал... — и, не досказав, безнадежно махнул рукой.

Вспомнив, для чего спешила сюда, Тася обрадовалась, что они пойдут домой вдвоем с Иваном. А то пришлось бы ждать, пока разойдутся, при них же не сообщишь семейную новость.

Вышли из мастерской, Тася довольна была — словно обыграла ребятам в карты, оставила в дураках. Иван удивился:

— Ты чего такая веселая?

А она повисла у него на руке, прижалась щекой к плечу.

— Що я тебе скажу, Иванка! — за двадцать лет жизни в Добранке она тоже иногда теперь, когда волновалась, говорила «що», Валя и Корней подшучивали над этим ее «местным» выговором.

— Что ты мне скажешь? — Иван с трудом отрывался от своих невеселых мыслей.

— Валя приехала.

— Что ее принесло в понедельник?

— Сватается к ней тут человек.

Иван хмыкнул.

— Одно сватовство в головах у вас. Кончила бы учиться, а потом уже сваталась.

Тася засмеялась.

— Ваня, любовь не ждет. Ей двадцать уже, дочери нашей. Но ты бы знал, кто он!

— Кто?

— Ни за что не догадаешься! Я, знаешь, как удивилась...

— Не упала же в обморок. И я, может, не свалюсь.

— Забавский.

Иван остановился, отстранил от себя жену. Словно видел впервые. Возбужденная, в красном беретике, из-под которого выбивались светлые пряди. Смеющиеся глаза, которые он так любил за какую-то особенную ясность и глубину. Тася выглядела сейчас совсем девчонкой. Возможно, потому и рассердило его, что с такой легкостью она сообщает о замужестве дочери.

— И ты ног под собой не чуешь? А знаешь, па сколько он старше Вали?

— На сколько?

— Лет на пятнадцать.

— На одиннадцать всего.

— Всего! Что ты плетешь? Куда дочь толкаешь? Спросила, где его первая жена?

— Он же развелся.

— А почему развелся?

— Ваня! Всякое бывает в жизни.

— Всякое! У нас могло быть с тобой всякое!

— Валя любит его.

— Не верю я в такую любовь! Почему они от людей прятались? Замутил девке голову. И ей ли первой? Конечно, такой сумеет. А ты начиталась романов и уши развесила, рот разинула. — Иван вдруг сорвался с места, зашагал по тропке так широко, что Тасе пришлось почти бежать; он будто торопился разрушить поскорее все, что так ее обрадовало.

Услышав, как неровно, прерывисто дышит за его спиной Тася, Иван умерил шаг, бросил, не поворачивая головы:

— То-то, я гляжу, посреди ночи заявился. Прощения просил... Пошел он с этим прощением! Пускай занимается своей писаниной... Добровольец какой!.. Народник... все для него равны... Шишка тоже пригодится авось. Гонорар поможет сорвать... Еще про память говорит! Трепло!

— Ваня! Ну, ошибся человек. Он же сам признал.

— Смотри, ошибется еще с твоей дочкой. Что тогда запоешь? Где это они спелись?

— Вместе же работали лето все.

— Работали! «Мы пахали!» Смотри, как бы внука не сработали, что так заспешили с женитьбой.

— Как тебе не стыдно о своей дочери!..

Ее оскорбили последние слова мужа. Вообще не ожидала, что Иван так категорично не примет Забавского, более того, грубо, не посмотрев даже в глаза ей, растопчет радость. Никогда так не поступал. Случалось, очень, правда, редко, что мог вспылить, но через несколько минут отходил, просил прощения. И она, не в пример некоторым женщинам, тут же прощала.

Тася рассчитывала еще, что Иван и здесь отойдет, опомнится и они спокойно все решат. Но он все больше и больше возмущался человеком, которого, она сама знала, уважал раньше за ум, за его приезд в Добранку, за работу без формализма. Не раз говорил об этом. Куда же девалось все? «Нельзя так! — хотелось ей крикнуть. — Не хочешь отдавать за него дочь, твое дело. Но обливать человека грязью! Никогда же не был таким, ценил людей по работе их, по жизни».

И у самой Таси вдруг иррациональная решительность, угасла радость. Даже неудобно, что обрадовалась так замужеству дочери, будто спихнуть с рук хочет.

Тася молча, покорно шла вслед за мужем.

Иван, вероятно, почувствовал неладное. Остановился, повернулся к ней. Тася виновато улыбнулась. И улыбка эта растрогала его. Вспомнил, какая она сияющая была и как потемнела, помурилась сейчас. Может, он действительно не понимает, какое это событие для нее, для матери? Может, раньше и сам отнесся бы к этому иначе, не так непримиримо? Может, оттого все, что противно ему мысль о празднестве любом? Не только из боязни, что голова будет тяжелая, отказывается посидеть часок-другой с друзьями. От боязни веселья тоже.

Все-таки надо подать хоть какую-то надежду Тасе.

— Ну, о чем загоревалась?

— Думаю, как Вале объяснить.

— Чего ей не терпится? Скажи, присмотреться мы хотим поближе, какой он человек. Узнать о

нем. Пускай эта попрыгунья не подгоняет ни себя, ни нас. Не такое дело, чтоб спешить так.

Нет, он добрый, ее Иван: пошумел немного и рассудил по-отцовски. Присмотреться действительно не мешает.

Валя вернулась поздно. Правда, Корней еще сидел над уроками. Иван улегся спать раньше обычного, но по тому, как ворочается за стеной, по дыханию его, Тася чувствовала: все о своем думает. Мало того, что Шишка проклятый лишил сна человека, так еще и эта забота внезапная — сватовство; он, наверное, боится, что все может свершиться помимо его воли, не представляет, как вести себя, если Забавский придет все же. Она, как никто другой, знает, что при всей внешней строгости, грубоватости, даже нарочитой, чтоб не выделяться, чтоб не говорили, мол, жена акушерка, так и он в интеллигентности лезет, — Иван по натуре своей мягкий, деликатный, страдает и за себя, и за людей, за обиды и несчастья их.

Валя влетела как ветер. Крикнула с порога:

— Папа где?

Мать замахала руками.

— Спит. Тише ты, не грохочи.

— Спит?!

— Тише ты! Раскричалась на весь дом!

Выражение лица у матери было совсем иное, чем днем. Но еще больше, чем ее лицо, объяснила все унылая Корнеева физиономия, согнулся над столом, над книгами, не смотрит на нее. Скис совсем.

Корней слышал, о чем говорили между собой родители, когда вернулись домой. Хотя больше намеками изъяснялись, как тогда, когда они с Валей маленькими были. Но все равно и тогда догадывался, о чем речь. И теперь тоже ясно стало по двум-трем их туманным фразам. Плохие они, родители, шифровальщики. Смешно, что все еще считают его недоростком. Короче, он сразу понял, что Валя хочет замуж за Забавского, потому и прикатила, а отец против, хоть мать еще уговаривает, но похоже, что будет все же на отцовской стороне. Так что у Вали нет ни прочного тыла, ни флангов. Корней пожалел сестру. Хотя нахалка, конечно — он сходил в библиотеку, прочитал рассказ Чехова, — однако все же решил поддержать ее, иначе совсем уже неравные силы, непорядочно не прийти на помощь слабому.

Валя не увидела на лице брата ни злорадства ни насмешки. Одно только сочувствие и предупреждение: «Держись. Но не делай глупостей, не порти еще больше».

Она сразу поникла, погасла, как спичка на ветру. Давно уже независимая, равноправная, впервые растерялась перед отцовской волей. Более того, охватил страх: а что, если не согласится отец? Такой бывает упрямый. Страшно стало не столько за себя, сколько за него — за Сашу. Конечно, можно не послушаться отца, не старое время, но как-то нехорошо — без свадьбы, без

праздника. Разговоры пойдут по селу. И как им потом работать вместе, Саше и отцу?

Грустная, Валя пошла на кухню, мать сказала, чтобы там ужинала — еще разбудит отца. Ей расхотелось есть, по дороге думала с удовольствием, что попросит у матери вишневой настойки, всегда есть в запасе, и предложит всем выпить, поднять рюмку за... Выпили. Сдерживая слезы, зло кивнула на дверь в спальню.

— Говорила с ним?

— Доченька, ну что тебе так не терпится? — Тася повторила слова мужа, будто упрекнула: — Не подгоняй ты ни себя, ни нас. На всю ведь жизнь выбираешь! Дай хоть присмотреться.

— А то вы его не видели?

— Ну как мы его видели? На трибуне? Ни мужа, ни зятя с трибуны не выбирают, Валечка. Теперь иное дело, другими глазами на него буду глядеть, узнаю, что нужно...

— Справочки можете не наводить. Он мне все рассказал о себе. И я верю ему.

— Человека нужно знать не только по словам.

— Человеку верить нужно. Разве ты не верила отцу? Анкеты он тебе заполнял? Заверял печатью?

— Отец твой весь на виду. И всегда.

Тася вспомнила, как у них было все, неожиданно улыбнулась.

Валю, пристально следившую за выражением лица матери, возмутила эта улыбка.

— Чему это вдруг обрадовалась?

— Подумала, как люблю батьку твоего, — призналась Тася, впервые не постыдилась сказать об этом дочери. — Если бы ты своего так любила!

— А ты что, знаешь, как я люблю его? — Валя бросила ложечку на стол, та подскочила и упала на пол. — Эгонисты! Думаете, что лучше вас нет... А сами... сами, кроме чулка с деньгами, ничего больше не видите.

Тася подняла с пола ложку и, уже радуясь за дочь, сказала:

— Если любишь так, отчего злишься? Все тогда будет хорошо, Валечка. Все будет хорошо.

А потом на кухню пришел Корней, сообщил, что прочитал «Злого мальчика», но прощает сестре, наоборот, готов всячески поддержать ее в борьбе со стариками.

Тася хотела еще раз поговорить с Иваном, когда спать лягут, надеялась, ночная кукушка всегда перекукует... Но Иван отвернулся к стенке.

— Спи. Мне завтра в Мозырь ехать.

И быстро уснул рядом с нею. А она долго еще лежала, слышала, как за перегородкой в спальне своей ворочается, постанывает во сне Валя.

Утром за завтраком Тася осторожно, не без умысла поинтересовалась:

— Так что же делать ей сейчас, Вале?

— Пусть в город едет, учится, выбросит дурь из головы.

— Это не дурь, Ваня. Это любовь. Ты уже за-

был, какая она бывает? Скажи хоть доброе слово ей. Пусть успокоится.

— От нее хочу услышать доброе слово.

— Упрямые вы, Батраки. Не забывай, она дочь твоя.

— Потакай, потакай. Как бы потом локти не стала кусать.

Иван ответил то же, что и вчера, но уже без возмущения, равнодушно, думал совсем о другом, и перемена эта расстроила Тасю больше, чем вчерашнее категоричное несогласие.

Валя уехала так же неожиданно, как и приехала, когда мать была на работе, а Корней в школе.

На вырванной из тетради странице большими буквами красным карандашом написала: «Обухи старые. Вы меня еще попросите!»

В другой раз Тася посмеялась бы, а тут возмутилась, порвала листок, чтобы Иван не прочел случайно, не узнал про угрозу дочкину.

18

В приемной прокурора их было только двое — он, Иван, и полная женщина, то и дело глубоко вздыхавшая. Ожидать ему пришлось долго. Секретарша Михалевского — молодая, красивая, но очень уж строга, не улыбнется, слова лишнего не проронит. Слово не видя никого, читала какую-то книгу, скорее всего, учебник, подумал Иван. Заочница, вероятно.

Представил вдруг ее дома. Интересно, такая же суровая, какой у нее муж, дети?

Она почувствовала его заинтересованный взгляд, несколько раз отрывалась от книги, сердито вскидывала глаза. Испепелить можно так, посмеивался про себя Иван.

В конце концов ему надбело сидеть в приемной. Он рабочий человек, под окном его грузовик стоит, в «Сельхозтехнику» нужно за новой электромельницей и деталями для ремонта тракторов. Он редко сидел подолгу так, ожидая приема, да и то всегда по совхозным делам. Обычно в райкоме и обкоме его принимали сразу. Личных же дел в учреждениях, где собиралась очередь, у него никогда не было. Нетерпение шло сейчас и от другого — что за странный, неожиданный вызов к прокурору? Повестька пришла позавчера. Грозная. С предупреждением: «За неявку будете привлечены к ответственности по закону». Никогда в жизни таких повесток они не получали, и Тася разволновалась. Да и он спал тревожно, Тася считала, что, конечно, майор накропал жалобу. Сначала согласился на ремонт «Победы» в совхозной мастерской, а потом передумал, аппетит во время еды пришел — содрать бы побольше с них через прокурора.

— Я еще две корзины яблок ему наложила, — возмущалась Тася. — Угостит пускай своих дома!

Зря ты с него расписку не взял, теперь он с тебя еще раз денежки сорвет. Кулак какой-то.

Иван не соглашался с ней, не верилось, что этот человек способен так повести себя. Но, поскольку другой причины не могло быть, решил, что вызов связан все же каким-то образом с аварией. Если действительно майор потребует большей компенсации, пускай ему стыдно будет, хотя, конечно, платить пятьсот — шестьсот рублей за то, что сам сделал бы в два-три дня, обидно.

Наверно, не без Дремако обошлось, не могло дело пойти к прокурору, минуя его. «Эх, Павел Павлович! Хоть бы предупредил, мы же с тобой не один пуд соли на этих дорогах съели».

— Что там у прокурора, совещание, что ли?

Секретарша посмотрела на этот раз с удивлением, словно спросил он о недозволенном.

— Ждите, гражданин. Вас позовут.

Ивана неприятно поразило это обращение. Чужое, далекое оно ему слово. Пospорил с Валею как-то, она доказывала, что это слово хорошее, во времена Великой французской революции именно так и обращались друг к другу — гражданин. Он же принимал это слово только во множественном числе — граждане. А «гражданин» казалось ему отчужденным, казенным, не сближает оно людей. Сказал тогда: «Наша революция, дочка, всех, кто шел за нее на каторгу, в бой, товарищами сделала. Так обращался ко всем Ленин».

Никакого звонка не слышно было, но секретарша поднялась быстро и вошла в кабинет. Вернулась минут через пять, села на свое место, закрыла книгу — работа начинается, — осмотрела их двоих и кивнула Ивану.

— Заходите.

Войдя, Иван увидел, что прокурор сидит один за длинным столом в глубине комнаты. И рассердился сразу — никакого совещания, значит, не было, а без малого час проваландался тут. «Напускает страху».

Михалевский удивился, узнав его, и в ответ на приветствие воскликнул:

— А-а, аварийщик!

Иван даже остолбенел, остановился на полдороге к столу. Его трудно было вывести из равновесия, но тут прихлынула горячая волна: «Почему ты меня так встречаешь? Я что, преступник?»

Прокурор показал ему на стул, стоявший довольно далеко от стола, и пригласил уже совсем по-другому, официально-вежливо:

— Садитесь, пожалуйста.

Иван сел, сжавшись, как пружина, прилагая все силы, чтобы расслабиться, к любой неожиданности отнестись спокойно, с юмором; так он приказывал себе и по дороге в район, и в приемной. Но положил руки на колени и вдруг почувствовал, как рывком, неровно бьется в ладонях пульс. Странно, никогда раньше не замечал такого.

Прокурор листал бумаги, найдя нужную, поднял голову, спросил сухо, желая проверить, видимо, тот ли человек перед ним:

— Гражданин Батрак?

Иван вздрогнул от этого, вторично услышанного сегодня обращения. Если там, в приемной, промолчал, то перед прокурором, с которым наверняка встретится и на пленуме райкома, и на сессии райсовета, смолчать не мог.

— Вы член партии, товарищ прокурор?

Михалевский удивил, наверно, этот, как ему показалось, наивный вопрос, и он снисходительно улыбнулся.

— А вы как думаете?

— Я тоже член партии. Депутат райсовета. И вы, кажется, меня не арестовали...

Михалевский покраснел. Вспомнил, как высоко аттестовал Батрака начальник ГАИ. И еще вспомнил слова отца: в работе юриста все имеет значение, все немаловажно, не только существо дела, но и форма, в том числе и форма беседы с людьми. Выходит, забыл об этом в разговоре с Батраком. Самоуверенность Михалевского пока еще контролировало трезвое умение точно оценивать свой поступок, понять возможность ошибки. Отцу он даже больше писал о просчетах своих, чем об успехах.

Преодолев минутную запинку, Леонид Аркадьевич уже просто, дружески сказал:

— Простите, Иван... — нагнул над бумагой.

— Корнеевич, — подсказал Батрак.

— Профессиональная инерция, Иван Корнеевич. Автоматизм. Как и в вашей работе. Знаете, я только два года вожу машину. Но сейчас, когда сижу в служебной рядом с шофером, все время нажимаю на тормоз. Шофер смеется...

— Это по неопытности, — объяснил Иван. — Я вот, если с кем-то еду, не нажимаю. Верю в того, кто за рулем.

Лицо у Михалевского вытянулось. Слова Батрака задели сильнее, чем напоминание о партийности и депутатстве. Там Михалевский сразу понял свою оплошность. Но не подтверждать же, что и молод он, и неопытен. К тому же считать молодым человека, которому уже тридцать стукнуло? Абсурд!

«Ядовитый мужик, палец в рот ему не клади...» Прокурор взглянул на часы, давая понять, что для посторонних разговоров нет свободного времени.

— Жалоба на вас поступила, Иван Корнеевич.

— От кого? — Иван был ошеломлен и разозлился на себя за то, что вдруг пересохло во рту, что волнуется, как мальчишка.

— От Шишковича Григория Ксенофонтовича.

— От Шишки?!

— Угрожали вы ему... самосудом? Убить грозились?...

Как-то года два назад на высокой насыпи перед мостом через Сож впереди Ивановой машины занесло «рафик», и он, сбив оградительные столбики, полетел под откос, как в замедленной киносъемке, кувыркаясь по склону. Эта история поразила Ивана, запомнилась больше, чем любая другая авария, которых он в досталь навидался, хотя, к счастью, и водитель, и пассажиры остались в живых. Ивану потом часто снилось, что не кто иной, а сам он летит с насыпи вместе со своим ЗиЛом. Просыпался в холодном поту. Слова прокурора были внезапны и непонятны так же, как и то, почему «рафик» свалился тогда под откос. Такое же чувство, когда не знаешь, за что схватиться, что делать, когда не помогают ни голова, ни руки, ни надежный тормоз, ни послушный руль. Только кровь ударяет в сердце, в голову. Так и здесь. Шишка! Шишка подал жалобу на него! И он, Иван, сидит перед прокурором как обвиняемый, не случайно тот и обратился к нему — г р а ж д а н и н.

— Угрожали?

До Ивана не сразу дошло, что прокурор ждет ответа. А что тут скажешь? Не помнит сейчас ничего, потому что и тогда, в машине, рядом с Шишкой, так же прилила к сердцу кровь, так же звенело в ушах... Нет, кажется, не угрожал, сказал про ту ночь, и Шишка открыл дверцу, собирался выскочить, но он, Иван, ухватил его за шкирку.

— Так угрожали вы или нет? — голос у прокурора стал прокурорским, и он, голос этот, вывел Ивана из оцепенения.

— А вы знаете, кто такой Шишкович? — Иван подвинул свой стул ближе, сел лицом к лицу с Михалевским. А тот недовольно откинулся на спинку кресла, ответил все так же холодно:

— Да, мне известно, что Шишкович служил в фашистской полиции. Осужден был на двадцать пять лет заключения. Отбыл в колониях строгого режима восемнадцать лет и десять на поселении без права выезда. Теперь восстановлен в правах гражданина СССР. Я понимаю, у вас может быть свое отношение к нему, но никому не дано право самосуда. Есть закон. И есть суд. Моя обязанность вас предупредить... Не только само убийство, но и угроза убийства... угроза применения силы... чем бы она ни мотивировалась... Вот соответствующая статья, — Михалевский протянул руку, взял объемистую книгу, открыл на заложённой странице.

— Не надо, товарищ прокурор. Кодекс и у меня есть. Два года был народным заседателем.

— Тем более, тем более, — Михалевский хлопнул книгу так, что на Ивана как ветерком дунуло, наклонился к нему, заглянул в глаза. — Вы же умный человек, Батрак. Известный в районе. Зачем компрометировать себя, грозить этому подонку? Война давно окончилась, и предатели

понесли наказание. Некоторых мы и сейчас еще вылавливаем. Судим. Но самосуд тоже карается. Поймите меня правильно. Я обязан напомнить вам об этом и тем самым уберечь от... Дети есть у вас?

Иван не ответил. Ему расхотелось объяснять, кто такой Шишка, хотя прокурор и говорил совсем уже по-другому, уважительно.

— Думаю, вы не подведете ни свою семью, ни нас. Это было бы пятно на всем районе.

— Не бойтесь. Не трону я вашего Шишку. Михалевский укоризненно покачал головой, нахмурился.

— Упрямый вы человек. «Наш» Шишка — не наш. Закон наш. Советский. И я, товарищ Батрак, стою на страже закона. На заявлении Шишковича напишу, что говорил с вами и вы слово дали, что с вашей стороны не будет не только действий, но и угроз никаких больше. Могу я так написать?

— Пишите.

Прокурор вынул из кармана авторучку.

— Я свободен?

Прокурор снова откинулся на спинку кресла, и лицо его показалось Ивану каким-то сплюснутым, неприятным.

— Да, конечно. Желаю вам всего наилучшего.

Михалевский проводил Батрака недоуменным взглядом. А когда хлопнула дверь за ним, поднялся, поставил стул на прежнее место и отступил до дверей, будто отмерял длину пути от его стола до порога, за которым нередко милиционеры ожидают тех, кто на допросе. Остановился у широкого окна и увидел, как Батрак пересек улицу, повернул ключик в дверце грузовика, да так и застыл, держась за дверцу, будто не хватило силы вдруг. Стоял минуты три в задумчивости. Потом оглянулся на окна второго этажа, где размещалась прокуратура, возможно, увидел его, Михалевского, потому что сразу вскочил в кабину и газанул, развернул машину там, где разворот не разрешен, с лихостью циркача.

Не такой уж он дисциплинированный, как расписывал начальник ГАИ, решил Леонид Аркадьевич. И еще подумал, что такие люди да с этой профессией не всегда выдерживают славу — воображают, что им все сойдет.

«Вот тема очередной дискуссии с этим народолюбом, с Дремаком».

Но, усевшись снова за стол, чтобы дописать резолюцию на заявлении Шишковича, даже не дописать, а поставить свою подпись и дату, словно обессилел внезапно. Почувствовал, что сделал что-то или делает не так, как надлежит ему, прокурору. Еще раз восстановил в памяти только что состоявшийся разговор, свои собственные слова. Да нет, все правильно! Даже то, что посчитал раньше неловкостью — обращение к

Батраку «гражданин»,— показалось ему теперь правомерным. В конце концов, в этом кабинете все равны перед законом.

Однако чувство недовольства собой не проходило.

Брезгливо отодвинул заявление Шишки и снова стал вышагивать от окна к двери.

Михалевскому было страшно ошибиться. Возможно, из-за этого обостренного чувства ответственности он и писал отцу о своих мелких промахах, часто мнимых, а то и придуманных, чтобы лишний раз проверить себя, не допустить срыва.

Еще в университете дал себе клятву, что всегда и везде будет неукоснительно соблюдать законность. Некоторые его коллеги доказывали, что теоретически это просто, а практика подбрасывает такое, что дюжине профессоров не разобраться, где же тут законное, а где нет, особенно в сфере сугубо производственной. Он с этим не соглашался. Если непреложно отстаивать и соблюдать основной закон, не появится никаких щелей или щелочек, откуда может высунуться нарушение. Выросший в семье юриста, он наслушался немало горького о тех годах, когда забвение законности больно коснулось жизни многих людей, в том числе давних друзей его семьи, родных. Старший брат отца Николай, историк, доцент университета, вернулся в Минск из мест отдаленных в середине пятидесятых годов, жил в их семье, больной, одинокий. Нередко в споре он бросал и отцу, и ему, Леониду: «Какая это наука — юриспруденция. Давно известно: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Точные науки, математика — вот это наука».

С этим Леонид никак не мог, не хотел согласиться.

Длинные письма с описанием своей прокурорской деятельности он сочинял теперь, отрывая время от сна, не только для отца, но, возможно, больше для дядьки, чтобы убедить старика, насколько важна и государству, и людям его работа.

У Михалевского возникало чувство неуверенности, оттого, наверно, что рос он в городе, в интеллигентной семье и не очень знаком был с жизнью деревни, во всяком случае, не так, как полагалось бы прокурору сельского района.

Не понимал, откуда появилось недовольство собой сейчас, после встречи с Батраком, хотя недовольство это не оставляло, мешало сосредоточиться, заняться другим.

Оно вернулось к нему и дома. Лена, жена Михалевского, была следователем в районной милиции, занимались они часто почти одними и теми же делами. Но, придя со службы, она умудрялась начисто вытеснить из головы все тамошние заботы. Леонид Аркадьевич просто завидовал этой ее способности отключаться. У него так

не получалось. Тянуло и вечером обсудить, поспорить о том, что занимало его на работе, что поглощало, владело им. И тут выручал его обычно друг, завсегда у их дома Павел Павлович.

Лена этой дружбе не противилась. Только не одобряла холостяцкой жизни Дремако. Тридцать пять уже, пора и остепениться, семьей обзавестись. Это обстоятельство настораживало, и она предпочитала, чтобы не муж наведывался к приятелю своему, в его «келью», а наоборот. Хотя и чистота, и порядок, и книги, которые уже давно собирал Дремако,— все привлекало Михалевского. Лене же иногда весь этот холостяцкий антураж казался не чем иным, как приманкой для женщин, играющих в «интеллектуалок», жаждущих приключений.

Зная, что жена не поощряет его частых визитов к Дремако, Леонид умалчивал иногда о том, куда собрался или где провел вечер, а у нее хватало такта не устраивать допросов.

В тот день он признался, что ему хочется поговорить с Павлом Павловичем, посоветоваться.

— Пожалуйста, я займусь Андрейкиным костюмчиком.

Этих костюмчиков было связано уже не меньше десяти, но Лена доставала какие-то новые нитки, находила новые фасоны. Леонид Аркадьевич вспомнил, что Дремако сказал однажды, что если нельзя женщине стать шахтером — это запрещено международной конвенцией,— то нельзя братья и за иные, на первый взгляд, будто не такие уж трудные профессии. Назвал среди этих профессий должность автоинспектора. Но Михалевскому показалось, что только из деликатности не упомянул о Лениной профессии.

Наблюдая за женой, за тем, как увлечена она домом, с каким удовольствием вяжет, как не устает возиться с сыном, подумывал, что начальник ГАИ, возможно, и прав — нужно было бы Лене куда-нибудь в адвокаты или в детскую комнату. На попытку предложить ей поискать такое место Лена даже обиделась: почему? Ей и в милиции хорошо.

Леониду всегда нравилось у Дремако. В их новой, еще не обжитой квартире он не ощущал такого тепла, как в этой забитой книгами уютной комнате. Так хорошо было когда-то в отцовском кабинете, среди множества книг, только там они в шкафах, за холодным стеклом, а тут, у Дремако, самодельные полки, открытые, и поэтому самые разные книги, даже никогда им не читанные, казались знакомыми, близкими, словно и от них исходило это самое тепло. Но еще больше согревали долгие беседы. Говорить с этим человеком можно было обо всем — о политике, экономике, о литературе и кино. О литературе и кино особенно — это и любовь, и воспитание детей, и все другое, чем живут люди. Так твердо считал Михалевский.

В тот вечер Леониду стало совестно перед женой, получалось, что с Дремако ему интереснее, чем с ней.

Об утренней беседе с Батраком и о смутном недовольстве собой, ощущении, которое, честно говоря, и потянуло его сюда, Михалевский в эти минуты забыл. Только когда в связи с каким-то дорожным происшествием Дремако заговорил о своих шоферах, прокурор вспомнил.

— А этот твой из «Добранского» цаца, я скажу тебе.

— О ком ты?

— Об аварийщике, которого ты выгораживал.

— О Батраке?

— Да. Гусь он лапчатый. Из тех, по-моему, кто берет нахрапом!

— Ну нет! Батрак совсем не такой.

— Стал меня поучать... не понравилось, видите ли, что обратился к нему «гражданин Батрак». Фамилия у него тоже — для маскировки будто придуманная. Я, говорит, член партии, депутат. С апломбом, знаешь, этак...

— А где вы с ним встретились?

— Вызвал его и, сам понимаешь, должен был держаться официально. Прокуратура есть прокуратура.

— А вызывал зачем?

— Он угрожал человеку.

— Иван? Кому?

— Бывшему полицейскому.

— Шишке?

— Откуда ты всех знаешь? Тебе бы нужно на другую должность. Но какую вот, не придумал еще. Была бы должность районного попа...

— Подожди. Что случилось все-таки?

— Ничего, слава богу, не случилось. Пока. И думаю, после того, как предупредил, не случится. Во всяком случае, есть его обещание. Батрака. Ты что такими глазами на меня смотришь? Думаешь, не понимаю, что Шишка этот... сволочь последняя? Но отбыл наказание. Двадцать восемь лет, если считать и ссылку. Как говорится, по записку ему отсыпали. Мы обязаны охранять жизнь каждого человека. И законы. Но в данном случае... я охраняю не Шишку, а, скорее, твоего друга и семью его.

— Где он ему угрожал, Батрак? Когда?

— Шишкович не пишет, где, и я не вникал в такие детали.

Дремако, сидевший до этого на диване, встал, прошелся по комнате, широко, как на палубе корабля, расставляя сильные, слегка косолапые ноги.

Михалевский смотрел, как под спортивным костюмом у Дремако пружинят, перекатываются мускулы, да и плечи напряглись, готовы разорвать тесноватую тенниску.

«Медведь», — со скрытой завистью подумал Леонид.

Обычно спокойное лицо Дремако отражало сейчас странное волнение.

— Напрасно ты не вникал в детали. А я вот понял: это Шишка ехал с Батраком в день аварии. Теперь все понятно.

Михалевский засмеялся.

— Можно подумать, что в любом другом месте нельзя угрожать, только в машине.

— А такую деталь, например, ты знаешь, что гад этот убил мать Ивана, маленькую сестренку. А потом, кажется, и отца его, партизана... Полиция подстерегла, когда тот пришел на пепелище, на могилу к своим.

Нет, он, прокурор, не знал этого. А должен был. Или, во всяком случае, обязан был вести беседу так, чтобы Иван рассказал. Но Батрак задел его самолюбие и это помешало доверительности разговора.

Только сейчас Михалевский понял, почему он недоволен собой. Да, в это дело надлежало ему глубже вжиться если не перед объяснением с Батраком, то хотя бы позже. А он поспешил «закрыть» его.

Леонид допускал, что может ошибиться, но про ошибки свои считал возможным рассказывать только отцу или дяде. С другими же делал это не столь охотно, даже с Леной и Дремако.

— Это что, доказано? Участие Шишки.

— Кем?

— Странный вопрос. Судом, конечно.

— Не знаю, что доказано судом. Но Иван видел сам, как он стрелял, семь лет ему было.

— А ты не читал, как трансформируется факт по мере отдаления от него во времени? За такое была бы «выщка». За расстрел женщин и детей. Военный трибунал не либеральничал.

— Могли тоже ведь не вникнуть в детали...

— Без упреков, пожалуйста.

— Я и не упрекаю. Но тогда, сразу после прихода наших, много было подобных дел. Их судили всех вместе. Всю районную полицию, СД. Мальчик не был на суде.

— А взрослые что, не знали о такой акции?

— Ее проводили немцы, зондеркоманда. Полиция помогала. Ивана мать спрятала под печью. Шишка искал его, стрелял в подпечек из автомата. Представляешь? Боялся: а вдруг свидетель останется! Полицай был их соседом, и мальчик не мог ошибиться. Между прочим, события детства никак не трансформируются, остаются в памяти такими же, только мы сейчас осмысляем их иначе. Я представляю, как мог осмыслить Батрак трагедию своего детства теперь, когда вернулся виновник. Состояние его представляю. Все всколыхнулось. Попробуй поставить себя на его место...

Прокурор уже твердо знал, что пропустил главное. Может, именно поэтому и раздражали его слова Дремако. Тычет носом в ошибку, как

студента. Скажи пожалуйста, профессор юриспруденции выискался. Окончил два «университета» — школу сержантов в армии и милицейскую школу.

— Ты что, признаешь право Батрака на самоубийство? Я, может, спас его сейчас от самого страшного.

— Нет, не признаю такого права. Но мне передавали, как выступал Иван на партийном собрании у себя в совхозе.

— Можно понять его, но я повторяю: наша с тобой обязанность — охранять жизнь каждого человека. И законность тоже.

— А я что, против законности? Именно потому, что за, не хочу, чтобы дело кончилось только предупреждением Батрака, тем более что, как я понял из твоих же слов, разговор у вас с переколом вышел. Он совсем другой человек, Батрак, поверь мне. Я хочу, чтобы ты изменил свое мнение о нем, а он о тебе.

— Мне все равно, что он думает обо мне.

— Напрасно. Вот в этом твоя главная ошибка, Леонид. Не считаешься с мнением людей. Чье же мнение тебе дорого? Начальства?

Леонид покраснел. Опять этот «народник» ловит его на слове. Действительно, ляпнул, кажется, не то. Неужели и в дружеской беседе нужно взвешивать каждое слово? У этого медведя насчет деликатности слабовато, раздраженно подумал Михалевский.

Дремако понял, что приятель обиделся. Конечно, спеси поубавить ему не мешает — эту черту его он давно уже заметил и старался обходить острые углы, чтобы не зацепить. Но история с Батраком, то, что прокурор мог говорить об Иване как о возможном убийце, само предположение это возмутило до глубины души. Узнав о партийном собрании в «Добранском», о выступлении Ивана, Дремако не считал все-таки, что возвращение Шишки может привести к новой трагедии. Сейчас же, после слов Михалевского ему стало страшно. Огорчило, что Леонид говорит обо всем этом с каким-то профессиональным равнодушием, уверен, что побеседовал с Батраком и выполнил все, что ему полагалось по долгу службы. По долгу... Нет! Тут не только по долгу, по человеческой совести надо! Разве прокурор не боится ошибки? Это как раз тот случай, когда нельзя ошибиться, когда любая ошибка может изломать, искалечить жизнь хороших людей.

Михалевский глянул на часы.

— Засиделся я. Лена, по-моему, ревнует к тебе. И действительно, эгоисты мы. Женщине внимание требуется.

А Дремако подумал:

«Неприятен тебе этот разговор. Но, прости, не могу так оставить все. Поговорили, провели время и разошлись. Надо делать что-то».

— Извини, — сказал он Михалевскому. — Я не учу тебя... Я прошу... знаешь, о чем?..

— О чем?

— Затребуй судебное дело Шишковича. Посмотри, что там в обвинительном заключении? Все ли его преступления обнаружены?

Михалевский поморщился.

— Почти тридцатипятилетняя давность. Тучу пыли архивной поднять надо.

— А ты разве не читал о процессе над карателями Минского гетто, Хатыни? Некоторые тоже были осуждены и отбыли наказание, но, как выяснилось, не за основное.

— Я не только читал. Я присутствовал. Мой отец... — но счел неудобным сослаться на отца и, чтобы окончить затянувшийся разговор, пообещал: — Хорошо, я посоветуюсь.

Но Дремако не отступал:

— Леонид, дорогой. С кем советоваться? Да и время не терпит. Нужно действовать, если хочешь помочь Батраку не на словах.

По дороге домой — шел пешком, чтобы прогуляться перед сном — Михалевский заново восстанавливал в памяти свою беседу с Батраком и не мог не согласиться с трезвыми рассуждениями Дремако, с его неожиданным предложением, сумел подняться над мелкими обидами своими, отбросить их, как балласт.

Сначала какой-то вспыхнул протест, не хотелось начинать все опять с этим Шишковичем. И дело его получить, видимо, не так просто будет, немало придется бумаги извести, объяснять причины. И потом излишне жестоким показалось дважды карать человека, старого уже, больного. Шишкович пишет об этом в своем заявлении на его имя. Срок давности не распространяется на военные преступления — это он, прокурор, хорошо знает. Но есть какое-то другое, человеческое, что ли, измерение давности. Тридцать пять лет! Его, Леонида, еще на свете не было. А он уже считает себя немолодым. Над такой давностью стоит задуматься.

И, наконец, может, и субъективное, но существенное для него лично: больше всего не по душе ему было читать эти толстые судебные дела — протоколы допросов, обвинительные заключения, приговоры, иногда сформулированные не шибко грамотно, что его особенно раздражало. А тут представил, какое может быть то дело над районной верхушкой карателей, над полицией — тысячи страниц! — и все необходимо прочесть самому, никому не перепоручишь. Чего доброго, работу запустишь из-за всей этой истории.

Наступил уже поздний вечер. После серых дождливых дней распогодилось наконец, подморозило, подсушило. Небо было высокое, черное. Звезд, по-зимнему крупных, не затмевали даже уличные фонари, правда, не очень много горело их — сэкономили электроэнергию. Тихо так засыпал город. От дневного шума оставался разве что визг тормозов. Днем на это не обращаешь внимания, а ночью кажется, случилось несчастье какое-

то. Нет, ничего, это просто таксисты тормозят резко. Да и звуки все ночью отчетливее. Вон как за несколько кварталов, наверно, цокают чьи-то каблучки, бежит девчонка какая-то со свидания.

От прогулки усталость проходила, он опьянел от морозного воздуха, взбодрился. Подумал: а почему, собственно, не доказать бы и отцу, и всем прочим, что он может, что способен разрубить такой сложный узел? Дремако прав, видимо, в той круговерти не до всего руки доходили. Может случиться, что он, молодой прокурор, начнет громкий процесс, о котором заговорит пресса. Кому когда-нибудь помешала слава?

Лена не спала еще. Лежа в постели при тусклом свете ночника, чтобы не разбудить сына, читала.

Он присел рядом и тихонько стал рассказывать о своем разговоре с Дремако, о существе дела.

— Как ты думаешь, мыльным пузырем не окажется?

Она опустила книгу на грудь и слушала, казалось, заинтересованно. Но после его вопроса отвернулась, сказала только:

— Посоветуйся с отцом.

Он не понял, серьезно это она или с иронией, не видел ее лица, глаз. Знал, что и к отцу Лена тоже его ревнует, высмеивает — кроме частых телефонных разговоров пишет постоянно старику письма, и какие подробные. А больше никому не пишет, даже ей, когда в отпуске была, ни одного не прислал, только телеграммы.

Конечно же, с издевкой сказала, уже после решил он, долго не засыпал, но теперь уже не из-за Батрака, думал о своих отношениях с Леной. Сложные они, несмотря на внешнее согласие и покой.

19

— Нет, у меня так и не выходит из головы, почему он написал прокурору. Испугался?

— Еще бы не испугался. Спи, пожалуйста, а то снова вскочишь на рассвете. Какой из тебя работник будет?

— Работник я уже неважный. Стал бояться машины.

— Своей?

— И своей, и чужой. Слишком много мыслей всяких за рулем.

— Да плюнь ты на этого гада.

— Хочу плюнуть. А все равно думаю. Говоришь, испугался, значит? Ей-богу же, не помню, чтобы грозился убить его. Не было этого у меня в голове. Сказал только, где я был тогда, в ту ночь, это точно. Вот этого он, конечно, не вынес. Есть, оказывается, свидетель. Но знаешь, до чего я сегодня додумался: старый ворон не каркнет мимо. Не только от страха написал он. Все ведь прошел, все круги — и огонь, и воду, и медные

трубы. Законы вызубрил не хуже прокурора того. Есть у него какой-то свой расчет. Надеется на кого-то.

— Не заводись. На кого ему надеяться?

— Все может быть. Не скажи! К Качанку подкатился же. И к Лукашovu без мыла влез.

— Качанок это надолго теперь запомнит.

— Короткая у него память. Сегодня на складе веселый был, как именинник. По плечу похлопал меня. На Звезду, говорит, тебя, черта, тянем, и все равно недоволен. Будто он распределяет их, орденна и Звезды. Легко живется таким, как Яшка. С него, как с гуся вода, все стекает.

— Клава говорит, что это на людях он такой. Фасон гнет. А дома туча тучей ходит. Давай постараемся все-таки заснуть, Ваня.

— Спи. Когда ты спишь, и меня тянет на сон. Как ребенок, губами чмокаешь. Целуешь во сне кого-то, что ли?

— Тебя, — Тася тихонько засмеялась.

Замолчали, притворились, что спят. Однако сон не шел, каждый лежал и думал о своем.

У Ивана вот уже несколько дней не выходил из головы разговор с прокурором. Сначала Шишкина жалоба взбесила. Всего ожидал от этого волка. Но чтобы сам осмелился, написал в прокуратуру! Напомнил о себе, о своем прошлом. Удивление было так велико, что на время даже притупило боль памяти. В боли этой душевной все было, снова всплыло все. Добавилось еще раскаяние: забывал в счастье о них — о матери, об Анечке, об отце, не все сделал, чтобы жили они в сердцах людей, в сердцах его детей! Мучился и оттого, что не знает, что сделать надо для этого. Сжигала ненависть к Шишке, остужал мороз собственной беспомощности. Конечно, приходили мысли о мести, но какая она должна быть, эта месть? Знал только, что такая, какой мир не видел еще.

На убийство пойти не мог! О том, чтобы лишить его жизни, и не подумал, не принимала такого сама натура его. Если даже пригрозил в машине. Не помнил, какие слова вырвались в ту минуту, все помутилось в голове.

Хотелось, чтобы боль не притупилась. Пока Шишка ходит по земле, она должна жить, его боль. Пусть будет навечно с ним! Стыдно, что жил без нее. А та детская боль, разве ее сравнишь с теперешней?

Жизнь, она дается человеку для радости, для счастья. И это желание, чтобы боль длилась и длилась, тоже пугало. Так можно погасить любую, не только свою радость.

Тяжело было и оттого, что никому не сказал про разговор с Михалевским. Только Тасе. Люди могут подумать: если Шишка написал самому прокурору, значит, он, Иван, как еще пригрозил ему. Поймут, конечно, не осудят. И холодел все же при мысли: неужели соседи его, товарищи, даже Астапович могут поверить, что способен он на убийство? Пойдут пересуды, догадки. Доползут до

Корнея, до Вали. Жуть, если дети поверят, что отец их может убить человека! Нет, никогда не запянает такой мстью ни себя, ни детей своих!

Повестку от прокурора он показал Щербе, и Федька с любопытством ожидал его возвращения из района на машинном дворе.

— Що прокурор? Про лес спрашивал?

Тракторист Холявко недавно продал на шоссе совхозные бревна, которые вез из леса. Но комсомольский дозор усек это. И дело пошло в прокуратуру. Щерба, как всегда, проболтался спьяну, что в этот день поддал как следует с Холявко, пропили, выходит, барыш на пару.

«Придется обоим ответ теперь держать»,— подуживали Федьку ребята, и Люба тоже прописала ему двойную порцию проработки, крик стоял на всю Добранку.

— Нет, не про лес,— успокоил Щербу Иван. Хотел уже объяснить, зачем вызывали, но спохватился: Федька— человек безобидный, да язык у него без костей, под мухой может нагородить все, что было и чего не было.— Майор написал...

— Чего еще надо ему от тебя?

— Компенсации.

— Трехсот мало, значит?

— Выходит, мало,— неловко оговаривать человека, но Иван не нашелся, не придумал ничего другого.

— Давай я с этим живодером беседу проведу! Какой адрес?

Иван криво улыбнулся.

— С одним ты уже побеседовал. Собирался, во всяком случае.

— С кем это?

— С Шишкой.— Иван какое-то время надеялся, что Щерба надерется и вlepит Шишке такое, что тот хвост подожмет, наладится из Добранки. Навсегда.

Федор заюлил как-то, надвинул кроличью шапку на лоб.

— Побеседую, Иван! Доберусь я до него! Дай срок! Оборону он занял, падла! Окружился, как минами, ведьмами старыми. Трижды проклятая теща моя повадилась к нему, молятся вместе. Раскаялся грешник, святым объявил себя. Но терпение мое лопнет!

Иван, грустновато усмехаясь, вспомнил, как подкалывали Федьку ребята: только одного человека на свете он боится— тещу свою. Не давало покоя другое: к Шишке потянулись Плиска, Кудлачиха и еще несколько баб, ну, эти старухи умом не отличались. Авдотья Лампадка еще во время войны к полициям льнула, кухарила у них. А вот чтобы теща Щербина? Баба хоть и сварливая, но работающая, справедливая, правду не утаит, в глаза скажет. Самому Астаповичу как-то врезала на собрании: слишком добренький, мол, директор, распустил таких пьянчуг, как ее зятек. Чтобы она нашла духовного наставника в Шишке? Это что же с людьми творится?

Иван снова зло подумал о Забавском:

«Куда же ты глядишь, товарищ парторг? Головы кружишь молоденьким дурочкам? Романы пишешь? Подожди! На следующем собрании от тебя пух лететь будет».

А может, сам он подозрительным стал, злым? Тасю вот заподозрил: остыла она к его страданиям, удивилась только, что Шишка написал прокурору. А сам он разве не удивился? Так чего же требует от людей? Не все ведь пережили то, что он. Многие только в кино войну видели.

Спит, что ли, Тася? Нет, по дыханию чувствует, что не спит. О чем она думает? Раньше не бывало у них такого, о чем не рассказали бы они друг другу, любое желание, тревога любая, боль и радость— все было общее. Но разве не может прийти к человеку мысль, которой с самым близким и то не всегда поделишься? Разве он обо всем о том, что у него на работе делается, рассказывает ей? Про все его заботы, волнения? Да и не упомнишь всего. Тася, кстати, о своем медпункте больше рассказывает. И понятно, все время ведь с людьми, приходят они туда с их болями, с бедами. А он с машинами. Что о них, о машинах, особенного скажешь или о тех бычках, что сдавал сегодня на мясокомбинат?

Тася лежала тихо и думала о другом, о дочери. Рассердилась тогда в первую минуту за «старых обухов», но злости ее хватило не больше чем на час, а потом так и подмывало рассказать Ивану, посмеяться вместе. Хотя побаивалась— не поймет, чего доброго, еще пуще настроится против Забавского. А ей так хотелось, чтобы не разладилось у них с Валею, чтобы поженились они. Не сомневалась, что уговорит Ивана, не было еще случая, чтоб не уговорила. Правда, он другой стал сейчас, после возвращения этого Шишки проклятого. Может, Валино замужество, свадьба— а ее Тася устроила бы с размахом, чтобы пол-Гомельщины шумело да еще четверть Слутчины— всколыхнут Ивана, отвлекут его. Веселый же человек был.

Дня три назад Тася встретила Забавского на улице. Шел навстречу ей. Поздоровался, как обычно. А когда разминулись, не выдержала, обернулась, и в этот же миг обернулся и он. Оба словно по команде остановились, глядя друг на друга.

Тася вдруг решила, подошла к нему, хотя и не знала, что сказать. От волнения пропал голос, ноги подкашивались. Будто она сама сватов ждет.

— Как живете, Александр Петрович?

— Хорошо.

— Что же к нам не заглядываете?

Он смутился, не зная, что ответить.

— Вам разве не хочется поговорить со мной?— без всяких обиняков спросила Тася.

Лицо его осветилось улыбкой. Глаза стали мягче, теплее.

— С вами? Еще как хочется поговорить.

«Ивана боится»,— подумала она и будто улилась:

— Так в чем же дело?

Они стояли неподалеку от конторы, и Забавский предложил вдруг:

— Зайдемте ко мне. Поговорим.

«Во бюрократ, решил в кабинете о любви своей побеседовать. А еще писатель. Там он в своей тарелке». Тасе хотелось засмеяться, но она сдержалась, только укоризненно покачала головой, удивилась:

— Это я к вам должна зайти? Да еще в контору.

Забавский покраснел.

— Простите, Таисия Михайловна.

— Так заходите.

— Обязательно придю.

Проезжавший мимо на велосипеде почтальон звякнул, Забавский сосступил с дороги, ей показалось, подпрыгнул от радости, и она, чтобы не засмеяться, попрощалась, пошла дальше по своим делам, но чувствовала, что он так и стоит, смотрит ей вслед.

В тот же день написала Вале. Пробрала за глупую записку, но дала понять, что отец не знает о ней. Намекнула между строк: отец пока еще упирается, но, если они не будут олухами, а проявят уважительность и настойчивость, можно переубедить его.

Знала, что на следующий день Забавский не придет. Обязательно посоветуется сначала с Валей. Но прошло три дня. Мог за это время не только позвонить ей, но и съездить— свой же «Москвич» и за рулем сам. Если не завтра, то послезавтра, в субботу, заявится. Возможно, и Валя придет. А она все еще не удосужилась поговорить с Иваном. Неужели он не думает о дочери? Ни разу после ее отъезда не вспомнил, будто несогласием своим раз и навсегда покончил с этим вопросом. Тасю даже обижало его упрямое молчание. Не узнает она человека, с которым прожила больше двадцати лет. Пугает такая перемена в нем.

«Если думаешь, что мы так просто отступимся от своего, то плохо ты знаешь нас. Свою жену и дочку свою. У Вали мой характер».

Нет, откладывать нельзя. Забавский может прийти, не дожидаясь Вали. В конце концов, ей не так много требуется, даже не полное Иваново согласие. Нужно готовить его исподволь, а пока достаточно обещания принять радушно Забавского. Александр Петрович убедит его в том, что любит Валу. Сама она тоже не теряла времени даром. Прикинула: кто бы мог знать, что произошло у него с женой? Вспомнила: он бывает у главного агронома, хотя Кузя скептически отзывается о его «хождении в народ». А Лиана, жена Кузи, беременна и часто наведывается в медпункт на консультации и к врачу, и к ней, акушерке. Вот у кого Тася и выпытала все, что ей нужно. Да, он

разведенный. Женился неожиданно. Попал в минскую мещанскую семью. Всю свою сознательную жизнь воевал с мещанством, а тут сам завяз в болоте. Но о бывшей своей жене ничего дурного не говорил. Даже добро о ней отзывался, об Эльвире. С ней можно было бы ужиться. (Это несколько обеспокоило Тасю, что не забывает ее, свою первую жену.) Но вот отец ее, бухгалтер из городского холодильника, хапуга оказался. С ним он сразу в конфликт вступил. Забавский пытался оторвать жену от семьи, уговорил даже переехать, снять комнату. Но не смогла Эльвира там жить. После квартиры их просторной, «модерно» обставленной, после того, как мать ублажала всячески, баловала— и вдруг в тесной чужой комнатенке. Вернулась к родителям. Он боролся за жену упорно, но... вынужден был признать поражение. Все у них с самого начала получилось внезапно так, непродуманно, без любви настоящей. Значит, и не пришла она потом, эта любовь, к Эльвире, оттого и не хватило у нее сил, затянуло привычное. Болотная оказалась птичка! «А как это можно без любви жить?— удивлялась Лиана.— В таком случае развод— единственное спасение, единственный выход».

Она, Тася, тоже не представляла, как можно жить без любви, соглашалась с Лианой, приятно была горячность, с которой та горой вставала, оправдывала Забавского. Вообще-то Лиана ни о ком никогда не скажет дурного. Поэтому оценки ее, может, и нуждались в некоторых поправках, но Тасе никаких поправок не хотелось вносить. Обрадовало, что Лиана, интеллигентный человек, дочь профессора, о Забавском говорила с особенной сердечностью, искренне верила в талант молодого писателя, пророчила ему славное будущее. Тасе показалось, что она знает о Вале, об их отношениях с Александром Петровичем, но это ничуть не снизило доверия к ее словам. Наоборот, считала, если советовался с друзьями, значит, намерения серьезные. А к серьезным намерениям нужно и отнестись серьезно.

— Ваня, ты не спишь?

Иван не знал, ответить или промолчать, прикинуться, что спит, как это уже битый час делала она, даже губами чмокала, но получалось совсем не так, как во сне.

— Сплю,— буркнул он.

Тася круто повернулась, обняла мужа. Была она горячая и пахла молоком. Запах этот всегда умилял и волновал Ивана: семнадцать лет, как родила Корнея, а все еще, кажется, кормит ребенка. Тася говорила шутя: это оттого, что помогает молодым матерям. Иван обрадовался— снова рядом с ним жизнь, ее запахи, счастье, по которому он так стосковался.

— А если это любовь, Ваня?

— У кого?— удивился он. Почему-то решил, что Тася вдруг засомневалась в чем-то, захотела доказать свою любовь.

— У Вали и у него... у Саши.

— Снова ты за свое?.. Только любовь у тебя в голове! — Не преминул, подъел: — Он уже Саша для тебя? Скажи, как породнились быстро. А для меня мальчишка он, работник слабый.

— Ты же сам хвалил его раньше.

— Потому что не знал как следует.

— То «старый» говорил, а сейчас — мальчишка.

— Для Вали старый, для должности своей молодой. Авторитет у него не тот.

— А если у них, как у нас с тобой? — вздохнула Тася.

— Сравнила! Так у них никогда не будет!

Тася засмеялась самодовольно.

— Ванечка, ты прямо как дед Назар: забыл, что такое любовь и откуда дети берутся.

Иван вспомнил: девяностолетний дед Назар пришел как-то к соседу, у которого невестка родила, увидел ребенка, долго качал головой, удивлялся: «Откуда это оно взялось?» По этому поводу долго потешались в селе.

Тасина случайная, к слову, шутка странно отсекала его тяжкие мысли, словно вернула к прежней жизни, в которой разговоры о детях, о своих и о чужих, о тех, кто только родился, и тех, кто поступает в институт, занимали, пожалуй, главное место. Разве можно жить, не думая о детях? Почему же ему не захотелось узнать, что хочет рассказать Тася об их дочери? Во всяком случае, занятно, как будет агитировать за Валино замужество.

— Почему не терпится тебе выпихнуть ее замуж?

Тася снова подвинулась к нему, зашептала горячо:

— Не выпихнуть, Ваня, не выпихнуть. Но я думаю... А вдруг это судьба? Она же не простит, поломай мы ее жизнь. Знаешь ведь свою дочь.

— Еще бы не знать!

— Ну так вот... Нужно поговорить нам серьезно.

— С кем?

— С Вале́й. И с ним. Он придет завтра или послезавтра.

— Откуда это тебе известно? Сама, что ли, бегала к нему свататься?

— Валя мне сегодня звонила.

— Ремня твоей Вале́е дать надо.

— Поздно, Ваня, давать ей ремня. Раньше надо было.

Иван почувствовал, что Тася довольна. И распросами своими, и таким вот снисходительным «ремня дать» он, по существу, сдался. Знал Тасину тактику, ее умение выбрать самый подходящий момент, чтоб добиться своего. Так вот и сейчас. Ее взяла!

— Так чего ты хочешь от меня? — спросил, все еще как бы не соглашаясь.

— Чтобы принял его, как... Сам знаешь, как

принимать, когда человек приходит по такому поводу.

— Я ни на кого еще не рычал. Никого не выгнал из дома. Принимай как тебе угодно.

Ну что же! Тася, кажется, могла считать, что цель достигнута. Но радости почему-то не было. Не такой он, как раньше, Иван. Этим «принимай как тебе угодно», по существу, проявил равнодушные, и ей, матери, обидно. Изменился, отдаляется он от нее, от семьи, замкнулся. Последнее время и о себе говорит скупое, нехотя, во всяком случае, не так открыто, как вначале, когда Шишка только вернулся, когда встретил его в сельмаге. Только вот после вызова к прокурору так или иначе возвращается к этому, не столько негодует, сколько странно, горько как-то удивлен предупреждением Михалевского.

— Это у них называется профилактикой,— грустно объяснял за ужином Корнею.

Кстати, уже тогда Тася отметила, что Иван говорит об этом с сыном чаще, чем с ней. Разговаривают как мужчины, серьезно, по-взрослому.

А в ту бессонную ночь вдруг толкнуло: не потому ли отъединился так, что не смогла она до конца жить только тем, чем он живет? После того как Иван рассказал ей все, возненавидела Шишку, кипела гневом. Недавно он явился к ним в медпункт, и Римма Сергеевна вскрыла у него на плече фурункул, позвала ее, Тасю, забинтовать. А та, увидев его, аж затряслась вся, выскочила из кабинета и не вернулась. Врач сделала ей потом замечание. Тася не оправдывалась, ответила не просто — со слезами: «Римма Сергеевна! Не заставляйте меня помогать ему. Не заставляйте! Прошу вас».

Липская, как и каждый сельский врач, знала все о людях в деревне; по-человечески поняла Тасю, однако не согласилась, что та имеет право не оказывать кому-то помощь: «Наша профессия, дорогая Таисия Михайловна, обязывает лечить человека, кем бы он ни был. На войне коллеги наши делали сложнейшие операции пленным немцам, фашистам».

Да, Тася ненавидела Шишку, но думать о нем все время не хотелось, не могла просто. Считала, что нет нужды в том. Подумаешь, Шишка! Плюнуть на него, и пусть подыхает, мразь. А кроме того, слишком много было у нее других забот, наполнявших жизнь радостью, чтобы иссушать душу свою только этими мыслями.

Забавский тоже не спал в ту ночь. Не ложился. Работал. Писал он почти каждый вечер, но обычно не засиживался так поздно. Свою новую книгу задумал как дневник совхозного парторга. Не открытие, конечно, с точки зрения формы, но работа целиком захватила. Преимущество такого дневника перед документальной повестью, напи-

санной им ранее, заключалась, по его мнению, в том, что не нужно специально никуда ездить, знакомиться с людьми и потом изобретать какой-то сюжет, диалоги. Фиксировать же события одного дня, свое непосредственное отношение к ним и проще, и, главное, интереснее, казалось ему. Да и читателю, он не сомневался, это тоже внушит больше доверия. Разумеется, далеко не все ляжет в книгу, надо будет тщательно провевать, чтобы отлетела мякина, осталась горка золотого зерна. Дневник ценен еще и тем, думал Забавский, что он, автор, обязан точнее точно запоминать все, чтобы не упустить ничего, занести в реестр дневных впечатлений. Правда, люди относились к нему с известной опасливостью, особенно когда только приехал, старались обходить в беседах острые углы, как бы не пропечатал, и он должен был прикладывать усилия, чтобы втянуть в беседу, разговаривать. Ловко уклонялись от таких вот разговоров механизаторы, все к шуточкам сводили, разве только Щерба мог позволить себе попяничать, притвориться пьяным, а пьяному море по колено. Женщины были пощеднее, откровеннее, не думали, что «попадут в книжку». А вот «элита» сельская — агрономы, конторские работники — сперва прямо набивались в друзья, в герои, а потом несколько поубавили пыл и, соблюдая внешнюю благожелательность, ну, если не палки в колеса, то камешки под колпаки, определенно, подсовывали: вреда, мол, не причинят, а остановиться нужно будет, посмотреть, что там тарыхтит. Это сравнение пришло ему в голову, когда вспомнил о бывшем своем начальнике, заведующем отделом газеты, который купил «Москвич», и они, молодые тогда ребята, решили разыграть его: подсунули под колпак камешки. Стоит машина — все тихо, спокойно, а чуть стронется с места — грохот. Они наблюдали из окна, как их зав мечется, не может сообразить, откуда посторонний шум, и веселились.

Действительно, кто-то не прочь, возможно, чтобы он с включенным мотором так и стоял на месте — занимался только своей журналистикой. Взял тебя Астапович в летописцы, вот и валяй пиши, все равно человек здесь ты временный. Но эта роль его не устраивала. Он приехал в совхоз по рекомендации обкома и райкома, его выбрали парторгом на собрании, всего четыре человека проголосовали против, и он честно старался оправдать доверие людей. А коль скоро избрал для себя такой способ жизни, то не позиция наблюдателя, даже самого внимательного, а работа непосредственно с людьми, постоянное включение в их жизнь — только это и может обеспечить успех задуманного. Не обладая опытом партийной работы, он со своим наивным в чем-то максимализмом, с напористостью газетчика иногда зарывался, допускал какие-то неуместности, за его спиной посмеивались инструкторы райкома и такие деятели, как Качанок или Лукашов. Хорошо еще, что все ус-

пехи и промашки его с олимпийским спокойствием принимал Астапович, единственный, кто знал заранее, что именно он станет главным героем книги, однако же ни в чем не подыгрывал, не пытался взглянуть лучше, чем есть...

Все и началось с Астаповича. Он, Забавский, молодой еще журналист, только из университета, исполненный розовых надежд, лет шесть тому назад по командировке редакции приехал сюда, в Добранку, и, как Цезарь, «пришел, увидел, победил» — часа три поговорил с Астаповичем и сочинил очерк на два подвала. Главному понравилось — написано смело, остро. Очерк дали в газете с продолжением. А потом, не сразу, может, через месяц, автор получил письмо от героя.

Директор совхоза, вознесенный им до небес, деликатно и тактично разобрал очерк, не оставив от всего этого прекрасного сооружения камня на камне: одиннадцать ошибок, неточностей — агрономических, экономических, бытовых и даже психологических. Это был серьезный урок, более суровый, чем разносы и безжалостная правка завотделом Богатко, старого зубра, почуявшего в Забавском перспективного «конкурента». Отсюда и постоянные придирки, всяческие попытки унижить. Если не доказать бездарность, то обосновать несовместимость их сосуществования. Выжить, попросту говоря.

У Забавского хватило силы воли и самокритичности правильно оценить письмо Астаповича. Понравилась и тактичность его, написал не редактору, ему лично, кстати, слово это лично на конверте было дважды подчеркнуто.

Алесь, как обратился к нему дружески директор совхоза, ответил длинным откровенным посланием, с большинством замечаний согласился, с чем-то поспорил. С той поры завязалась у них переписка. Обычно после появления статей Забавского Астапович немедля отзывался, и в письмах этих всегда было много важного для Алеся. Несколько раз в году они встречались, когда Астапович приезжал на республиканские совещания, на сессии Верховного Совета.

Так они и встретились весной прошлого года в фойе зала Дома офицеров. Пообедали вместе, поразговаривали, пошутили, но потом Федор Тимофеевич взял под руку Забавского, отвел в сторону, спросил заботливо:

— Ты что осунулся? И глаза потухли.

Проницательный старик. Углядел сразу. Были, конечно, причины у Алеся осунуться. Пережил многое за это время. Во-первых, как сказал поэт, «любовная лодка разбилась о быт», и во-вторых тоже не легче. В издательстве задержали книгу, на которую он возлагал большие надежды, — документальную повесть о мелиораторах, о проблемах Полесья. С критиками своими он не согласился, но пробить книгу не сумел, слишком тяжелая артиллерия была против него выставлена: два научно-исследовательских института, научные автори-

тетей и вдобавок секретарь райкома того, где разворачивался основной конфликт. Наконец, в связи с первой историей пришлось оставить редакцию.

Алесь доверчиво, пожалуй, так, как не рассказывал своим ровесникам, поведал все Астаповичу. Тот слушал внимательно, его тронула эта исповедь, даже с грустью подумал, что его дети, сын и дочь, почти никогда не советовались с ним о своих сердечных делах. Возможно, есть у них с кем посекретничать — с матерью, на которую он сам взвалил все семейные проблемы.

Просто посочувствовать человеку в беде — занятие равнодушных. Астапович был человеком неравнодушным, поразмыслив немного, предложил вдруг:

— Знаешь, что я тебе хочу посоветовать? Перебирайся к нам в совхоз. Поработай годик-два... Еще как тебе пригодится багаж, приобретенный у нас! Такая сокровищница, из которой долго будешь потом черпать!

Алесь грустно улыбнулся.

— А жить на что? Гонораров не накопил. Все, что было, ей оставил, жене своей. В одной рубашке выскочил, как с пожара.

— Свободным художником я тебя и не приглашаю. Людям покажется, что болтаешься, извини, как... в проруби. Я тебя на должность зову.

— На какую?

— А вот об этом нужно подумать, посоветоваться.

Месяца через три, под осень, когда Забавский уже устроился в журнал, пришло письмо от Астаповича: если не передумал, приезжай.

Нельзя сказать, что легко сорвался, целую неделю мучился бессонницей. Одни друзья советовали, другие были категорически против: уедешь в глубинку, забудут о тебе и придется опять с самого начала утверждать себя, а тридцать лет уже стукнуло, не маленький.

Однако чем настойчивее один из друзей, прописавший его в своей квартире, отговаривал от легкомысленного шага, тем больше он убеждался, что не может не ехать — перестанет уважать себя, а это, пожалуй, страшнее всего, что он так недавно пережил.

Астапович обрадовался ему, сразу же повез в райком знакомиться: приближалось отчетно-перевыборное собрание и он рекомендовал Забавского на работу парторга.

Поставив целью за время своей секретарской работы написать книгу-дневник, Алесь, разумеется, имел в виду, что главным объектом исследования станет Федор Тимофеевич с его опытом, мудростью, методами работы. Но поначалу Астапович разочаровал, показался не таким, каким он сочинил его в своем очерке шесть лет назад и каким представлял все это время по коротким остроумным письмам, разговорам при встречах. Не такой, в руках у которого все горит, на ком все хозяйство держится.

Директор произвел на него впечатление человека утомленного, равнодушного и к славе своей, и к делам. Полагался во многом на помощников, не вникал во все детали управления хозяйством. Факты, казавшиеся парторгу, человеку новому, заинтересованному, весьма существенными, Федор Тимофеевич узнавал часто от него, Забавского, иногда удивлялся, иногда возмущался, а чаще отмахивался: «Разбирайтесь сами». Или: «Скажи Качанку, Кузе». Правда, позже Алесь сообразил: а что, если Астапович хитрит, проверяет секретаря и одновременно дает ему возможность до всего самому дойти и принять нужное решение без его директорской помощи, без его авторитета, за которым можно укрыться? И теперь, спустя год, не исключал, что такой «педагогический прием» Астапович мог допустить. Бесспорно одно: в прошлый свой приезд в совхоз «на гастроли» Забавский и написал тот очерк под впечатлением прочитанных книжек, по их образу и подобию, по общепринятой схеме. Так мысленно и «дописывал» его образ, до приезда сюда, правда.

Сейчас Забавский уже понял свою промашку, стал осторожнее. Даже ежедневные встречи в самых разных, неожиданных ситуациях, долгие откровенные беседы не позволяли ему и помыслить, что проник в этот сложный характер.

Бесспорно одно: первое его, Алесево, впечатление оказалось поверхностным. Как раз то, что год назад он считал слабостью, и есть сила Астаповича: его знание людей, стремление никого не подменять в работе. Пускай ошибается человек, но учится на этой ошибке. Людей подбирал он сам, никто никого навязать ему не смел. Тут Астаповича не сокрушить. Увольнял он редко, но, если увидит, убедится, что не тянет кто-то, беспощаден бывает. Ни профсоюз, ни партком не отстоит тогда, не осилит. Но за всем этим, кажущимся иному своеволием, мудрая рассудительность. И, что особенно трогало Забавского, подлинная любовь и к делу и, главное, к людям.

Короче говоря, не сразу он, Забавский, сообразил, что Астапович — не руки и не ноги в живом совхозном организме, он голова, мозг его. А усталость? Усталость, конечно, чувствуется, никуда от нее не денешься. За шестьдесят перемахнул. Но и к этому относится здраво: освобождает себя от лишней работы, от лишних переживаний, больше взваливает на молодых. Однажды так и сказал на парткоме: «Меня, пожалуйста, не перегружайте. Кому это нужно, чтобы я быстрее отдал концы?»

Может, и не все оказалось неправдой в том, шестилетней давности очерке. Астапович раньше был другим, сама жизнь принуждала крутиться на повышенных скоростях. И директор должен все вытаскивать на себе.

Нравилось Алесю еще одно в Астаповиче. Не раз в своей журналистской практике он наблюдал некую возрастную солидарность у людей постарше. Если сам уже «вошел в возраст», то и окру-

жает себя такими же, ревниво, подозрительно относится к молодежи.

Астапович же настойчиво искал молодых. И каких — самых талантливых, энергичных. Перетягивал их к себе, не боясь, что «выпихнут». Секретарь райкома однажды сказал Забавскому: «Проследи, чтобы дед не переманивал из соседних хозяйств людей. Жалуются на него».

Алесю льстило это, значит, и его посчитал человеком способным, если порекомендовал на такую ответственную работу — в парторги.

Опасался, как бы от разочарования своим героем не перемахнуть к идеализации, получится бог, а не человек, поэтому в последнее время больше приглядывался к слабостям, к чудачествам его. А их тоже немало обнаружилось. И среди них новое, рожденное временем — непомерное увлечение всяческими новинками техническими. Все, что есть «последнее», должно и в «Добранском» быть! Своеобразное честолюбие! Может, от боязни отстать, чего-то не успеть, при жизни своей не увидеть.

Вычитал вот, что в совхозе «Гигант» введена АСУ, и тут же, хоть в лепешку разбейся, а подай ему. И в темпе чтобы все.

Алесю к этим нововведениям относился с прохладцей. Не к самой автоматической системе управления, конечно. Смущала неподготовленность к ее эффективному использованию. Случалось ему слышать от специалистов, от коллег своих, писавших про НТР, что затраты на АСУ миллионные, а эффект иногда копеечный. Записал в дневник: «Возможно, я консерватор, неуч, не на свое место попал, но не могу разделить этого ажиотажа с АСУ, понять Астаповича». Он пытался говорить с ним, но дед пропускал все мимо ушей или отмахивался. Правда, в последнее время Алесю показало, что директор схитрил в инстанциях: выбивал под АСУ средства и материалы, чтобы усовершенствовать внутрисовхозную связь, которая им действительно позарез нужна. Самый точный здесь барометр — Качанок. Если от снабженческой своей деятельности, от доставания переключился обратно на профсоюз, значит, идея, которой Астапович зажег его, или исчерпана, или «пересохла», как речка при неумелой мелиорации. А может, просто пауза наступила до новой вспышки.

Всеми этими директорскими замыслами он, Забавский, сильно перегрузил свой дневник, слишком много в нем технологии. И вообще материала у него уже на три книги.

Но сократить-то легко. Другое тревожило — финал, где главный герой явно отходит на второй план, оттесняют его иные люди, иные события, много собственных рассуждений не только о сегодняшнем, но и о войне. Для него, человека, родившегося после победы, журналиста, склонного все увидеть своими глазами, все самому услышать, тема войны казалась прежде далекой, недоступ-

ной. И вдруг она ворвалась не то что в книгу его — в жизнь.

Месяца три назад, он нашел это место в дневнике, записано: «Вернулся бывший полицейский, интересно, как встретят его в селе?»

Спрашивал потом о Шишке у разных людей. Те, кто помнил войну, возмущались: «Гнать нужно его отсюда!»

Молодые пожимали плечами, удивлялись, что такое доисторическое ископаемое еще существует, и даже разрешили ему поселиться здесь. Почти все знали, что в Добранке живет семья бывшего полиция, встречали его жену и дочку, однако сам Шишка, были уверены, давным-давно закончил свое земное существование.

Он, Забавский, пофилософствовал в дневнике о том даже, что кое-кому из молодых, получивших все из рук тех, кто завоевал победу, кажется, что фашизм закопали вместе с Гитлером. Прочитал недавно во Дворце культуры доклад о том, что фашизм существует, увы, только в разных формах и в разных странах. Кстати, на эту его лекцию пришло намного меньше людей, чем на другую, его же, «Человечество XXI столетия» — о прогнозировании социальных и научно-технических изменений в мире.

Яков Качанок на вопрос Алесю о Шишке так ответил: «Если бы я судил, то повесил бы его. Но советская власть добрая».

Возможно, это своеобразное понимание доброты, уверенность в том, что и он, Качанок, в какой-то мере воплощает в себе власть, тоже, значит, должен быть добрым, и привело его к тому, что сговорился с Шишкой о том самом реле.

Больше о полиции в дневнике ни слова не было. Даже свой разговор с ним не включил туда, не придавал значения. Раскрыться этот тип все равно не раскроется, а посеми и время на него терять нечего. Может, правильно считают, что хоть и живой он, но все равно, что «закопанный».

Как-то инструктор райкома спросил Забавского: «Что это у вас за поп объявился? Полицией бывший».

Александр Петрович, выяснилось, не знал, что у Шишки собираются старухи, молятся.

«Смотри, как бы он не занялся идеологией круче, чем мы с тобой», — подпустил шпильку инструктор.

Попал, как говорится, не в бровь, а в глаз.

У Забавского было свое, возможно ошибочное, отношение к теме, называвшейся антирелигиозной. Он считал, что писать и говорить на эту тему — напрасно тратить бумагу и время. Сама революция, советский образ жизни, НТР делают людей атеистами. Через одно-два поколения человек, верующий в бога, будет музейной редкостью. Точно знал, что на антирелигиозные лекции верующие не ходят, книг, журналов об этом не читают. Да и пишут на подобную тему не лучшие писатели, журналисты. Как-то знакомый молодой драма-

тург, пишущий антирелигиозные пьески, честно признался за рюмкой, что не только не читал Библии, но даже не видел ее, и очень удивился, услышав от маститого поэта, книголюба, что у него несколько изданий Библии, на трех языках, одно XVII столетия. И вот он, секретарь партийный, и понятия не имел, что под носом у него творится. Забавский счел себя обязанным срочно поговорить с Шишкой, разузнать, что там у него в доме происходит.

Беседа у них состоялась недолгая. Шишка на все вопросы отвечал витиевато, торжественно, ссылаясь на священное писание, читал наизусть речения из него.

В глубине души Забавский считал, что несколько старушек, собирающихся для молитвы, никакой погоды не сделают, не такое уж зло для коллектива. А вот те, кто ни в бога, ни в черта не верит, глушат водку с утра до вечера,— настоящая беда. Сюда он и направил все свое секретарское внимание.

Выступление Батрака на партсобрании было для Александра Петровича, мало сказать, неожиданностью. Откровением. Он слушал Ивана, бледнел, краснел, думал, что никуда не годится как секретарь, хоть и нахваливает его Астапович. Но, выходит, и Астапович, знавший, казалось бы, всех и каждого, не сумел проникнуть, заглянуть в душу такого человека, как Иван, передоверил людей им, молодым, своим помощникам. Хотел даже отвести свою кандидатуру и наверняка отвел бы, если б не Валя... Так вот и очутился он в войне. Из его дневника исчезли Астапович, Кузя, Качанок. В него властно вошли, заселили другие люди, многих из которых давно уже нет, другие события, от которых кровь стынет.

Забавский советовался с Астаповичем, как помочь Ивану Батраку: «Чтобы не жгла человека память, чтобы не была она как горячка, как болезнь»,— и сам почувствовал, что не то сказал. Федор Тимофеевич нахмурился. «От памяти своей никуда не денешься. И ни надо».

«Но до приезда Шишки жил же Батрак другой жизнью, вы это лучше меня знаете. А теперь почернел весь».

Астапович разозлился.

«А что мы с тобой можем? Убить Шишку этого?»

По его раздраженному тону парторг понял, что директора судьба Батрака волнует не меньше. Астапович сказал, помолчал: «Звонил я в район. Советовался и с прокурором, и с судьями. Все кивают на закон. Один Дремако обещал разобраться, помочь. Но вряд ли что сумеет».

В ту осеннюю ночь, когда село давно уже спало, когда старый Репях храпел на весь машинный двор так, что его не разбудил бы и грохот трактора, захоти кто-нибудь еще раз угнать, когда не спали, может, только Иван и Тася, Александр Петрович, сидя за столом у себя, писал... Не днев-

ник. Повесть о любви. Тут почти ничего не нужно было сочинять. Впервые в свои тридцать два года полюбил по-настоящему. Такое человек переживает только однажды, такое не повторяется. Писал для себя. О том, что он потерял и что нашел на этом крутом перегоне своей жизни. И для нее писал. Для Вали. Будто ему восемнадцать—двадцать лет сейчас, когда тайно сочиняют стихи. Чтобы она, Валя, при всей своей молодости и неопытности поняла каждый шаг его жизни, поверила в искренность его. Это так важно для него и для нее тоже.

Вспоминая недалекое прошлое, хотелось разобратсья в самом себе, в своих привязанностях, и особенно в первой своей женитьбе.

21

Кто-то из приятелей порекомендовал Забавскому для перепечатки рукописи машинистку из редакции журнала, размещавшегося по соседству, в старом Доме печати. Характеристику дал отменную:

«Пулемет, а не машинистка, и не старый,— новейший, сияет каждой деталькой. Словом, «модерн»! Среди молодых другой такой машинистки нет. Ни одной ошибки. Смело можно сдавать в набор, не вычитывая».

Алесь пришел в журнал в конце рабочего дня. Девушку эту он встречал, оказывается, раньше и обратил на нее внимание. Эльвира действительно производила впечатление. Высокая, стройная, с пышной копной волос, правда чересчур отбеленных перекисью; у нее были тонкие, мягкие черты лица, которые портил разве только нос, заостренный, придававший лицу, особенно в профиль, какое-то птичье выражение. Но недостаток этот тонул в глубине глаз— круглых, как Свитазь, такого же, как и это уникальное озеро, цвета, не имевшего, по существу, определения, потому что озеро каждую минуту меняет оттенки— от солнца, от туч, от колыхания дубовых ветвей.

Эльвирины веки не без вкуса были подсинены, и это невольно подсказывало старое, как сама поэзия, тысячи раз использованное сравнение ее глаз с озером. Слепили его не только глаза, но и то, что, казалось ему, определяло внутренний мир ее. Модерн, как сказал бы приятель, уживался в ней с простотой, даже робостью. В одежде— ничего крикливого, никаких побрякушек. Или руки... особенно поразили руки— красивые, с длинными музыкальными пальцами и в то же время рабочие, с аккуратно подрезанными, покрытыми бесцветным лаком ногтями. При печатании пальцы Эльвиры с такой быстротой летали по клавишам, что сливались во что-то прямо-таки волшебное; машинка у нее не стучала, машинка скороговоркой выстреливала текст.

Эльвира покраснела, знакомясь с Алесем, и краснела потом от каждого комплимента, от каждой шутки.

Она была одна в комнате. Сразу раскрыла папку, проверила, разбирает ли почерк, внимательно прочитала страницу. Это тоже понравилось, как и ее вопрос, на какой бумаге печатать: для первого экземпляра у нее есть хорошая бумага, финская. И тут же сделала закладку.

Он удивился:

«Вы сегодня же хотите начать?»

Эльвира снова покраснела, будто вынуждена была признаться в чем-то неприятном: «Дома у меня нет машинки».

Это тронуло Алеся. «Бедняжка», — подумал он, — работает вечерами, чтобы собрать, возможно, на кооперативную квартиру». Сначала он хотел предложить ей плюнуть на машинку, на его повесть и пойти с ним поужинать в ресторан, но рассудил, что она может плохо подумать о нем, — сразу в ресторан! — и неожиданно для самого себя предложил совсем другое:

«А если я вам подиктую? Так же быстрее будет?»

«Если не жалеете своего времени...»

«Кто пожалеет для вас время!»

Диктовать ему нравилось. Волновала близость девушки. Интересно было наблюдать за ее действительно-таки виртуозной работой. Более того, начав вслух читать текст, он спотыкался на огрехах и тут же исправлял их, иногда задумываясь и давая ей паузу, отдых. Несколько раз она сама несмело, деликатно, но точно подсказывала нужное слово.

Сочеталось, как говорится, приятное с полезным — легкое ухаживание с редакторской работой.

Она печатала без отдыха два часа и вдруг, достукнув страницу, хотя не окончена была фраза, вынула закладку, аккуратно сложила перепечатанные страницы и накинула на машинку чехол. Алесь это задело — будто звонок услышала.

«Вас кто-то ждет?» — уже чуточку ревниво спросил он.

«Папа и мама», — серьезно ответила она, пожалуй впервые не покраснев от его вопроса, хотя спросил явно с иронией. На улице он пригласил ее поужинать в кафе. Эльвира отказалась, даже, кажется, обиделась, во всяком случае, в словах ее Алесь уловил что-то такое: мол, я не из тех, кто ходит по ресторанам! Ему это понравилось. Уже несмело он предложил подвезти ее домой на такси. Девушка неожиданно охотно согласилась. Она жила на Громадской, на одной из тех улиц, что оказались в центре столицы, но все еще выглядят забытым селом — неасфальтированные, грязные, с деревянными частными домами, постройки первых послевоенных лет, когда фронтовикам давали лес и кредит. Говорят, архитекторы боятся этих районов — почти все надо сносить, проще и

легче занимать под новые микрорайоны лучшие пригородные земли, которые могли бы снабжать город овощами; закон Марксовой земельной ренты иные высокообразованные экономисты забывают подчас вместе со сдачей экзаменов.

Алесь раньше снимал комнату в старом районе, потом жил в новом, откуда до редакции добирался больше часа, невольно раздумывал и даже писал о загадках градостроительства.

Был сентябрь, прошли дожди, и таксист отказался «плыть по Громадской», таксистам все дозволено: хочет — едет, хочет — не едет.

Пришлось им поодиночке идти по старенькому, разбитому тротуарчику; там, где он прерывался, скакать, как зайцам, с кирпича на кирпич, набросанный, наверное, кем-то из тех, у кого застрял тут в грязи сапог.

За высоким забором, у которого Эльвира оставилась, предупредительно гавкнул волкодав: мол, проходи мимо, не останавливайся!

«Даян! Даян!» — позвала Эльвира. Загремела цепь, и собака совсем близко, но по ту сторону забора положила на доски лапы и по-иному уже приветствовала хозяйку — радостно тявкнула, потом как-то жалобно заскулила.

«Умница, умница. Как человек», — счастливо засмеялась Эльвира.

Ему понравилась в ней и эта привязанность к собаке. Вспомнил, как говорили в их деревне: собаки любят добрых.

Хотелось постоять с девушкой у калитки, вспомнить то, деревенское, родное, что мы познали в юности и о чем часто грустили в городе, где всегда не хватает у тебя времени. Но Эльвира поспешно распрощалась.

Тогда он, не жалея ботинок, увязая в грязи, перешел на другую сторону улицы и при свете уличного фонаря оглядел дом за забором. Хороший дом. Большой. Обшитый шалевкой. С мансардой. Под железной крышей. Оцинкованная, омывтая дождями, она блестела в лунном свете. Светились два окна с пестрыми гардинами. Появился свет в третьем — ее окне.

Алесю, одетому в легкий плащик, представилось, как там уютно, в этом доме, где, конечно, натоплено, пахнет вкусной едой, включен телевизор — по всему видно, живут зажиточно.

Нехотя возвращался он в другой конец города, в свою холостяцкую комнату. Тогда у него был не худший квартирный вариант: молодой инженер с семьей уехал в Алжир, в трехкомнатной квартире осталась старая теща инженера, ее однажды обокрали, и она в целях безопасности согласилась пустить в свою комнату солидного человека, холостяка, — для проверки сама приходила в редакцию, — и поставила условие: никаких гостей. Комната была самая маленькая в квартире, почти всю мебель из нее вынесли в хозяйские комнаты, остались старая тещина тахта и столик-парта, внучки. Книжную полку Алесь купил сам. Од-

ним словом, жилье — дай бог каждому одинокому. Старуха относилась к нему хорошо, поскольку он выполнял все ее условия. Но не уютно: в сентябре, когда по ночам уже подмораживало, а топить еще не начали, было холодно, сыро, а в холоде он не мог выжать из себя и двух слов — такой дурной характер. Главное же, через полгода должны были вернуться хозяева, и его ожидали новые квартирные муки.

В ту ночь Алесь долго не мог уснуть. Думал об Эльвире. Но теперь стыдно признаться самому себе — чаще, может быть, перед глазами стояла, мерещилась... мансарда, такая, какой он представил ее. Крутая лестница из коридора. Светло — широкое окно! Невысокий потолок, все обито сосновой шалевкой, и комната чем-то похожа на вагон. Шалевка не покрашена, светится натуральной желтизной дерево — четко обрисован каждый сучок, и пахнет сосной — знакомый, родной, любимый с детства запах: отец столярничал и обучал его, радуясь, что сын способный ученик.

Он заставит мансарду мебелью на свой вкус: просто и красиво. Ах, с каким наслаждением, с каким вдохновением ему будет работать там! В конце концов, «бытие определяет сознание». Если тебя окружают красивые вещи, ты и сам становишься красивее и пишешь лучше. Вот тогда-то он напишет не однодневку, не документальную повесть, а настоящий роман, серьезный, философский!

Он поймал себя на этих «мансардных мечтах», посмеялся над собой, но не осудил, не пришло в голову, что таким образом иногда женятся... на мансардах.

Смутило другое — мысленная измена девушке, которую, казалось ему, любил. С Таней он познакомился еще в университете, на четвертом курсе. Полтора года они жили надеждами на будущее. Трудно теперь объяснить даже себе самому, почему они не поженились. Его, журналиста, проявившего себя во время учебы, по заявке редакции оставили в республиканской газете, а Таню, биолога, по распределению направили на Витебщину, в Верхнедвинский район. Таня не потребовала, как другие девушки, чтобы он женился и она имела бы право остаться с ним. Она понимала и говорила об этом — как нелегко будет в Минске с устройством на работу. А ей очень хотелось работать! И про жилье они говорили. Таня радовалась, что поедет в деревню, где для биолога — простор. Нет, тогда, при свидании после экзаменов, законченных ими в один и тот же день, он, пожалуй, почувствовал в ее веселости нервозность, затаенную печаль от вынужденного расставания — слишком много смеялась, не всегда к месту шутила. Но в первых письмах из школы радость ее была, конечно, искренняя: ей нравилось все — местечко, совхоз, коллеги, ученики. Потом, правда, в письмах изредка прорывалась и тщательно скрываемая ревность — часто вспоминала минских дев-

чат, — и некоторое недовольство собой, своей жизнью и им, Алесем; правда, недовольство им она прятала за — неожиданно для Тани — остроумными, даже едкими шутками, особенно в ответ на описанные им «квартирные мучения». Через год он поехал к ней, предложил пойти в сельсовет и оформить их брак. Странно; но Таня отказалась, ласково попросила: «Сашечка, дорогой, давай еще позакаляем нашу любовь, чтобы крепче была». Он, дурак, даже вспылал, приревновал к главному инженеру совхоза. Потом, по возвращении в Минск, Алесю стало стыдно: как по-мальчишески вел себя! Вспомнив все обстоятельства, все слова, сказанные им самим и Таней, пришел к мысли, что его предложение пойти в сельсовет было бестактным: Таня не разрешала никаких вольностей, а он, олух (еще лезет в инженеры человеческих душ!), говорил так, будто они давно уже муж и жена и только юридически не оформили свои отношения.

После этого он стал еще больше уважать Таню, стал писать ей серьезно и ласково, не отвечая на саркастические шутки.

Прошло еще полтора года, дважды он встретился с Таней, но так и не нашел подходящей формулы «предложения руки и сердца». Каждый раз они встречались как добрые друзья, целовались и чуть-чуть не доходили до того, что, возможно, без слов, без всяких «предложений» могло просто сделать их мужем и женой.

Бывали у него короткие увлечения другими девушками, но — странно! — после встречи с ними не появлялось ощущения, что он изменяет Тане.

А тут не поцеловались даже, собственно говоря, и в сердце еще искорка не загорелась, и подумал не о самой Эльвире — о ее мансарде, а возникло чувство, что изменил. Сначала это чувство удивило его, потом рассмешило, как «мечта» о мансарде.

Эльвире он диктовал еще вечера три, хотя она сказала, что научилась разбирать его почерк и могла бы печатать без него. Но он видел, что девушке приятно его присутствие, да и сам считал, что не худшим образом проводит осенние вечера: не сидит в одиночестве в своей холодной комнате или, наоборот, в шумном прокуренном кафе, где хочешь не хочешь, но в компании вынужден выпить, а он это не очень любит.

Когда повесть была перепечатана, Алесь расплатился с машинисткой по высшей ставке, даже округлил сумму на большую. Эльвира деловито взяла деньги, поблагодарила, но округления не приняла — дала сдачу. Спрятала деньги в кошелек, кошелек в карман брюк, хотя в руках держала вместительную вышитую сумочку; не ожидая его приглашения ни в ресторан, ни на такси, как-то официально распрощалась, отчего Алесю стало не по себе. Правда, принимая свое неожиданное решение, он и это прощание засчитал ей в актив,

Не видел Эльвиру месяц или даже больше. Но однажды, уже поздней осенью, встретил на троллейбусной остановке после работы. Оба обрадовались, разговорились, даже пропустили несколько троллейбусов. Он захотел проводить ее, она сразу согласилась. Снова постояли у ее забора, снова она не догадалась пригласить его домой, хотя он намекал на свой плащик (на ней уже была шуба), и снова он поставил плюс: в семье строгие нравы.

Потом они опять не виделись довольно долго. Иногда у Алесь появлялось желание позвонить, попросить свидания, но, помня, как решительно она отказалась от кафе, не мог представить себе, где в декабрьские морозы можно встретиться по-сидеть, поговорить.

К концу года он закончил новую работу — большой очерк для журнала о реконструкции «Гомсельмаша».

Как всегда, хотелось полностью рассчитаться с уходящим годом, не перетаскивать старую работу в новый год. Редакционные машинистки были заняты, у каждой перед праздником свои хлопоты, и Алесь, уверенный, что она не откажет, тем более что дел-то всего на два вечера, позвонил Эльвире. Она согласилась сразу, даже пообещала все полсотни страниц сделать за один день, номер ушел уже в набор, редакционной работы у нее не было.

Но в тот же вечер его ожидал новогодний или старогодний сюрприз — письмо от Тани, самое короткое из всех ее писем: «Дорогой Саша! Хочу сообщить тебе, что я выхожу замуж. Надеюсь, ты поймешь меня. Прости. Не поминай лихом. Не твоя Таня».

В первое мгновение он просто испугался, больно сжалось сердце, потом вспыхнуло чувство обиды, будто его публично ударили по лицу. Через некоторое время он подумал, что все то, отчего его сейчас кидает то в жар, то в холод, — не больше, чем чувство собственника, внезапно лишившегося того, что он считал своим достоянием. Захотел над собой так громко, что даже испуганная хозяйка, не постучав, заглянула в его комнату:

«Что с вами, Александр Петрович?»

«Что? Что со мной? Не бойтесь, Ядвига Казимировна. Просто моя невеста вышла замуж».

Старуха пристально посмотрела ему в лицо.

«Не похоже, что вы радуетесь».

«Плакать мне, что ли?»

«Не горюйте. Этого добра сколько хочешь. Все они теперь такие».

Алесь засмеялся уже спокойно.

На следующий день он диктовал Эльвире свой очерк. Настроение у него было все-таки скверное после Таниного письма, на шутки, на ухаживание не тянуло. Был более обычного серьезен, официален, и девушка тоже как бы насторожилась. Смушалась даже тогда, когда он просто смотрел на нее.

Несколько раз Забавский замолкал на половине фразы, и Эльвира видела по его лицу, что думает он не об очерке, не поправляет, не редактирует, мысли его летят куда-то очень далеко. Потом она признавалась, что ее так и подмывало спросить, о чем это он задумывается.

Теперь Алесь восстанавливает в памяти, как все произошло. Сидя сбоку от столика, он бросил взгляд на Эльвиру и подумал, что она красивая, что у нее более тонкие, более интеллигентные черты лица, чем у Тани, у той крестьянская простоватость, открытость, а потом, наверно, даже грубоватость появится. Он видел, кстати, Танину мать: обветренное широкое лицо, в котором есть, правда, некоторая привлекательность — для такого народника, как он, но вряд ли можно назвать это лицо красивым. Таня похожа на мать и, безусловно, станет такой же. Короче говоря, это была нечестная, мальчишеская попытка охаять ту, которая его отвергла, убедить себя, что «этого добра» не только хватает, но есть и много лучше, что Эльвира — красивее, обладает и другими отличными качествами — скромная, серьезная, трудолюбивая.

А потом, во время другой паузы, почему-то вспомнил, как женился Джек Лондон. Воспоминание это развеселило, — во всяком случае, отгнало грустные мысли.

Эльвира вложила чистый лист, нацелила свои красивые пальцы на клавиши машинки. Ожидала диктовки. Он молчал, смотрел на нее, на пышные светлые волосы, на мочку уха с золотой сережкой. Увидел, что ухо начинает бронзоветь, под цвет сережки, и на щеку будто упала тень от невидимого розового предмета. Сказал так же неожиданно для самого себя и для нее, как в свое время Джек Лондон своей машинистке:

«Вира, выходите за меня замуж».

Эльвира опустила пальцы на клавиши, и на бумаге остались слова «Ни плачдтя». Потом она удивилась, как появились они, и упрекала себя, что в трех словах сделала целых две ошибки, никогда с ней такого не бывало. Много раз, иногда с радостным, иногда с суеверным удивлением напоминала Алесю про эти слова и после разрыва вспомнила их: мол, если не сам бог, то какое-то внутреннее чувство предупреждало ее: «Не плачь, дитя, потом».

Ошеломленная столь внезапным предложением, Эльвира не сразу взглянула на молодого писателя. Сначала провела ладонями по лицу, словно стирая краску или отгоняя сон, потом повернулась к нему, торжественная и еще более красивая в тот миг.

«Вы серьезно?»

«Совершенно серьезно. Меня считают человеком серьезным».

Не вынимая закладки, закрыла машинку и, как бы прося извинения, сказала:

«Я завтра допечаталю».

Поднялась со стула, одернула жакетку, осторожно поправила волосы, сказала деловито:

«Приходите завтра к нам».

Алесь собирался обнять и поцеловать свою неожиданную невесту, но такая ее деловитость удержала его, однако почему-то и развеселила.

«Один? Или со сватами?»

Тогда она смутилась.

«Нет, лучше один. Пожалуйста, один».

Ему понравилось и это, все вместе — и строгая деловитость, и целомудренная конфузливость; почитал, что крайности эти — в одном ряду, результат почти шоковой ошеломленности. Ему даже стало жаль девушку: свалить на ее светлую головку такую глыбу.

Он взял ее руку и по-старинному церемонно поцеловал.

Провожать почему-то не хотелось. Распрощались у троллейбуса. Пока спускались по лестнице, пока шли к остановке, Эльвира, все еще изумленная, отвечала невпопад, а вскочив в троллейбус, только тогда, наверное, осознала свое счастье, расцвела от улыбки; мешая другим пассажирам, долго махала ему на прощанье рукой.

Алесь один забрел в «Каменный цветок», впервые, наверное, без компании, без друзей, выпил бутылку шампанского, водки не любил и пил ее редко. Сидя в тоскливом одиночестве и наблюдая танцующих на подсвеченном кругу — длинноволосых юнцов и девушек в джинсах, он не думал об Эльвире, думал о Тане, чокался с бутылкой и пил за Танино счастье.

Утром у него болела голова, а в душе, как писали в старых романах, было пусто и холодно, вернее — было какое-то туманное, так и не осознанное за весь тот день ощущение, что он сделал что-то не так. Но Алесь всегда держал свое слово, этому его учил еще отец, старик считал, что половина бед, беспорядков, бесхозности происходит оттого, что люди не выполняют своих обещаний, не держат данное ими слово.

Дом действительно был богатый и ухоженный, чувствовалось, что живут в нем люди, не шадящие сил, труда, чужими руками такого порядка и чистоты не добьешься. Правда, обставлен, начинен он был по канонам обывательского вкуса: мебель громоздкая, разнотильная и слишком ее много, в буфетах за стеклом больше, чем нужно, сервизов, стекла, хрусталя. Но это Алесь не смутило: такое вот накопление вещей не обязательно делает людей мещанами; в наше время у этих людей есть еще и другая жизнь — в трудовом коллективе. А то, что сервизы, — так ведь ступа, кросны и секач остались только в музеях.

Успокоило, что рядом с хрусталем — немало и книг, целый шкаф.

Мансарду, поразившую его воображение, ему

в тот день не показали, да он и не думал теперь о ней. В тот день его интересовали люди, с которыми предстояло породниться.

Мать Эльвиры, полная женщина с астматической одышкой и больными ногами, открыла ему калитку (волкодав угрожающе ворчал где-то в будке), приветственные слова произнесла заикаясь. Тогда он невесело подумал, что первый сюрприз — теща-заика. Но позже выяснилось, что заикалась она от волнения. Открытием было то, что родители Эльвиры оказались старше, чем он думал, хотя и знал, что у нее два брата, уже женаты, живут самостоятельно, один здесь, в Минске, другой — на Урале.

Понравился Эльвирин отец, Антон Антонович, высокий, худощавый, седой, — в черной тройке с галстуком, чуточку старомодный. Понравился своей сдержанностью, доброжелательностью; он, разумеется, не стал заикаться от волнения. Встретил Алесь как знакомого, никаких анкетных вопросов, спросил только, кто у них главный редактор, и сообщил, что был знаком с прежним редактором. Где он? На пенсии? Профессор университета?! С умным человеком, значит, был знаком. Алесь не считал бывшего редактора, а теперь профессора журналистским талантом, но, чтобы сделать приятное будущему тестю, подтвердил, что тот действительно был умен, образован. Дальше Антон Антонович заговорил о политике — похвалил президента Франции за реалистичность и осудил Картера за колебания и непоследовательность в деле сокращения стратегических вооружений. Факты старик безбожно путал, видно было, что черпал их не только из своего цветного телевизора, но и от всевозможных болтунов. Возражать, поправлять Алесь не отважился, считал — нетактично. Да и чего можно требовать от бухгалтера холодильника? Хорошо, что его интересует многое другое, кроме дебета и кредита.

Стол был накрыт. Закуска на нем стояла отменная. Но ожидали своих — сына с невесткой. Те задержались, и мать нервничала, хотя у же и не заикалась.

Алесь, идя сюда, опасался, что на смотрины соберут тьму народа — свояки, соседи, сослуживцы отца, Эльвиры. Такой узкий круг — только свои — подбодрил, обрадовал.

Сын — Вячеслав Антонович, Слава, был низкорослым, склонным к полноте — похожим на мать, и каким-то бесцветным, неприметным, — за весь вечер не сказал и десяти слов. Эльвира говорила о нем как о способном автомеханике. Красенький носик-пуговичка, круглые глазки, загоревшийся при виде закусок, и то, как настороженно наблюдали за ним жена и мать, стоило ему взять рюмку, выдавали поклонника Бахуса. Но в этот вечер Слава держался в норме.

Отец явно игнорировал сына, почти демонстративно;—ни одного слова ему и его слова пропускать мимо ушей, огорчая мать и сестру. Но зато старик считался с невесткой, даже — заметил Алесь — побаивался ее.

Алла Ивановна — привлекательная, в меру раздобревшая в свои тридцать пять лет, шумная и бесцеремонная. Работала она в горисполкоме, в управлении пассажирского транспорта, но начала с того, что очень едко и остроумно разнесла «порядочки на транспорте», а заодно и многие другие недостатки городского хозяйства; знала все местное начальство и многим перемыла косточки в тот вечер.

Сначала Алесю понравились какие-то Аллины высказывания, кроме разве тех, что касались лично его. Но потом, в тот же вечер, Алла начала раздражать: слишком часто критика ее походила на бабьи пересуды. Алесь не выдержал и спросил: у себя в управлении, на собраниях, совещаниях она говорит это?

Алла посмотрела на него, как на несмышляныша, и ответила: «За кого ты меня принимаешь, писарь?»

Знакомясь, она бесцеремонно оглядела его, повернула, как манекен, обняла, оторвала от пола — будто взвесила, заключила:

«Хорошего ты, Варька, мужа себе отхватила. Но откормить надо. А то мослы торчат. Мозоли тебе натрет» — и захохотала. Алесь увидел, как вспыхнула от смущения и оскорбления Эльвира, сделалось испуганным лицо у матери: видно, боялись они невестки, ее языка.

Алесь ценил и понимал юмор, но от такой шутки ему стало неловко. «Отхватила мужа». Так сразу. Даже без «жениха». Все, выходит, было обговорено, решено, без него. Заранее. Вот тебе и Джек Лондон!

За долгим ужином, за которым много пили, а еще больше ели, ничего не говорилось о Варинном (Алла упорно называла ее Варькой, давая понять, что по метрикам она Варвара) замужестве. Кроме разве одного. Антон Антонович спросил: «Ну, а жилищный вопрос, как вы думаете решать?»

Алесь был захвачен врасплох, но растерялся не столько от неожиданности, сколько оттого, что даже Алла смолкла, а у Елизаветы Петровны снова в глазах застыл испуг.

Антон Антонович, кажется, увидел растерянность жены, дочери и смягчил жесткость вопроса миролюбивым согласием: «Конечно, пока что будете жить в Варинной комнате».

Алесь отвстал:

«Надеюсь, квартиру мне дадут в редакции».

«Когда?» — настойчиво допытывался будущий гость.

«Думаю, что семейного меня подвинут в более реальную очередь. Холостяков держат в конце списка».

«В таком случае тебе не нужно у нас прописываться. Чтобы ты не имел никакой площади».

Ошеломленный Забавский чувствовал себя в каком-то нелепом положении. Выходит, его действительно женили уже и распоряжаются как собственностью, где поселить, где посадить, поставить. Самое странное во всем этом было то, что у него не хватало духу возразить, тем более что он видел, как тяжело (бледнела, краснела) переживает этот разговор Эльвира и ее мать тоже.

Выручила всех Алла, сказала смело, чуть ли не зло:

«Дайте вы человеку сначала опомниться от счастья, а потом уже будете учить, как надо жить. Да и ты, Саша, учись у меня жить, а не у них,— и наступила под столом ему на ногу.— Чему старики могут научить?»

Антон Антонович обиделся:

«Что бы вы делали без стариков? — но, то ли от страха перед Аллой, то ли действительно убежденный в своей нейтральности, сказал: — Я, невесточка, никого не учу, ты это знаешь. Старых законов не навязываю. Захотел Вячеслав жениться на тебе — пожалуйста. Захотела Эльвира замуж — слова не сказал, только попросил показать жениха. Никто на колени передо мной не становился, отцовского благословения не просил».

Да, это был единственный разговор по сути дела, больше к нему не возвращались. Но Алесю не оставляло ощущение, что его «захомутали», как называл женитьбу один из его старших коллег.

Эльвира, провожая его, сразу же за калиткой раздраженно сказала:

«Пусть старый жмот не мылится — бриться не будет. Никуда я из своего дома не пойду. Что ему, места мало? Такие хоромы! Хватит, что он Славу выкурил в кооперативную трущобу. Но Алла зато вытянула из него уже на два таких дома, она своего не упустит. Видел, как отец ее боится? С ним только так и нужно!»

Алесь, пожалуй, впервые за весь вечер расселнил этот неожиданно проявившийся конфликт между отцом и дочерью. Он не имел ни малейшего желания вступать в этот конфликт, всякие мечты о мансарде канули, как камень в воду. Да и вообще к концу ужина он решил дать себе время подумать, присмотреться, прежде чем «надеть на себя хомут». Собирался распрощаться с невестой, как вчера в редакции, «по-дворянски» поцеловать ручку. Но Эльвира вдруг обвила руками его шею, начала горячо целовать, задыхаясь шептала:

«Сашечка, милый, дорогой... ненаглядный мой. Как я люблю тебя, если бы ты знал! Как люблю! Не зря у меня сразу дрогнуло сердце, когда

ты вошел первый раз. Будто кто шепнул: вот он, вот твое счастье. Я буду любить тебя до смерти. Я пойду за тобой на край света».

«А из отцовского дома идти не хочешь», — хотел было сказать он, но не сказал, опять почему постеснялся. А может, еще что-то остановило. Девичий порыв, безусловно искренний, и одно ее прикосновение, теплота губ на его остывших от мороза щеках вмиг разбили тонкий ледок, которым затянулось было озерцо. «Не с Антоном же Антоновичем, черт возьми, мне жить!» — подумал он, уже мечтая о ее близости. Стал целовать так же горячо.

Сначала все было хорошо, очень хорошо. Эльвира, несомненно, искренне любила и по-женски заботилась о муже. Впервые после того, как вылетел из-под материнского крыла, он жил теперь присмотренный, накормленный, приласканный, избавленный от забот, забиравших немало времени, энергии и даже, бывало, унижавших. У него был свой угол — небольшой, но уютный, теплая комната, высокая кровать с горой подушек, перин, а рядом — современная полка, заполненная книгами. Набор мраморных слоников — на счастье и тут же, на серванте, — транзистор. В дополнение получил еще и мансарду. Правда, не такую, как представлял себе: комната не отапливалась, но он купил электрокамин и устроил там место отдыха — столярную, где мастерил полки, полочки, вместо старых обоев обшивал стены рейкой, чтобы до весны сделать мансарду такой, какую видел на даче известного драматурга, какая являлась в мечтах.

Теща, правда, все еще была словно испугана чем-то, все еще говорила ему «вы», но кормила дочь и зятя вкусно и сытно; крестьянский сын, недавний студент, он никогда в жизни так не питался. Правда, именно за завтраком — они выходили из дома вместе с Эльвирой и значительно позже старика — Алесь часто хохотал от мысли: как бы такая жизнь не засосала его.

Ощущение, что он влез, может, и в небольшое, но грязноватое болотце, нарастало постепенно. С чего это началось? И вспомнить невозможно. Это — как капли, падающие откуда-то сверху. Похожи одна на другую и сами по себе вроде бы и приятные, звонкие, а постепенно накапливаются лужица. Если не обращать на нее внимания, она может подмыть фундамент, натворить беды. Так и тут. Капля — слово, капля — поступок, капля — наблюдение, раздумье... одна за другой... Сама Эльвира... Теперь он понимает: жертва своей среды, во всем.

В постели она была ненасытной. Сначала это нравилось. Потом показалось странным. Никакого целомудрия, застенчивости. Эльвира не стыдилась не только матери, но и отца. Позже он понял: это — от Аллы, у той нет иного разговора, — только на эту тему; Алла даже его пыталась соблаз-

нить, «нарочно». Он, полагая, что от жены не должно быть секретов, признался в своих прежних связях. И о своей любви к Тане рассказал. Эльвира до неприятного подробно расспрашивала, но, кажется, простила. А вот что касается Тани, — не поверила, что между ними ничего не было, как он ни убеждал, ни клялся. В минуты близости могла спросить: как ему было с Таней? Это было оскорбительно, гадко, нестерпимо. Он отвечал зло, едко, отчего подозрительность ее еще больше росла. Она ревновала его к Тане, потом начала ревновать ко всем женщинам, работавшим с ним, шпионила, перечитывала письма, дневники — и... ревновала даже к героиням повести. По абсурдной логике: все женщины, о которых он пишет хорошо, — его любовницы. В той повести, с перепечатки которой они познакомились, был образ доярки — умной, обаятельной женщины. Эльвира и к ней приревновала, хотя колхозница была старше его лет на двадцать.

Иногда он вскипал от этой глупости. Но успокаивал себя: все-таки зрелость, рассудительность приходят не сразу; для того, чтобы все улеглось, притерпелось, притерлось, чтобы состоялась психологическая совместимость, о которой теперь так много пишут, и девушка, выросшая в родительском гнезде, стала самостоятельной, стала женой, хозяйкой, — для этого нужно какое-то время, возможно для Эльвиры как раз немалое. Его друзья, женатые не первый год, тоже жаловались на ревность жен, опасались ее. Про зава же своего Богатку рассказывали анекдоты, смеялись, что придирчивый, злой на работе он потому, что дома сидит затаившись, как мышь под веником.

Впоследствии Забавский не раз думал, что в других условиях — живи они одни, без постоянного влияния родителей, Аллы, соседок, подруг детства, Эльвира, пожалуй, могла бы стать другим человеком. Она была безвольная — мягкая, как глина, и легко «лепилась», но для такого материала нужен один ваятель, а не несколько и совсем разных. Тут же скульпторов хватало...

Тесть сначала забавлял Алесь своим кажущимся глубокомыслием, всезнайством — обо всем у него было свое мнение, — изредка по-народному меткое, но чаще он безбожно путал имена, факты, объяснения большим событиям, историческим и современным, давал, мягко говоря, базарные. Убедить его было невозможно даже в том случае, когда молот явную чушь, когда неправильно произносил иностранные фамилии и Алесь показывал ему напечатанный текст. Антон Антонович не унижался до того, чтобы спорить с таким молокососом, как его зять, он просто игнорировал все разумные доказательства, да и самого Алесь стал игнорировать: мол, наплевать мне, что закончил университет и работаешь в газете, все равно я знаю больше и не

дорос ты, чтобы доказывать что-то мне, учить меня. Это, видимо, встревожило Эльвиру, потому что однажды она попросила:

«Саша, не спорь ты с ним. Знаешь, какой он? Жизни тебе не даст».

Но в конце концов на путаницу в мыслях бухгалтера, его самоуверенность можно было бы не обращать внимания, если бы тот исподволь не делал попыток привить зятю свою «философию» — ту, против которой он, Забавский, боролся с молодой горячностью, всем своим журналистским и писательским творчеством и считал, что должен бороться всей жизнью.

Было так. Появился в газете его очерк с проложением, в двух номерах. Антон Антонович после ужина, сидя на мягкой софе, в полудремоте просмотрел очерк, не прочитал — только проглядел.

Алесь, выглянув из своей комнаты, с улыбкой наблюдал за этим «чтением». Хотелось услышать мнение тестя. И услышал:

«Ну, и какой гонорарчик отхватишь?»
«Рублей сто».

Антон Антонович задумался, потом заключил:

«Дурные, деньги вам платят».
«Почему дурные?»

Тесть не ответил. А после того как посмотрели программу «Время» и обсудили визит в нашу страну президента Мали (бухгалтер спутал Мали с Сомали, на что Алесь, держа обещание, данное Эльвире, не обратил внимания), Антон Антонович спросил:

«Часто писать можно такие статейки?»

«Писать можно, но печатать... Мало места в газете».

«Если с головой, то написанное можно всегда напечатать».

Алесь, нарушая завет своей жизни в этом доме, со скрытой иронией спросил:

«Каким образом?»

«Гонорары все любят».

Кровь ударила в голову. На что он намекает? На сговор с редактором? Что же это такое? Куда он попал? И, забыв все обещания, зарок, он ответил:

«Уважаемый Антон Антонович, у нас другие нравы, чем в вашем холодильнике».

Старик разозлился, а в злости он становился спокойно-въедливым и, как ни странно, даже остроумным.

«По-моему, ты, писарь, неплохо пригрелся в моем холодильнике».

Алесь был оскорблен. Правда, он сдержался, не сказал тех слов, после которых им вряд ли можно было бы оставаться под одной крышей, — пожалел Эльвиру. Ей же объявил в тот вечер, что им нужно искать квартиру и жить самостоятельно, что он не намерен ни у кого пригреваться.

Она заупрямилась, как никогда до этого: никуда из своего дома не пойдет, это ее дом, она имеет право на часть его. Алесь горячился, доказывал, что это абсурдно, по-мещански — держаться в наше время за дом, который, кстати, все равно скоро будет снесен, поскольку вокруг идет новое строительство. В горячности сказал, что нажитое в их доме — не по заработкам бухгалтера. Она расплакалась: неужели думает, что отец вор? Он тридцать лет гнет спину, опытный бухгалтер, его в министерство приглашают делать годовые отчеты, в другие организации, за это платят, премии выдают, брат работал, мать за огородом ухаживала, и сама она, Эльвира, после школы, где научилась машинописи, по ночам следила глаза, перепечатывая рукописи таких вот, как он.

То ли Эльвира сказала матери о его подозрениях, то ли Антон Антонович подслушивал под дверью, но уже на следующий день Алесь почувствовал враждебность тестя. Однако проявилась она не сразу.

Однажды Алесь вернулся домой поздно, часа в два ночи, — праздновал выход своей первой книги. Эльвира встретила его синяя от ревности и злости: где пропадал? Он научился ее успокаивать — ласками, поцелуями. Но тут его разозлило то, что жена не хотела слушать никаких объяснений, а сигнальный экземпляр книги — радость молодого автора и убедительное свидетельство его задержки — пренебрежительно швырнула в угол. Его это очень обидело. Только что летел на такси как на крыльях, подогретый вином, поздравлениями друзей, надеялся, что Эльвира разделит его счастье, — и вдруг такая встреча. Впервые он не сдержался, бросил жесткие слова. Пригрозил, что если будет так вести себя, он тут же уйдет из «этого мещанского кода». Его угрозы сразу остудили Эльвиру. После примирения ему было стыдно за то, что сорвался. Успокоила мысль, что старики не слышали ничего: с приходом весны, тепла они с Эльвирой перебрались в мансарду, теперь отвечающую его давним мечтам. Но он ошибся. Антон Антонович все слышал: поднялся, наверное, по лестнице следом за ним и подслушивал.

Это поразило больше, чем слова бухгалтера.

Разговор произошел на следующий день, как обычно, за ужином. Антон Антонович долго морщил лоб, сопел, как опившийся конь, прицепился к жене: слишком много нарезает хлеба и ломти толстые, остается сколько, нечего кормить кур белым хлебом.

Алесь понял смысл придирки — предверие к другому разговору, по испуганным глазам тещи и жены видел, что догадка его правильна. Почувствовал, что после слов тестя вряд ли останется в этом доме, и внутренне собрался, приказал себе: не сорваться, расстаться достойно. Чтобы разрядить атмосферу за столом, попытал-

ся шутить. Но Антон Антонович прервал анекдот вопросом в лоб:

«И сколько ты промочил вчера?»

«Хорошее у вас слово, Антон Антонович,— «промочил!» Емкое».

«Ты мне зубы не заговаривай».

Промочил он много, за столом собралось человек двенадцать, и пировали по-гусарски: коньяк, шампанское. Но из чувства протеста против такого допроса он удвоил сумму:

«Триста рублей».

«Сколько? — У бухгалтера округлились глаза и, кажется, даже перехватило дыхание, осип голос. Он повернулся к жене и дочери, будто не веря своим ушам: — Слышали?»

Они молчали. Алесю почему-то стало смешно, но он стер с губ улыбку ладонью. Тесть и это заметил:

«Погу-у-лял! Видите? Еще и сегодня облизуется. А тебе, дочь, сколько он выдал из своих гонораров?»

«Папа!» — попросила Эльвира.

«Что вас так волнуют мои гонорары?» — спросил Алесь.

«Твой? — прошипел тесть. — Ты мне отдай шестьдесят рублей за электричество, которое сжег, греясь у камина... в моем холодильнике. У меня за три года столько не нагорало!»

Алесь подумал со странным спокойствием: «Вывернул свое нутро! Что ж: хвала искренности!»

«Я вам заплачу. За все».

«Папа!» — крикнула Эльвира.

«Антон, Антон,— уговаривала мужа теща. — Вот разошелся, дуралей!»

Но тот действительно разошелся.

«Играешь, сукин сын, в интеллигента, а с женой говоришь, как хам! Что она, ноги твои должна целовать за то, что целую ночь пьянствуешь с курвами?!»

Алесь чувствовал, что все в нем напряглось; он корчился, как от боли, в животе и правда резало, словно ел толченое стекло.

«Дорогой твой зятек,— накинулся Антон Антонович на жену,— тестя казнокрадом считает. Слышала? Живет в моем доме, пьет, ест мое, и потому, что у нас на столе бывает колбаса, а в твоём шкафу — лишняя тряпка, воображает, что я залезаю в холодильник. Так я тебе скажу, господин партийный писарь... залезаю, залезаю в холодильник!.. Колбаса у тебя на тарелке из холодильника, а ты ее жрешь, уплетаешь за обе щеки. Напиши про меня фельетон! Гонорар получишь!»

Алесь молча и осторожно, как больной, поднялся и вышел в коридор, откуда лестница вела в мансарду.

Внизу разразился скандал. Видимо, возмущен-

ный его уходом, Антон Антонович орал на весь дом. Ему глухо возражали Эльвира, ее мать. Несогласие женщин довело старого самодура до бешенства. Загрели стулья. Зазвенело разбитое стекло. Заголосила теща.

Эльвира поднялась к нему красная, с раздутыми ноздрями, решительная и воинственная.

«Вот разошелся, старый дурак. У него это бывает. Так вот он выгнал брата. Но я ему не Слава. Меня он не выгонит! Ты обиделся? Где-то я читала: на стариков, как и на детей, обижаться нельзя. Им просто нужно указать их место».

Забавский потом никак не мог понять, почему он остался в том доме на ночь. Боялся обидеть Эльвиру? Или не хотел давать бухгалтеру новой зацепки, чтобы обливать его грязью, обвинить во всяческих гнусностях?

На следующий день в конце работы он зашел к Эльвире в редакцию, сказал, что нашел временное жилье (приятель уехал в отпуск) и они должны пожить там, пока не найдут постоянную квартиру.

Эльвира испугалась. Уговаривала, уверяла, что отец сам потом переживает, что он так же переживал и ссору с сыном и это хитро использовала Алла, взяла власть над стариком и бесстыдно тянет до сих пор с него деньги, как компенсацию. Доказывала, что между своими чего не бывает, все, мол, ссорятся и все мирятся? Неужели он, писатель, не понимает жизни?

Не хотелось говорить ей, что ссоры бывают разные. У него есть старший брат и старшая сестра. И теперь с матерью живет невестка, какое-то время жил зять, тракторист, пока строил свой дом. Жили тогда бедно, тяжело. Отец, инвалид войны, тоже нелегким человеком был. Мог иногда цыкнуть на детей. Но никого он так не оскорблял, как оскорбил его бухгалтер. О своем отношении к тестю он не стал говорить Эльвире, сказал только одно: «Не нужно, Вира, больше я в тот дом не вернусь».

Сказал мягко, но так, что она замолчала и послушно пошла за ним в комнату друга. Это была маленькая комнатка в общей трехкомнатной квартире, по-холостяцки неуютная, никак не обставленная: железная, как в больнице, кровать, неуклюжий конторский стол, единственный шаткий стул.

Эльвира боялась сесть на эту кровать, брезгливо дотрагивалась до вещей.

Алесь затеял уборку. Тогда она исчезла и немало погодя явилась с новыми простынями и наволочками — купила в соседнем магазине. Вдобавок их неприветливо, подозрительно встретила соседка. Алесь будто шутя показал ей паспорт, чтобы убедилась: они муж и жена. Соседка смутилась и подобрела, а Эльвира оскорбилась и возненавидела ее, биотки этой ненависти, савер-

ное, сразу дошли до той, и они смотрели друг на друга волчицами.

Алесь ожидал, что на следующий день Эльвира привезет хотя бы постель — подушку, одеяло. Не привезла. А потом редактор послал его в командировку. Вернувшись, он не нашел Эльвиры в той комнате. Назавтра они встретились в Ботаническом саду, чтобы поговорить. С неожиданной злой решительностью Эльвира заявила, что в собачью конуру, найденную им, она больше ни за что не пойдет, что у нее есть свой дом, если он любит ее, он должен вернуться туда. «Отец согласен просить у тебя прощения... если ты хочешь!»

«Нет, я не хочу, Вира, не хочу. Я перестану уважать себя, если приму его извинение и вернусь в его дом, я знаю, что это кончится еще большим унижением».

Словом, переговоры были долгими, тяжелыми и... безрезультатными.

Потом они встретились еще несколько раз, без взаимных упреков; изредка уезжали в лес, хотя он видел, что эта словно краденая любовь оскорбляет Эльвиру, да и самому ему не очень было приятно. Близость не давала прежней радости. Такая жизнь, как ржавчина, разъедала чувство.

А потом в партбюро редакции пришла анонимка: молодой журналист Забавский издевается над женой, бросил ее, не хочет с ней жить. Богатко ухватился за анонимку обеими руками. Пришлось Алесю перед посторонними людьми, большинство из которых и не знало Эльвиру, давать объяснения, рассказывать о своих отношениях с женой, с тестем. Конечно, говорить о своих подозрениях, что Антон Антонович запускает руки в холодильник, он не мог — не проверено, не доказано, мало ли что тот в запальчивости мог крикнуть. Поэтому уход его из дома тестя кое-кому показался не очень убедительным. Решение было, как в большинстве таких случаев: обязать члена партии Забавского наладить свою семейную жизнь, просить главного редактора ходатайствовать перед исполкомом о выделении молодой семье однокомнатной квартиры. Ходатайств таких избыток, а вот квартир не хватает.

Пока Алесь не видел анонимки, он был уверен, что сочинили ее или Антон Антонович, или Алла. А увидел — усомнился в их авторстве: так написать они не могли, так написать могла только сама Эльвира.

В очень нелегком разговоре с ней после партбюро, загнанный в угол безысходностью положения и ее нелепым упрямством, он имел неосторожность бросить ей в лицо свои подозрения. Конечно, это было жестоко. Но разве она поступила с ним не жестоко?

Через неделю, в течение которой они ни разу не встретились, Эльвира нмитировала самоубий-

ство — проглотила горсть снотворных таблеток. Это случилось в воскресенье. В понедельник Богатко встретил его злорадным сообщением: «Твоя жена отравилась». Это ударило в сердце, испугало больше, чем телеграмма о смерти отца, который долго болел и весть не была такой неожиданной; конечно, было очень больно, но страха такого не было. Он растерялся, не зная, что делать, у кого узнать подробности. Кинулся было ловить такси, чтобы ехать на Громадскую, но по дороге вспомнил, что в соседнем доме — ее редакция и там почти все знакомы ему.

Вечером он навестил Эльвиру в больнице. Она лежала в палате, где было человек семь других женщин, разного возраста. Лежала бледная, осунувшаяся, с посиневшими губами, равнодушная ко всему окружающему. Прихода его испугалась или стеснялась — все время отводила глаза в сторону. И женщины настроились к нему враждебно, кидали такие реплики, что он не знал, куда деться. Возможно, Эльвире было стыдно, что она так рассказала о нем. И жалость к ней, с которой шел в больницу, сменилась злобой, презрением. Испарились все добрые чувства. Он понял, что жены у него нет, что уже ни при каких условиях, ни в чужой, ни в своей квартире, он жить с ней не сможет, что ему совсем не хочется, чтобы его сын был ее сыном, а ведь когда-то настойчиво уговаривал ее родить ему сына; хорошо, что не согласилась, заявила, что ей хочется еще погулять. Пускай теперь гуляет одна!

С грустным юмором подумал, что джек-лондонский эксперимент не удался.

Наверное, Эльвира интуитивно ощутила эту перемену в нем, потому что вдруг заплакала. Тогда женщины грубо вытолкнули его из палаты.

Забавский пришел к главному редактору, человеку умному, отзывчивому, и рассказал ему больше, чем на партбюро, — все о тесте и о том, что почувствовал в больнице.

Редактор сказал:

«Я тебя, Алесь, понимаю. И верю тебе. Но защищать тебя будет нелегко. Богатко и другие готовят громкое дело. Напортить они могут крепко. Помочь тебе я могу только одним: освободить от работы по твоему собственному желанию».

С болью пришлось оставить редакцию.

Разводились они через полгода, заявление в суд написала Эльвира. Но на суде на вопрос судьи: «Вы что, разочаровались в вашем муже?» — вдруг ответила:

«Нет, я не разочаровалась».

Алесь даже вздрогнул. Выходит, не такая она односложная, есть у нее что-то за душой.

Судья уговаривала их помириться. Алесь молчал. Эльвира настойчиво помирится развести.

Они вместе выходили из зала. В проходе

Эльвира, к удивлению ротозеев, любящих послушать подобные дела, взяла его под руку, сконфуженно попросила: «Не вспоминай меня плохо»:

В коридоре их ожидала Алла, тоже присутствовавшая на суде; к Алесю она проявила полное пренебрежение, не ответила даже на приветственный кивок. С Аллой был элегантно одетый мужчина из тех баловней, возраст которых на глаз нелегко определить: такому, как хорошему артисту на сцене, в зависимости от ситуации, освещения, можно дать лет двадцать пять, хотя в действительности уже за сорок. По тому, как он подошел к Эльвире, Алесь понял, что это не родственник, не любитель судебных сюжетов, не Аллин знакомый, что это — завтрашний Эльвин муж.

Забавскому стало и смешно и грустно. С профессиональным интересом хотелось тут же спросить: кто он, этот новый? Что его привело на суд? Не желание ли услышать, что скажет о женщине ее первый муж? Порадовался за себя и за Эльвиру: разочаровали они любителей «клубнички», оба вели себя сдержанно, спокойно. Выходит, Эльвира верила в него, раз отважилась привести сюда этого, нового? Но ему почему-то стало жаль бывшей жены, не верилось в искренность ее смеха: идя по коридору следом за ним, они, все трое, говорили весело, громко смеялись, словно демонстрируя радость, что наконец-то расстались с ним, освободились от него.

У него же особенной радости не было. Полная свобода — от работы, от семьи — не давала радости.

22

Работали в лесу. Помогали лесничеству. После того как закончили все на поле. Давняя это практика у Астаповича. Для добранцев, лес с каких еще времен, чуть не с доисторических, второй кормилец, а когда-то даже первым был, не случайно славятся здесь целые династии знаменитых на всю округу бондарей. Да и те, что не бондарничали, не гнули полозья, только в лесу и могли заработать копейку: срубить ночью парочку-другую берез, распилить, расколоть и отвезти дрова в ближайшее местечко, продать по знакомству. Теперь, конечно, в Добранке лес не на первом месте, но отапливались все равно дровами, да и доска, шалевка или гонт в хозяйстве всем требуются.

По инициативе Астаповича заключили долгосрочное соглашение с лесхозом: осенью и зимой вырубали соседние лесничества, там всегда не хватало рабочей силы, помогали выполнять планы по заготовке древесины, по санитарным вырубкам и посадкам.

После летних совхозных заработков в лесничество, может, и не очень ринулись бы, деньги не ахти какие, но за работу эту получали сверхлимитный материал для Добранки и, что совсем немало важно, дрова рабочим. Поэтому в лес шли охотно, споро. А тем, кто не мог орудовать ни пилой, ни топором, тем, в чьих домах не было мужчин, начислялся определенный процент. Дрова им доставляли на дом по специальному расписанию.

Иван не представлял жизни своей без леса. В лесу родился, считай, в лесу вырос, и в самую страшную годину приютил его лес, спас.

Валя, еще когда в десятом классе училась, посоветовала отцу достать и прочитывать книгу Леонида Леонова «Русский лес».

Ивану книга эта показалась тяжеловатой, читать ее было для него трудом, а не отдыхом. Но лекцию Вихрова о лесе он прямо-таки проштудировал, а отдельные места наизусть запомнил и потом лесникам читал, чтобы укорить за бесхозяйственность, за то, что не берегут лес, не любят понастоящему.

Вчера вечером ему захотелось снова проглядеть эту книгу. Но кто-то уже успел, «увел» ее из дома, воспользовался Корнеевой добротой.

Трудились, как определил Щерба, широким фронтом: в ближнем квартале прочищали молодой сосняк, а поодаль шла санитарная вырубка в старом бору, с сосен которого добывали живицу. Не каждое дерево такую операцию выдержит, некоторые заболевают серянкой. И хозяйственный лесничий спешит их убрать поскорее, чтобы не дать приюта рыжему пилильщику. Заодно снимали и кое-какие лиственные — березы, осины.

Иван работал в старом бору. Пилить в тот день не входило в его обязанности, он должен был отвозить дрова людям, и ЗИЛ дождался уже на просеке. Но настроение и руки рвались к работе. Кроме того, бензопилу поручили двум парнишкам, которые как будто и освоили технику, но одного этого не хватало. У деревьев ведь свой нор, с которым не считаться нельзя, можно таких дел наворотить, беды наделать. Уметь надо положить березу или осину так, чтобы не зависла, не ободрала рядом деревья, а самое главное — не крутанулась, не склонилась в другую сторону, тогда спасибо скажи: в ножки ей поклонись, если целый останешься.

— Здесь, в лесу, ворон не считай, с деревом, которое должно упасть, не шути, остерегайся, — обучал парней Иван и одновременно отбирал березы и сосновый сухостой, который можно пустить в дело. Первая машина должна в село пойти с самыми лучшими дровами.

День выдался хоть и облачный, но сухой, удивительно тихий, бронзовые затверделые листья на старых дубах, те, что остаются зимовать и, кажется, дрожат, позванивают там наверху, сейчас висели неподвижно, не раскачивались верхушки

даже самых высоких сосен. Только под ногами шуршало, шелестело. С неделю назад выпал уже первый снег, в поле он растаял сразу, а тут, в лесу, еще оставался. Легкий морозец приторочил, накрепко припаял к снежку опавшие листья, и эта снежко-лиственная корка мягко похрустывала под ногами, раскалывалась, искрилась.

Пока не зазвенели пилы, тишину леса нарушало только стрекотание соек. Добранцы удивлялись такому множеству их в одном месте. Обычно те предпочитают молодой сосняк. Человеческие голоса и скрежет пилы спугнули их, они снялись, улетели. Только одна сорока осталась, любопытная и назойливая. Она перелетала с дерева на дерево следом за лесорубами. Даже обнаглела так, что садилась иногда на ту сосну, которую пилили, добродушно следила за тем, что делают люди. А вот на трактор, который трелевал бревна на просеке, почему-то разозлилась: летала над ним, хлопала крыльями, только что не плевалась. Это забавляло всех. На тракторе работал Щерба — машина его была в капитальном ремонте. Он объяснял на полном серьезе: сорока эта — та самая воровка, что поселилась в его дворе, стащила однажды и выпила бутылку «чернил», которую он припрятал от Любы. После этого его отношения с сорокой стали почти такими же сложными, как и с женой.

Неутомимый выдумщик, «заливала», он веселил друзей, показывал сороке кукиш, сравнивал ее со своей тещей: сорока стрекотала без устали, как и сварливая мать Любина не закрывала рта целый день. Щерба такого ей желал вслух, сороке, что хлопцы надрывали себе животы.

Иван тоже смеялся вместе с ними. Давно уже не было так спокойно у него, мирно на душе, так светло. Срубая ветки с поваленной сосны, жадно вдыхая смолистый настой хвои, он подумал о Вале, о Забавском. Вчера Александр Петрович пришел к ним и целый вечер рассказывал — ему, Тасе и Корнею — о себе. Прямо хоть роман пиши!

Сначала Иван отнесся к приходу его, к «сватовству» — хотя Тася уже несколько дней настойчиво готовила к этому — иронически. Но принял гостя радушно. Слушал его и думал про себя: «Давай выкладывай, язык у тебя подвешен. Но не надейся, что развешу уши, как Тася». Мысленно упрекал жену, так уж зачарованно смотрит в рот «жениху», но втайне и любовался трепетной взволнованностью ее — пылала вся, даже дыхание перехватило. Когда-то он, Иван, призвав на подмогу Качанка, тогдашнего секретаря сельсовета, приходил к ней свататься. Тася не трепыхалась так, смеялась, пугала: должна еще подумать, решить окончательно. А за дочь, которая сейчас наверняка сбивает каблучки где-нибудь в Могилеве, отплясывает, издрожалась так, что до утра уснуть не могла.

Но вчера произошло что-то и с ним самим,

В какой-то момент Забавский разрушил преграду, отделявшую парторга, человека с университетским образованием, писателя, от него, шофера совхозного. Александр Петрович стал своим, деревенским парнем, как и все добранцы, независимо от того, кто из них что закончил, какую должность занимал. Рассеялось оно, Иваново недоверие. Грустную искреннюю исповедь Забавского, рассказ о женитьбе его выслушал серьезно, с сочувствием.

Ивану понравилось, что ни одного плохого слова не сказал о своей бывшей жене, наоборот, себя винил: не хватило у него силы воли, умения, выдержки оторвать ее от этих людей, от родительского дома, от тряпок, от удобств, за которые она держалась и без которых не мыслила себе жизни. Ивану даже стало жалко эту незнакомую Эльвиру, Варьку, как называла ее золовка. Горд был, что его дети не такие, что его жизнь не похожа на жизнь того ловкача бухгалтера, отца Эльвириного. Не нужны Вале ни шмотки такие, ни добытые нечестным путем блага. Валя — как мать; Тася пошла за него, за тракториста, сироту, у которого и портков приличных не было, пошла в хату, где трюм повернуться негде было. И полюбит Валя тоже, как и мать, на всю жизнь. Впервые, слушая Александра Петровича, Иван понял, что было бы непростительным самодурством, если бы он уперся, стал у дочери на пути, помешал ее счастью.

Правда, какое-то время еще противился где-то внутри, боясь уже самого себя, боясь, что скажет не то, ожидал, когда парторг приступит наконец к делу. Но Забавский, тактичный человек, не стал говорить ни о чем таком — ни сватов засылать, ни свататься. Это тоже понравилось Ивану, хотя и разочаровало Тасю — та настроила себя на большее.

Они побеседовали о совхозных делах. Иван осторожно обходил одну только тему — Шишку. Александр Петрович почувствовал это и тоже не сказал ничего, что могло причинить Ивану боль, напомнить. Под конец их трезвого застолья — выпили за весь вечер бутылку вина — Тася поняла, что произошло самое важное: они узнали друг друга, сблизились. Поспокойнее стала, повеселела.

А потом ночью, будто сватовство уже состоялось и все договорено, прикидывала заботливо, что необходимо Вале купить, хотя о свадьбе и не поминала больше.

Иван понимал эту наивную хитрость, боязнь, чтобы неудачным словом не залил огонек ее радости, улыбался в темноте, укорил ласково: «Да уснешь ты, наконец, заводная! Нету на тебя угомону».

...Деревья, предназначенные на дрова, березы и осины, лежали, еще не распиленные, только очищенные от веток. Тут, на просеке, их должны были раз-

делить на метровки, сложить в штабеля для замера.

Иван проследил за тем, чтобы к первой машине, которую предстояло ему вести, Федька подтащил только березы-сухостои. Тот охотно выполнил Иванову просьбу, но, как всегда, ворчал:

— Это ты печешься для той заразы, что меня критикует? Я бы ей привез дрова, заговела бы она с ними! Плакали бы ее дрова синими слезами. И она вместе с ними.

«Зараза» — Ольга Даниленко, из тех, что не проходят мимо никаких беспорядков, никому поблажки не дают. Сам Астапович ее побаивался. А она попросила Ивана: «Корнеевич, постарайся не гнилье привезти и не сырые».

Вот Иван и постарался как мог.

Замеряли дрова, да еще когда не успевали сложить поленницу, на глазок. Лесотехник целиком доверял своим. Добранцев, захоти они уволкнуть лишнее, не устережешь, хоть полностью всю лесную охрану выставь. А если кто и прихватит себе с гаком, все равно лесников не подведет; в этом деле вековые правила — люди жили лесом, поэтому даже то, что не положено, сочетали со странной бережливостью к его дарам: ни один самый заядлый порубщик здешний не принесет того вреда, который может причинить иной горожанин из пустой забавы, просто так, лишь бы нашкодить.

Иван наложил березовых кругляков, как говорится, не жалея рессор.

По лесной дороге с выбоинами и рытвинами ехал тихо — щадил ходовую часть; машина — как человек: не перегружай ее, не дергай, и будет она служить долго, надежно.

Он хорошо пел и любил, когда соберутся друзья или дома, вместе с Валец, затянуть песню. Но чаще всего пел за рулем, один. С песней и дорога короче, и ко сну не клонит. Много знал песен — русских, белорусских, украинских. Просил Валю не забывать привозить ему новые из города. Но последние месяцы не до песен было. Гостей не звали, а сон... не только в кабине днем и ночью в постели не приходил — отгоняли его черные мысли.

А тут вдруг словил себя на том, что напевает:

Зайшло сонца за аконца,
За зялены сад.
Цалуюцца, мілуюцца,
А хто каму рад...

И хорошо стало оттого, что петь захотелось, и радостно за ту Ганулечку, что «как розовый цвет», и уж если хочет ее парень взять за себя, так чтобы на целый век.

Выехал из леса в сосняк, посаженный лет семнадцать назад, он же сам и прокладывал на тракторе борозды. Сосняк этот явно опровергал утверждение, что лес растет медленно: здесь, на бывших песках, которые Астапович постарался списать и

передать лесничеству, вымахал он на удивление быстро, незаметно, как чужие дети растут. Но сосны еще не дотянулись корнями до дороги, и была она, подмерзшая, припорошенная снежком, ровная, как стрела.

Иван дал волю машине, а она, казалось, угадывала его желания: разгонялась или, наоборот, замедляла ход до того, как нажимал на педаль акселератора или на тормоз.

Блеснула впереди лужица с раздавленным ледком, Иван вроде бы и мускулом не пошевелил, а машина осторожно, будто девушка на высоких каблучках, прошла по лужице, как по мостику, и, фыркнув, словно нахлебавшийся воды конь, рванула вперед.

Сосняк расступился, в ветровое стекло полоснул свет, открылось небо, высокое, просторное, машина выскочила в поле. Их, добранское, поле; длинный треугольник, стиснутый лесом. Когда-то самая бедная была земля, потому и хотел Астапович ее списать всю, но не позволили, а сейчас она, земля эта, унавоженная, обработанная, под охраной леса щедро отплачивает, не боится ни суховея, налетающих с юга, ни полесских ливней.

Поле было засеяно озимыми, снежок сошел здесь уже почти весь, и рожь ярко, по-весеннему зеленела, даже низко нависшая туча отсвечивала зеленым.

На повороте показалась одинокая фигура. Прохожий двигался в том же направлении, к шоссе; со спины видно, немолодой, с вещевым мешком за спутуленными плечами. Иван подумал, что кто-то из хуторянцев. Только в их лесную небольшую деревеньку, «бесперспективную», как ее называют в официальных документах, не ходит автобус, и, если не встретится тебе попутная машина, придется топтать все восемь километров; раньше это за расстояние не считали, но теперь люди разучились ходить. Иван сердился на молодых, обленились, километр какой-то пройти всего, а они «голосуют». Стариков же всегда подвозил, вообще подсаживал людей, а пассажиры из благодарности чего только не рассказывают. И тут обрадовался — подбросит человека, облегчит ему дорогу. А если еще и хуторянский... К этой деревне у него особое чувство — хуторяны похоронили его отца.

Иван прибавил газ. Прохожий, услышав шум машины, отступил в сторону, на озимь, остановился. И вдруг Иван узнал Шишку. От неожиданности тормознул так резко, что березовый кругляк с грохотом бросило на кабину и дальше, на капот, чуть не разбило ветровое стекло. Дрова загремели, обрушились, наверное. Но тут же Иван сообразил: незачем останавливаться, как можно быстрее надо проскочить мимо этого... Но случилось неожиданное: Шишка побежал по полю, по ржи к лесу. И тогда непонятная сила заставила Ивана развернуть резко машину — не одно полено

вылетело из кузова — и погнать ее вслед за полицаем. Почему он сделал это, не мог объяснить потом ни себе, ни Тасе. То ли злость охватила, что топчет, поганит Шишка своими ножищами их хлеб, то ли трусу всегда охота по загравку дать, напугать еще больше.

Тяжело нагруженная машина, приминая тоненькую корку смерзшейся земли, забуксовала, завyla натужно. Все равно догнал бы через сотню метров. Но проехал всего каких-нибудь тридцать, и в голову ударило другое — до звона в ушах, — трезвое: что это он? Разве может убить человека, даже если этот человек — Шишка?

Иван выключил мотор и в изнеможении, в холодном поту откинулся на сиденье, чувствуя толчки сердца в каждой частице тела, в руках и ногах, сначала похолодевших, а потом загоревшихся, как от огня.

А Шишка все бежал. Без оглядки. Остановился на опушке и... погрозил оттуда кулаком.

Поле было заснеженное, все в высоких колких сугробах, вершины их курились белым дымком, снежной пылью, и пыль эта казалась не белой, а синей-синей, такой синевы, пожалуй, не увидишь ни зимой, ни летом, ни при туманном рассвете, ни когда опускаются сумерки. Иван зорко всматривается вдаль, где-то там в синеве среди снежных дюн то возникает на белом бугре, то исчезает, проваливается в снег одинокая маленькая фигурка. Это Анечка, она идет зимой, по снежной белизне, в одной сорочке, босая, без плагка, издалека видно, как ветер безжалостно рвет, отбрасывает в сторону ее косички. Он должен догнать ее, спасти, посадить в кабину, завернуть в кожух.

Иван знает: кроме холода есть еще другая смертельная опасность — она, Анечка, идет туда, где над снежной наметью торчат верхушки обгорелых тополей, где пылала их хата и где, он это знает точно, ее поджидают Лапай и Шишка. Быстрее догнать! Пока не поздно. Быстрее! Быстрее! Он лихорадочно переключает скорости, нажимает на педаль... Посвист ветра, дикий рев мотора. Колеса крутятся, ажно звенят, но... вязнут в снегу, сухом, как песок пустыни, и машина буксует, вместе со снегом отползает назад. Ветер с бешеной силой бьется в ветровое стекло, врывается в кабину, острые снежинки засыпают щиток приборов.

«Аня! Анечка! Не ходи туда! Не ходи! Люди! Где вы? Остановите ее! Остановите!»

Иван рыдает от бессилия, от отчаяния. Нет! На машине не догнать ее! Тогда он выскакивает, кидается вслед за девочкой. Ноги скользят на месте, а ветер относит назад голос. Маленькая фигурка вдали скрывается. Он вдруг догадывается, что ему мешают валенки, сбрасывает их и с удив-

лением чувствует, что снег горячий. Радует, что может теперь бежать, и снова видит там, впереди, сестру.

«Анечка!»

Девочка оглянулась. Остановилась. Наверно, услышала. Какое счастье! Ему все жарче, он задыхается, ноги снова скользят по склону сугроба, он сползает назад, под откос и снова теряет из виду сестру. Это все потому, что на нем кожух. Сбрасывает и его. И тогда ветер, как друг, подхватывает его, и он, невесомый, летит, не касаясь ногами горячего снега, добрый ветер студит ему ноги. Он догоняет сестру, хватая ее на руки, усаждается оттого, что она такая холодная, как ледышка. Прижимает ее к себе, хочет укрыть пиджаком, но нет на нем пиджака, не помнит, где и когда скинул его. На нем только белая исподняя рубашка. Он разрывает ее, чтобы завернуть сестренку. «Анечка! Ты замерзла? Куда же ты идешь! Нельзя туда!»

Но ему отвечает незнакомый, недетский голос:

«Я не Анечка, я та твоя сестра, что не родилась. Меня сожгли...»

И он с ужасом видит, что в руках у него не живой ребенок, а головешка, как на пожарище; она рассыпается на угольки, угольки, темнея на лету, падают в снег, и снег чернеет. Чернеет и... тает. И уплывает куда-то густая черная вода...

Иван закричал, проснулся. Не сразу сообразил, где он, что с ним, пока не услышал Тасин голос, не ощутил на лбу ее руку...

— Ваня! Что тебе приснилось? Ты так кричал. И мокрый весь. Заболел?

Он не ответил. Тяжело дышал. Сказал потом:

— Ты знаешь... я думаю... мне стало бы легче, если бы я убил его.

Тася села на кровати, распущенные волосы от резкого движения упали ей на лицо, вцепилась пальцами в плечо мужу, смяла сорочку, оторвала его от подушки.

— О чем ты говоришь? О чем думаешь? Выбрось это из головы! Выбрось! Хочешь загубить себя... нас, жизнь нашу. Да пусть он сдыхает сам.

— Такие не сдыхают.

— Не думай об этом, Ванечка, прошу тебя.

Тася заплакала.

Ивану снова стало трудно дышать. Как только что во сне.

Завтракал он молча, нехотя ковыряя вилкой жареную картошку, будто с похмелья, жадно выпил залпом кружку густой простокваши.

Тася сидела напротив, не ела ничего, хотя тарелка стояла перед ней. Подперла рукой щеку, смотрела на Ивана, будто насмотреться хотела перед долгой разлукой. О ночном разговоре ни

он, ни она не упоминали, боялись тронуть. Только сядя за стол, она спросила:

— Ты куда сегодня?

— На мясокомбинат. Нужно будет пристроить к кузову кошару. Бычков повезем. Астапович обещал: введем комплекс, будут специальные машины.

Ивана смутил пристальный взгляд жены.

— Почему не ешь?

— После. Ты на меня не смотри. Сам почему не ешь? Опять до вечера в очереди проторчите.

— Там у них столовка хорошая. Суп с требухой — шесть копеек всего. Один из Нивок с полевым термосом приехал, супа набрал на всю родню. А простоять можем. Качанок, когда ездил толкачом, без очереди сдавал. Все по высшей категории гнал. Теперь забастовал. Все, говорит, святые, один Яшка грешный, потому как ради вас старался. Сейчас по закону жить буду. Только получите вы от его закона — во! И показал нам дулю. Хлопцы припомнят еще ему эту фигу.

Ивану хотелось, чтобы Тася засмеялась, но она осудила Яшку односложно:

— Дурак.

— По закону ему муторно жить. Скучно без мухлевки.

У двери Тася окликнула:

— Ваня! — и подошла к нему.

Показалось, что хочет поцеловать. Раньше всегда целовала, провожая на работу. Федор часто заходил за ним, чтобы вместе идти на машинный двор, бурчал завистливо: «Все не налижешься, ненасытная». Тася смеялась, а Иван потом за рулем вспоминал этот ее счастливый смех.

Но она не поцеловала его. Аккуратно закутала шею шарфиком, как делала это еще недавно сыну, когда тот мчался на пруд, на каток.

За ночь крепко подморозило. В воздухе летали, кружились редкие снежинки.словно небо высылало разведчиков: проследить, все ли там, на земле, в порядке, можно ли укрыть ее снегом, наслать настоящую зиму. Но в сумраке рассвета эти разведчики не все могли еще высмотреть.

Иван подставил разгоряченное лицо под крупные звездочки-снежинки, приятно было. В саду бросил взгляд на голые, от этого поредевшие, словно отлученные друг от друга яблони, на сиротливую грушу у соседнего забора, и враз остановило его что-то. Вернулся назад, во двор. Помедлил, потом вышел на улицу и зашагал широко к конторе.

Молодые совхозные спецы, критиканы и скептики, признавая авторитет директора, не упускали случая посплетничать на его счет: старика,

мол, легче найти в Гомеле или в Минске, иногда, правда, еще изловить на комплексе, чем застать в его кабинете, в конторе. Федор Тимофеевич знал об этих пересудах и не был в претензии: пускай себе считают, что и без него сумеют неплохо вести хозяйство. Кто умный и талантливый, от этого станет самостоятельнее, а бестолочь, карьеристики быстрее откроются. Добранны так не думали, поскольку директора своего, когда нужно было им, всегда находили. Двадцать лет существовал нерушимый порядок: с семи до восьми утра, до начала рабочего дня, Астапович принимал по личным делам, а потом начинались производственные совещания, летучки, пятиминутки, которые в последние годы он нередко поручал помощникам.

По производственным вопросам люди обращались к главному агроному, главному инженеру, к Качанку. По личным — только к нему, к Астаповичу.

Кстати, эти ежедневные доверительные беседы давали директору широкую и точную информацию о событиях во всех семи селах и поселках совхозных. Нет, оказывается, ничего, что так или иначе не связано было бы с делами хозяйства, не влияло на них плохо или хорошо — то ли свадьба или рождение ребенка, то ли похороны, болезни, ссора между соседями, просьба помочь купить корову, мотоцикл, отремонтировать дом, повлиять на мужа... Каждый при этом мог подбросить идейку, из которой, как из семечка, прорастет дерево: решения, которые в итоге доводилось ему принимать, касались часто уже не одного человека, а многих, даже всего села.

В приемной секретарши еще не было, но ожидало уже человек пять посетителей, все женщины. Иван поздоровался, сел на стул рядом со знакомой из Дунаевки. Само собой установилось: до восьми часов держись общей очереди, кто бы ты ни был, разве что только помощники директора имели право пройти прямо к нему. Никто из женщин не упрекнул бы Ивана, зайдя тот без очереди, но и самому нужно совесть иметь.

Соседка попросила его:

— Корнеевич, замолви словечко перед директором. Дочь с зятем вернулись с этого БАМа, а Тимофеевич не берет его на работу: дезертиры, говорит, строек коммунизма не нужны нам. А его ж я их перетянула. Как умер мой Атрох, не могу жить одна, поверь. Такая тоска, хоть вешайся. Зять — строитель, в Гомеле его за милую душу ухватят, да заберет он с собой Надьку, и снова я останусь одна-одинешенька.

— А кто он, твой зять, киргиз, что ли? — заинтересовалась Настя Федорцова из Добранки.

— Башкир.

— Хороший человек? — спросила Кулина Гузырева, Щербина теща. Иван вспомнил, что она ходит молиться к Шишке, содрогнулся. Опять,

наверно, старая кочерга пришла жаловаться на Федора.

— Очень хороший. Не пьет, не курит. И Надьку любит.

— Только не нашего бога,— вздохнула Кулина.

— Теперь, тетка, у всех один бог,— со смешком ответила Настя.

Иван подумал, что Астапович зря не берет хорошего работника, что подумает этот башкир о них, белорусах? С БАМа его, конечно, жена умыкнула.

«Нужно сказать Тимофеевичу».

В приемную вбежал Яшка Качанок. Глянул на женщин, свистнул.

— Сколько вас на одного старого человека! Грехи он вам не отпустит, не кайтесь. — Ивану: — А ты чего сидишь?

— Дело есть.

— Так пойдем! Кукушек этих не перекукуешь. Нам с тобой некогда рассиживаться. Пошли. Пошли!

Иван не тронулся с места. Но его подбодрили, подтолкнули сами женщины:

— Идите, Корнеевич, на нас не смотрите.

Астапович не восседал за своим столом, который называли министерским. Так окрестила его уборщица, старая Кравчиха, когда только привезли с фабрики: «Ой, Тимофеевич! Это ж министерский стол! Легче полконторы убрать, чем с него пыль стереть». Стол блестел, хоть смотришь в него, как в зеркало, но старуха до сих пор перед ним робела.

Директор расположился в кресле возле стола, напротив старого Копытка, который больше притворялся глухим, чем был таковым на самом деле.

Иван, да и Качанок знали, зачем пришел дед в контору. Не первый раз приходит. Хата Копытка стояла так, что закрывала фасад новой школы, не давала расширять пришкольный участок. Вот и решили перенести хату в другое место, а расходы возместить за счет района. Дед смекнул, какой выгодой это может обернуться для него. Зная, что Астапович заинтересован в переносе, старик уже месяца два торговался с ним. Это была игра, забавлявшая все село. Астапович не жалел ни приусадебных участков, которых домогался Копыток, меняя свои требования при каждой встрече, ни денег, убедил бы район или нашел бы сотню-другую в совхозе для доплаты, но не мог допустить, чтобы Копыток, зазнайка и пустомеля, хвалился, что перехитрил самого директора.

— А грушку во что вы, Тимофеевич, оцениваете?

— Прокоп Леонович! — кричал Астапович в ухо, подставленное Копытком. — Неужели не можете подарить школе одну грушу? Ваши же внуки учатся.

— Если бы подарить, а то завуч срубить ее обещался, мешают она им.

— Хорошо, Прокоп Леонович, нажнем вам десятку за нее.

Старик замахал руками, осуждающе засмеялся.

— Что это вы, Тимофеевич? Такой хозяин и за эдакую грушу десятку! На ней одиннадцать пудов груш было. А почему нынче беры на базаре? Вы не покупали. У вас своя выросла. А кто вам прищепил?

Качанок толкнул Ивана в бок.

— Во, хапуга!

Копыток услышал, что шепнул Яков, сразу огрызнулся:

— Я свое хапаю, Яшка. Не чужое. У профсоюза не прошу.

Качанок не переносил, когда его называли Яшкой, и вообще считал, что с языкатым дедом лучше не связываться, будь он неладен с его грушами. Пойдет трепать по всему селу.

Повернулся к Ивану, сообщил доверительно:

— Рекомендую тебя на председателя товарищеского суда.

— Меня? Почему это меня?

— А кого же еще? Кто у нас самый честный человек и работник? Ты! Коржов просится освободить, на пенсию идет.

— Кто это рекомендует меня?

— Партком. По моему предложению.

— Ты же не член парткома.

Качанок передернулся, на лице проступили багровые пятна.

— Я председатель профкома. Деятеля из тебя делаю, а ты ломаешься, как девчонка.

— Напрасно стараешься. Не дорасту я до Председателя Верховного Суда.

— А до кого хочешь дорасти — до министра транспорта?

— Вот это больше по мне.

Астапович одним ухом слушал их разговор, усмехался, будто над Копытком. Когда наконец простился со стариком, напомнив, что у него полная приемная людей, и пообещав обсудить все еще раз (а Копытку только это и нужно было — не так груша или участок, как беседы с директором), спросил Ивана:

— Ну, кто кого положил на лопатки?

— Положишь такого козла! — обиженно сказал Качанок. — Я вам давно говорил: в наше время зазнаются не начальники — рабочие.

— А почему бы хорошему работнику и не зазнаться немного? — Астапович с трудом разогнул спину и, поглаживая поясницу, прошелся по просторному кабинету — размял ноги, пожаловался: — Доконает меня артрит.

Сел за свой «министерский» стол, пустой, как взлетное поле, только с правого края

лежала книга «Советское законодательство о труде».

— Яков, съезди, пожалуйста, на мясокомбинат. Вчера машины всего один рейс сделали. Вместо трех, по нашим с тобой расчетам. Великоваты накладные расходы от таких простоев. А еще больший расход нервов. Вот у них,— кивнул на Ивана.

— Федор Тимофеевич! Махинациями заниматься больше не буду!

— Подожди. Подожди. Я что, принуждаю тебя мухлевать? — и обратился к Батраку: — Слышал, Иван Корнеевич, как меня рекомендует ближайший мой помощник, правая моя рука? Дожил на старости!

От этих слов — «правая рука» — Качанок приосанился, но испугался, что Астапович не так понял его, стал оправдываться:

— Да не о вас я, Федор Тимофеевич. О себе. Мне это в вину ставят. Слышали на собрании? А я разве для себя?

— На махинации я тебя, Яков Матвеевич, не подбиваю. За махинации судят. Я прошу тебя поехать и навести там порядок.

— Обком не может там навести порядок!

— Обком занимается всем сразу. А ты конкретно займись: машинами своими, скотом. Чтоб упитанность не занижали. Как ты сказал когда-то? Стоячая вода турбин не крутит? Хорошо сказал, Яков. Так и Забавский не скажет. Давай крутанем с тобой турбинку. А?

«Умеет дед заставить крутить турбину на всю мощность», — подумал Иван.

А Яков уже в мыслях был на мясокомбинате, уже прикидывал, с чего и с кого начнет выполнять возложенное на него поручение. Оно вселяло уверенность, что Астаповичу без Качанка не обойтись. Если на профсоюзной конференции такие вот, как Батрак, провалят его, директор все равно изыщет подходящую должность.

— Вашему фронтовому дружку привет передать?

Астапович сразу представил план действий Качанка, засмеялся.

— Обязательно передай. И на ухо, на ухо шепни ему, бездельнику... Астапович, мол, хочет поменяться с тобой должностями. Уверен, вместе со своим начальником придумают, как наладить дело, чтобы голодные бычки не ревели полдня в кузовах. Чтобы не отрывать Батрака от работы, не посылать в очередь перед воротами комбината. Ну, ладно. Действуй по своему разумению. У тебя что, Иван Корнеевич?

Иван взглянул искоса на друга своего детства. Качанок понял, обиделся.

— Я что, мешаю?

— Хотелось бы с вами с одним... — сказал Иван Астаповичу.

Качанок возмутился:

— От кого скрываешься? От меня?

— Зачем ты лишаешь его права на тайну? — усмехнулся директор. — От жены и то секреты бывают... И у тебя, и у меня. А может, мы косточки твои хотим перемыть?

— Это я знаю. Он мимо не пройдет, чтобы не уколоть. Развели демократию на свою голову! — И, оскорбленный, вышел из кабинета.

Астапович сказал:

— Хороший работник. Энергии у него — на бригаду хватило бы. Но, — и подавил вздох, может, потому, что и должность и возраст вынуждали его мириться со многими «но». Ивана Качанок сейчас мало интересовал, потому и согласился, не похвалив и не осудив:

— Работать он умеет.

Астапович поднял голову, посмотрел на Ивана, сидевшего у окна.

— Садись ближе, чтобы я глаза твои видел. Что за секрет такой, из-за которого Якова пришлось выдворить?

Иван пересел в кресло, где недавно сидел старый Копыток, неуклюже облокотился на стол, подставил директору глаза: на, смотри. Перевел дыхание.

— С машины хочу уходить, Тимофеевич.

Всего ожидал Астапович, любой самой интимной исповеди, но не этого. Люди нередко просят перевести с одной работы на другую, но чтобы Батрак!..

— Что случилось?

— Бояться я стал, Тимофеевич.

— Чего? Кого?

— Наехать на человека. Когда за руль первый раз сел, трактор у меня, как пьяный, ходил, и ничего, не думал про это. Никогда не думал. А теперь думаю... Везде думаю — на шоссе, в городе: не сшибить бы... Даже руки цепенеют. В глазах мельтешит...

— Плохо дело.

— Очень плохо, Тимофеевич.

— Отдохнуть тебе надо. Бери путевку, поезжай в санаторий.

— Не поможет. Не поеду я.

Астапович наклонился над столом и посмотрел прямо в глаза Ивану. Тот не опустил их. Выдержал взгляд.

— Когда это началось? После того, как он вернулся? — кивнул куда-то назад, как в прошлое.

— Да. Я чуть не убил его, когда дрова вез. Федор Тимофеевич вздрогнул, выругался крепко, редко такое у него вырывалось. А тут не выдержал.

— Прости. Слов у меня для него других нет.

Посмотрел на часы. Ивану показалось, что дает понять — времени нет, обиделся: не окончен же разговор! Привстал, но директор накрыл ладонью руку Иванову и, сняв трубку, прижал ее головой к плечу, набрал номер.

— Михалевский? Доброе утро. Астапович. Не думал, что застану. Не поверил бы, что прокурор на работе в такую рань! Да нет! Зачем проверять! Прокуратура меня должна проверять. Нет, беды, слава богу, нет... Пока... Но одно тревожит. Помнишь наш разговор? Слушай, можешь ты нам помочь избавиться от этого типа? Леонид Аркадьевич, я тебе уже отец... по возрасту. И Конституцию знаю. Уважаю законы и все права человеческие. Ну, а если не формально, а по существу, по-людски? Отравляет он атмосферу! Не торопиться? А чего еще ждать? Что? — Астапович молча слушал.

Иван вспомнил свой разговор с прокурором и улыбнулся, не скрывая иронии. Когда же Астапович замолчал, слушая прокурора, он сказал громко:

— Не стоит, Тимофеевич,— и через некоторое время повторил: — Попусту все. — Поднялся, собираясь уйти, но директор жестом приказал ему ждать. А когда закончил разговор, поблагодарил за что-то Михалевского. Иван снова подтвердил: — Не прокуророво это дело.

— А чье?

— Мое. Тут, Федор Тимофеевич, только один прокурор и один судья — память моя. Кого осудит она? Может, сам себя осужу. Забыл о своих...

— Такие мысли выбрось из головы! — строго приказал Астапович. Вышел из-за стола, силком усадил Ивана на прежнее место. Сам тоже сел, как сидел со старым Копытком. — Ошибаешься, что это только твое дело! Поклеп возводишь на людей. Думаешь, люди ему простили? Нет! И это для него самый жестокий суд.

— Кому сдать машину?

— Прокурор читает его дело. То. Судебное.

— Ну и пусть читает.

— Не нравишься ты мне сегодня.

— За меня не бойтесь, Тимофеевич, у меня дети...

— Вот это другой разговор. Мастерскую при-
мешь?

Иван минуту подумал.

— Если заведующим, то придется за руль садиться. Разное там. Обкатка... Поездка за запчастями. Дайте слесарем поработать. Чтобы целый день в яме, под машинами, с ключом...

— Когда хочешь сдать машину?

— Да хоть сейчас.

— Пускай Щерба примет пока.

Работал Иван как одержимый. В яму, правда, не полез, наоборот, забрался высоко, под самый крюк у крана — собирал комбайн после ремонта. И не просто собирал, каждую мелочь выверял — ему на этом комбайне работать. Инженера Копыловича, который исполнял обязанности завмастерской, загонял, заставлял некоторые детали зам-

нить наново, хотя тот считал, что с машиной все уже в порядке.

Копылович не спорил с таким авторитетом, как Батрак. Только удивлялся: неспроста, наверно, самый лучший в районе шофер пошел в слесаря. Поинтересовался ядовито:

— Неужели и вы, Иван Корнеевич, накололись на Дремако?

Появление Ивана в мастерской удивило многих, стало главным предметом пересудов. А Копылович доволен был — получил не просто слесаря, опытного механика. Батрак знает машину так, как ему, молодому механику, и не снится еще. При таком слесаре нет нужды ему, инженеру, следить за разборкой или сборкой, можно спокойно приналечь на другие дела. А у него их навалом, всяческих дел, и помимо мастерской. Машины же всюду — и в отделениях, и на складах, и на фермах. Но есть там и молоденькие операторши.

Копылович оседлал свой новенький мотоцикл, которым никак еще не натешится, и с треском помчался, как объяснял всем, в соседнее отделение, хотя явно свернул на глазах у людей в противоположную сторону. «Не обучился еще наш инженер маневрировать», — глядя вслед ему, ухмылялись ремонтники.

За всеми этими срочными делами у Ивана не возникали мысли, которые неотрывно томили за рулем, не было для них места, целиком ушел в работу.

Но голова была занята не одной только машиной. Не только о ней он беспокоился. Встревожил почему-то приезд Дремако, хотя ничего в этом неожиданного не было, начальник ГАИ частенько заглядывал на машинный двор.

Дремако же ничуть не удивился, увидев Батрака на комбайне с гаечным ключом.

«Почему не удивился? — озадаченно подумал Иван, но потом решил: — Знает уже все, наверно, от Астаповича». Но Павел Павлович долго молча смотрел, как работает Иван, наконец, словно осуждая, сказал:

— Хороший ты механик, Иван Корнеевич. Но не по твоим возможностям использует тебя Астапович.

— Разве я плохой шофер был?

— Почему был?

Иван не ответил.

Дремако подождал, пока не отлучился куда-то помощник Иванов, и, подвинчивая ключом гайку внизу на косилке, чтобы занять чем-нибудь руки, бросил как бы между прочим, не поднимая головы:

— Прочитал я три тома материалов по их делу. Не числится за ним та акция в вашей хате. И в Хуторянке он был... Я нашел человека, который видел Шишку, когда они, полицаи, тело Корнея Батрака искали, Найдется теперь не одна еще

нитка! — И, не ожидая, пока Иван опомнится там, наверху, на мостике, Дремако вышел из мастерской, направился к своей «канарейке».

Разбередили, разворошили его слова снова все в душе Ивановой. Но вместе с тревогой оставили и надежду, что не он один... не только они с Тасей помнят, мучаются этим. Хватает ведь у человека своих служебных забот — и аварии, и шоферы пьяные за рулем... А вот занялся теми давними судебными делами, отыскивает людей... Свидетелей.

Поглощенный мыслями своими, не захотел отрываться даже на короткий перекур. Напарник его, только прошлой весной окончивший ПТУ, парень не из робких, вступавший то и дело в спор с инженером, перед Иваном тушевался — неловко было даже напомнить об обеде. Другой слесарь, Демьян Серпиков, тоже бывший шофер, лишенный прав за аварию, крикнул:

— Батрак! Мы живем тут по-заводскому. По гудку. Не то что вы, бродяги. Пошли обедать. А то борщ перепреет.

Иван нехотя спустился с мостика. Не успел вытереть руки ветошью, как зазвенел телефон. Его напарник Коля протянул трубку.

— Вас, дядя Иван. Лиана просит.

Звонок диспетчера — обычное дело. Иван привык к ее ласковому, как бы извиняющемуся голосу. Но откуда Лиана знает, что он сдал машину? И звонит ему сюда, к ремонтникам. Показалось странным, кольнуло.

И голос сегодня у Лианы был необычный, прерывистый, глухой.

— Иван Корнеевич, Щерба разбился.

Она объяснила, что не может найти никого из руководства, потому и решила побеспокоить его. Но Иван спросил одно только:

— Где?

— Около Кусеев. Оттуда звонили.

Он опустил трубку, сказал слесарям, понявшим, что случилась беда, не сводившим глаз с него:

— Федька разбился, — и попросил Колю: — Дай мне твой мотоцикл! Надо ехать туда.

До Кусеев было километров восемь. Иван, забыв о пальто, в одном комбинезоне вылетел на шоссе, проскочил уже чайную, сельмаг, но вдруг на бешеной скорости развернулся, напугав детей, возвращавшихся из школы, подогнал к медпункту, вскочил туда.

В кабинете врача сидела Тася в белом халате, в белой шапочке, писала что-то. Увидела мужа, грязного, в комбинезоне, изменилась в лице.

— Ваня! Что с тобой?

— Одевайся! Федька разбился.

Она не стала спрашивать, собирала в сумку все необходимое. Но Ивану казалось, что делает это невыносимо медленно. Впервые рассердило ее спокойствие, крикнул грубо:

— Да поворачивайся ты! Руки отнялись, что ли?

Уже выходя, застегнув пальто, она увидела, что Иван раздет, в одном комбинезоне. И еще на мотоцикле, на ветру.

— Где твоя одежда? И машина где? По-едем мимо дома, оденешься. А то воспаление схватить.

— Тася! — не сказал — простонал он так, что она сразу сжалась, будто сделала или сказала что-то совсем не к месту. Молча забралась на заднее сиденье, перекинула через руку сумку, обхватила мужа, прижалась к нему, чтобы согреть хоть спину ему.

Иван гнал на всю мощность. Ветер свистел, больно обжигал, хлестал в лицо ледяной воздух. Мчались, казалось, прямо в лоб им встречные машины. Но еще страшнее, когда обгоняли грузовики, впритирку, борт к борту. У Таси замирало сердце, закрывались сами собой глаза. Моллилась богу, в которого не верила. Терпеть не могла мотоциклов. Жена шофера, она верила в четыре колеса и не верила в два.

Может, впервые, смелая, рисковая, она растянулась перед скоростью. А еще пугало, что Иван простудится. Не успела надеть перчатки, и руки ее, просунутые сзади, скрещенные на груди Ивана, сразу заledenели. Тася ужаснулась — как же промерзнет он, под комбинезоном даже пиджака нет, одна рубашка фланелевая. Ладонями своими пыталась хоть как-то заслонить от ветра. Упернула мысленно: «Чудак такой! Будто маленький!» — но ему больше ни слова не сказала, боялась не только пошевелиться — вдохнуть глубоко, чтобы ничем, ни на одно мгновение не отвлечь его от дороги, от руля.

От страха за мужа не успела даже подумать о Федоре. Только когда издали, еще километра за два увидела на шоссе скопление машин, вспомнила про аварию! Федька! Веселый, беззаботный, друг их семьи, с которым она нередко ссорилась и, однако, любила за правдивость, за веселость и бескорыстие. Ничего ему не надо было, кроме как побалагурить за чаркой. Ни машины, ни одежды новой, ни мебелишку сменить. Что случилось с ним? Ранен? А если?.. Тася отгоняла от себя мысли о худшем, стало стыдно, она поняла Ивана и сама заволновалась так же.

Мотоцикл проскочил между машинами, стоявшими с двух сторон на обочинах, туда, где из-под ольшаника поднимался густой черный дым, будто резина горела.

Иван резко затормозил. Тася не сразу отняла руки, так и соскочила с мотоцикла вместе с ним, как-то неловко продолжая обнимать его. Не разняла рук и потому, что одеревенели от мороза, но главное, ошеломило, наполнило новым, непонятным страхом — пылала Иванова ма-

шина. С шоссе ее занесло в сторону. Раскroшив некрепкий еще ледок, грузовик перепрыгнул узкий кювет, и радиатор врезался в молодой ольшаник. Пoлыхали мотор, кабина, кузов. Проезжие шоферы таскали ведрами воду, пытались залить огонь. Но острые неровные языки пламени, на секунду затаясь, снова выскакивали из обугленной уже, почерневшей кабины на поверхность — так бывает, когда водой тушат горящий бензин.

Большая толпа — два автобуса остановились — сгрудилась на шоссе. Люди ахали, давали советы, большей частью бесполезные.

Сбоку под деревьями лежали два бычка, один мертвый, а другой живой еще, он пытался встать и не мог, судорожно бил ногами по мерзлой земле, мычал жалобно, словно молил о помощи.

Старческий женский голос так же жалобно зывал:

— Хлопчики, приколите вы этого бычка. Не-хай не мучается.

Тася не решалась спросить: «А Федор где? Неужели в кабине?»

Иван был уже там, у машины, прошел в ботинках по воде. Но Тася не замечала этого, не до него было сейчас. Если Федька в кабине, Иван бросится туда. Со страхом следила за мужем. Нет, не может Федька там быть — столько времени прошло! И людей полно вокруг! Не могли допустить такое.

И тут кто-то позвал ее — увидел сумку с красным крестом.

— Сюда! Сюда идите, тут он, водитель!

Голос раздался с другой стороны шоссе, куда они, подъехав, и не взглянули.

На той стороне кювет был сухой, за ним росли старые дубы. Под дубом на бугорке лежал Щерба. Лицо его было закрыто мокрым полотенцем, две женщины на коленях стояли возле него, как умели старались помочь.

Тася не увидела лица, только остатки сгоревших волос, руки в кровавых пузырях, огромные подпалыны на штанах, на ватнике. Сквозь черные дыры светилось тело. Показалось, что Федор неживой. Тася растерялась: что же делать ей? Спазм сдавил горло, туманило глаза, понимала, что тут, перед людьми, она права не имеет заплакать. Женщины смотрели на нее с надеждой — поможет, должна помочь. Значит, живой он. Да и сам Федор словно почувствовал ее присутствие — вздрогнул и чихнул. Опаленная одежда на нем промокла, видно, чтобы потушить, окунули в воду.

Она встала на колени перед ним, сняла с лица мокрое полотенце. Лицо было опухшее, один глаз заплыл... Но другим он глянул на нее осмысленно, узнал, даже озорство какое-то прорвалось.

— А-а! Кума! — прохрипел он. — Здоровенька

була! Влей ты в мою утробу что-нибудь горячее. Сварился сначала, а теперь вот застываю, как студень.

— Федечка, родненький... Подожди, подожди.

Обрадовалась страшно, что жив, что шутит даже, охватила ее такая нежность к нему, захотелось поцеловать это обгоревшее лицо, распухшие губы, согреть своим дыханием.

Она расстегнула сумку, но руки не слушались, дрожали, и она упрашивала его и виновато, и ласково, как ребенка:

— Сейчас, сейчас, Федечка. Потерпи минутку.

— Терплю, терплю, кума.

Собирая аптечку, подумала тогда, что ранен Федор, но не представляла, что может так обгореть. Все взяла, но забыла в спешке новокаин, а первое, что она должна была сделать, новокаиновые примочки.

— Дашь ты мне согреть душу?

Тася была вне себя — за двадцать лет работы акушеркой, фельдшером так и не пришлось ей узнать, можно ли в таких случаях дать глоток спирта. А хуже не будет? Представляла, как ему больно, посиневшими дрожавшими руками разломала ампулу, чтобы сделать укол промидола, обезболить.

— Разорвите рукав, — приказала женщинам.

Щерба, этот болтун непутевый, матерщинник, вдруг сказал тихонько, стыдливо:

— Наклонись ко мне, к уху, Тася!.. Молодцам етим я не сказал. А тебе... ты доктор... Задницу мне расколошматило... в ключья... Может, еще чего оторвало... Кровь хлещет, чувствую... Горячо в портках.

— Вот человек! — восторженно вскричал кто-то молодой по голосу за Тасиной спиной. — Я первый подъехал. Горит на нем все... машина в огне... А он бычков оттуда, из кузова, вниз стаскивает... Они режут, упираются, боятся в воду скакнуть... Я и схватил его, окунул. Иначе сгорел бы весь, до нитки. Если б не я...

— Помогите повернуть больного, — попросила Тася этого парня, нужно было осмотреть раны, о которых Щерба сказал только что.

Она не заметила, как подошел Иван, а Федор увидел друга, даже захотел приподняться.

— Корнеевич! Не думай... Не я! Бак взорвался! Меня выбросило катапультной. Ракетой взлетел! И плюхнулся на шоссе. Слушай, отчето он мог взорваться? Во чудеса!

Тогда до Таси не дошел смысл Щербиных слов. Все ее внимание было направлено на другое. Когда Федора повернули, она ужаснулась: ягодницы и поясища у него превратились в кровавое месиво. А он еще шутит, хрипит, уткнувшись обгоревшим лицом в растаявший снег, в прелые дубовые листья:

— Кума! Пять граммов спирта мне жалеешь, зараза?

— Федечка, потерпи.

— Потерпи! Я тебе не Иисус Христос.

С ранениями ей приходилось чаще иметь дело, чем с ожогами, и Тася действовала уверенно; и сноровка, и ловкость — все пришло сразу.

Но Щерба, минуту назад шутивший, вдруг потерял сознание. Шок. Тася снова ощутила свою беспомощность.

— «Скорую» вызвали?

Никто не знал этого. Наверное... Она позвала Ивана, но он был уже опять где-то у машины.

К счастью, через несколько минут, тревожно сигналила, подоспела «скорая». Пожилой врач без пальто, в белом халате, глянув на раненого, покачал головой, сделал противошоковый укол и, не дав закончить перевязку, коротко приказал санитарам:

— В машину!

Тася осталась под дубами одна, уже не нужная никому, со страхом, какой пережила однажды: трехлетний Корней заболел корью, его забрали в инфекционную больницу, а ее не пустили туда, и она не находила себе места.

Подошла машина ГАИ, из рупора Дремако командовал:

— Внимание, внимание! Товарищи водители! Всему транспорту, кроме транспорта из совхоза «Добранский», прошу двигаться своим маршрутом. Очистите шоссе! Освободите шоссе! Не создавайте пробки!

Загудели моторы. Засигналили автобусы, созывая пассажиров, которые разбрелись по лесу. Приказ автоинспектора выполнили незамедлительно, и через несколько минут шоссе опустело. Осталась только желтая машина ГАИ с синим фонарем да красная пожарная из совхоза. И люди все свои: Кузя, Забавский, Сергей Хомяков — пожарник.

Тася подошла к ним. В кювете все еще бил ногами, обессиленно хрипел раненый бычок.

Хомяков крикнул:

— Пристрелите бычка! Капитан! У тебя же пистолет.

Дремако осматривал сгоревшую машину, которая все еще курилась, окутанная дымом и паром. Осматривал внимательно, как профессор больного. Услышав Хомякова, оторвался от машины, вынул из кобуры пистолет.

Тася закрыла глаза. Немало она видела смертей, но сейчас не могла. Вместо выстрела услышала голос пожарника:

— Вояки! Бычка не можете убить.

Хомяков перескочил кювет, вырвал у смущенного начальника ГАИ пистолет и выстрелил бычку в ухо. Тот дернулся и сразу же вытянулся.

Увидев, что Тася собирается переходить через кювет в своих низких ботинках, Кузя подхватил ее одной рукой и перенес на другую сторону, к машине.

Иван, задымленный, чумазый, с монтажной

лопаткой в руках, пытался поднять покореженный, обгоревший капот.

Дремако спросил у него:

— Так что же, по-твоему, произошло, Иван Корнеевич?

— Щерба сказал, что бензобак взорвался на ходу, на дороге. Выбросило его... а так сгорел бы человек. Видите, что с кабиной?

Только теперь до Таси дошел смысл того, что случилось. Затрясло, как в ознобе, как в лихорадке. Не обращая внимания на людей, она бросилась к мужу, оттолкнула его от машины, будто в ней еще таилась смертельная опасность, схватила за плечи.

— Это он! Он! Он хотел убить тебя! Ванечка! Он хотел убить тебя!

Иван попытался оторвать от себя руки жены, но, увидев, что ее колотит, обнял, прижал к пропахшему бензином и дымом комбинезону.

— Успокойся. Что с тобой, Тася? Успокойся, прошу. О чем ты?

Но сам теперь, после ее слов, вспомнил о Шишке, и его тоже проняла дрожь. А потом стало горячо под сердцем. Тася, будто в обмороке, повисла на его руках, тяжелая-тяжелая. И все, кто был рядом, впервые подумали, что нет, не обычная это авария, не потому, что Щерба, может, и перепив вчера, съехал в кювет, ударился в дерево.

Дремако вернулся к своей «канарейке». Вызвал по радию областную ГАИ, попросил срочно направить сюда экспертов по авариям.

— Да, возможна диверсия! — услышали его слова.

— Диверсия? У нас? — Кузя удивился; агроном, человек молодой, он, возможно, не понял Тасиных слов, не сумел связать события в один узел. — Мы и слово такое забыли.

— Я тебе объясню его, — сказал Забавский угрюмо.

24

Сидели за столом друг против друга, и Тася не сводила с мужа испуганных глаз. Так, наверное, смотрели жены на мужей, пришедших с войны, с фронта. И так же остерегались говорить о том, что пережил он там, под огнем, рядом с ежеминутной смертью, а она здесь в постоянной тревоге за него. Чтобы не помешать радости, чтобы счастьем своим не оскорбить память погибших.

Так и они. Иван даже чувствовал какую-то странную неловкость. Был он по-детски беспомощный, смертельно усталый, а потому послушный, притихший. Там, у сгоревшей машины, когда Тася заплакала, закричала о Шишке, он из последних сил успокаивал ее. А потом уже подчинился во всем. Увидела, что ли-

хорадит сго, стала снимать пальто, чтоб согреть.

Но Забавский сбросил свою куртку на меху, накинул на плечи Ивану. А Хомяков погнал их обоих в кабину пожарной машины.

Дома Тася поставила мужу банки — на всякий случай, дала аспирина, наполнила липовым чаем со спиртом, заставила надеть теплое белье. Казалось, нет у нее большей заботы, чем уберечь его от простуды. Он понимал, что это необходимо ей для душевной разрядки — лишь бы не сидеть без дела, говорить не о том, что болело, а совсем о другом: какой чай лучше, липовый или малиновый? Чего добавить в него — спирт или коньяк? Что он, Иван, хотел бы съесть? И ему было легче от этой Тасиной суетни, от забот ее; не отказывался ни от чего, наоборот, старался поддержать разговор про чай, про малину, про спирт, который пахнет сырцом, сказал, что не прочь бы соленых рыжиков, хотя на самом деле ему ничего не хотелось. Просто чтобы еще одно дело у Таси было — слазить в погреб, достать эти самые рыжики.

Правда, и в машине, и в первые минуты дома Тася еще несколько раз повторяла: «Это он! Он! Его злодейство!» Иван рассердился. «Пока не доказано, нечего об этом! Что попусту болтать!»

Но Тася не упоминала больше о Шишке из-за другого. Лежа с банками на спине, уткнувшись лицом в подушку, он сказал глухо, тяжело дыша, словно тащил на себе пудовый груз:

— Знаешь, утром я вышел на огород, и меня будто в грудь толкнуло. Чувствую, не могу сесть за руль. Бывает же так. Вместо машинного двора пошел в контору, к Астаповичу. А получилось, видишь, что? Будто бы я подставил Федьку...

Тася поняла, как терзает Ивана эта мысль. Опустилась на колени, прижалась губами к его локтю.

— Ванечка, это какая-то сила тебя остановила. Разве можно, чтобы одному, столько горя? Чтобы и нас он осиротил... Высшая это сила...

— Придумаешь еще!

Потом говорили обо всем: о делах, о детях, о Забавском — утром приходил к ним в медпункт, зуб, сказал, разболелся. Но зубного врача сегодня не было и они побеседовали о Вале... По Иванову лицу поняла, что не о том завела речь, не к месту. Осеклась. Изредка, незаметно они снова подступали к тому, чем жили, о чем неотрывно думали, и тут же осторожно отступали, уходили.

Так было, пока Тася спасала его от воспаления, давала лекарства, готовила и подавала на стол обед. А сели за стол и замолчали, не нашлось слов. Может, потому, что она так странно разглядывала мужа.

Иван виновато попросил

— Не гляди ты на меня так!

— А ты ешь, ешь. Ничего в рот не берешь, поэтому и гляжу. Выпей еще рюмочку. Тебе нужно согреться. Додумался — в одном комбинезоне! Хоть бы пиджак набросил.

— До того ли было? Только передал машину, и сразу звонит Лиана... Бывает же. Глубоких ран нет у него?

— Раны, может, и нестрашные. Ожоги, Ваня, ожоги серьезные.

— Его бензином обрызгало.

— Люба поехала в больницу на директоровой машине.

— Говорят, для пересадки потребуется кожа тех, кто горел уже... Коржов даст. В танке он горел.

— Пойду проведу детей Любиных.

— Сходи, — он понимал, что Тасе нужно что-то делать, что дома она уже не может найти себе занятие.

— Только ты ешь. Чай пей. Я заварила, как любишь. Точно деготь. Чайник в печи. Чтобы не остыл. Отнести надо им чего-нибудь, детям.

— Не сироты же.

Слова эти «не сироты» вызвали в ней новую тревогу. Но и дети Любины удивили. Старшая уже на ферме работает, самый младший в четвертом классе. Они сидели, смотрели телевизор, фильм какой-то, будто ничего не произошло. Не спросили, в каком состоянии увезли отца в больницу.

Тасе всегда было неприятно, что Люба настраивала их против отца. Говорила об этом и ей, и Тамаре, старшей дочери. Нельзя так. Отец есть отец. С Иваном они обсуждали не раз отношения в семье Щербы. Теперь снова подумала, что нехорошо Люба поступала, у Федора слабость эта его, водка, — почти болезнь. Но сколько в нем доброты, чуткости.

Спокойствие детей Щербы еще усилило ее собственное беспокойство. В медпункте, несмотря на позднее время, она застала врача. Наверно, ожидала ее, Тасю. Римма Сергеевна, до педантичности аккуратная, требовала, чтобы ей докладывали обо всех больных. Про такую аварию, про то, что случилось с Федором, должна была уже знать.

Они долго звонили в больницу. Но никого из знакомых врачей, кто мог бы сообщить подробнее, в каком положении Щерба, не застали, а дежурная ответила коротко. Сделали операцию, состояние удовлетворительное.

Понимай как хочешь! Возмутились этой казенщиной: они, сельские медики, никогда так не отвечают, у них хватает и времени, и терпения объяснить людям все по-человечески.

Ноябрьский день короткий. Пока сидели в полумраке кабинета, где белый шкаф для лекарств, кушетка, покрытая белой простыней, белизна снега за окном, Тасе за разговором ни о чем

другом не думалось, даже все пережитое в этот день чуточку отошло, не так мучило. А щелкнула выключателем Римма Сергеевна, зажглась лампочка, и сразу почернело за окном, будто ночь надвинулась. И Тасю вдруг снова охватил страх, мелькнуло, что, если Шишка не убил Ивана в машине, будет теперь искать другой случай. Обязательно будет!

Она быстро распрощалась и, даже не повязав платок как следует, бросилась домой.

Село жило еще шумной вечерней жизнью. Кричали и смеялись на катке дети, стояли у водопроводных колонок женщины, обсуждали события дня, мычали во дворе коровы, ожидая пойки, топились печи, мирно и вкусно пахло дымом, жареным салом и драниками. А у Таси все нарастал страх, не замечая людей, она бежала бегом, задыхаясь, боялась, вдруг кто-то остановит ее, задержит, а там Иван один и дверь не заперта.

Еще больше испугалась, увидев, что в доме темно, только на кухне теплится огонек. Вскочила в дом, сразу зажгла всюду свет, во всех комнатах. Удивилась, что Иван так и сидит — за неубранным столом, перед стаканом остывшего чая. Она его тоже удивила видом своим.

— Ты чего?

— А ты... что сидишь так?

— Не знаю... голова какая-то пустая... — Он с трудом улыбнулся. — Может, и вздремнул. Не помню.

— Тебе нездоровится?

— Да нет, ничего.

Тася потрогала руками лоб, но руки были холодные, не поверила им, припала губами. Так она почти безошибочно определяла температуру у детей.

— Прилег бы.

— Нет, не буду ложиться. Засну, потом проснусь среди ночи... Тяжко это... бессонница. Черт знает что лезет в голову.

Тася быстро сняла пальто и неожиданно для мужа стала завешивать наглухо окна: одно — плотной чертежной бумагой, другое — одеялом.

— Это еще зачем?

— Гад тот больше тридцати лет прожил с самыми отпетыми. Такие что угодно могут. Приезжают же к нему святоши разные. Никто их не знает.

— Люди удивятся.

— Пусть удивляются.

Иван пожал плечами. Спорить не хотелось. Ему ничего не хотелось в этот вечер.

А потом Тасю снова обуял страх — Корнея долго нет, загулял позже обычного. Теперь он больше дома сидит — полугодие кончается, уроков много. — Пойду поищу его.

Иван понимал ее, но все же не очень решительно стал отговаривать:

— Где ты станешь его искать? Неловко парню может быть.

— Почему неловко? Что в этом такого — мать ищет? Пойду. Только ты закройся, пожалуйста, прошу тебя.

— Хорошо, — согласился Иван.

Она постояла на крыльце, тревожно вслушиваясь в тишину вечернего села, не дождалась, пока Иван выйдет в сени, запрет дверь, вернулась обратно.

— Я со двора закрою тебя.

Тогда он возразил уже решительно:

— Что за чепуху вбила в голову! Стыдно перед людьми, зайти кто-нибудь... Забавский вот хотел прийти. Может, Астапович заглянет.

Все же она настояла, чтобы Иван заперся, не ушла, пока не услышала громыхание засова.

Тяжело было Ивану. Ко всем мукам, испепелявшим душу за последние дни, прибавилась боль за Федьку, будто подвел он друга, подsunул под аварию. А еще Тасиша уверенность, что это дело Шишкиных рук. И ее страх, прямо-таки патологический, как она сама говорит. Страх погасил все в доме. От этого стало еще во сто крат тяжелее, обиднее. Вот и теперь. Кончился рабочий день. Тихо кругом, вечер. А радости никакой. И Корней не тот. Не возмужал он, а словно вдруг постарел. Молчаливый, замкнутый. Без конца сидит только за своими задачами. Неужели задают так много? Да нет. И какой-то очень уж внимательный стал, тихий. Как было хорошо, когда они с Валькой цапались все время, как щенята.

Сам не знает, чем заняться ему в этот вечерний час. Ни читать не хочется, ни часы ремонтировать — его причуда, над которой смеялись всегда и Тася, и Валя. Пойти к кому-нибудь из друзей? Но Тася вернется, помчится искать его, как сейчас побежала за Корнеем. Будет неудобно перед людьми. Да и хлопцы, кажется, собирались «газануть», складывались, посылали Костю в кульдюм, чтобы Катя подготавливала закусь.

Тася обегала полсела — почти всех Корнеевых одноклассников. Одних дома не застала, другие понятия не имели, где он может быть. Она уже себя не помнила, когда девочка какая-то сказала, что ребята пошли в поселок, в Вербный, проведать товарища, заболел. Вербный был за шоссе, за лесом, километрах в трех от Добранки. Идти туда по лесной дороге. Не сказать, чтобы очень уж была смелая, в другое время остреегла бы ночью, но теперь не думала о себе, бросилась в темноту, в лес. На шоссе все же остановилась — Корнею, пожалуй, действительно неловко будет, засмеют еще.

Неподалеку отсюда в низине росла раньше могучая ольха, под нею летом всегда заставалась вода, омывала корни. Вода бывала зеленая, а корни красные. Густо рдела рядом дикяя малина. Здесь, в малине этой, в сорок первом немцы расстреляли пленных красноармейцев.

Тася стояла под соснами напротив дома ремонтного мастера. Из окон падал на шоссе уютный добрый свет; к воротам прижались два грузовика — наверно, заночевали шоферы с дальних перевозок. Иногда зимой они останавливались и у них дома. Иван понимал трудную службу «межгородников», сам ездил в дальние рейсы и поэтому звал всегда людей к себе на ночлег. Она никогда не боялась чужих людей. И шоферы эти ничего не боятся, едут куда-то за тысячи километров с ценным грузом, ночуют там, где застает их ночь, где настигнет усталость. А теперь она боится. Теперь ни за что не пустила бы в дом незнакомого, пусть и на машине он. Это не мнительность. Нет. Она чувствует, опасность нависла над ними, грозит Ивану, Корнею, ей самой. Подумала о Вале, за нее тоже стало страшно. Сколько же можно жить с таким страхом? Как жить?

Замерзли ноги, вся она заоченела, оделась не очень тепло, надеялась, что отыщет Корнея у соседей. Но уйти домой, не дождавшись сына, не могла. Услышав в лесу мальчишеский голос, узнав голос Корнея, обрадовалась, обмякла вся. Но не пошла в село, дождалась их. На шоссе в полосу света стояла, пока не подойдет.

Корней удивился:

— Мама?

Она солгала:

— Ребенок у Варивончика заболел.

Всех друзей сына, ребят вот этих, она принимала, лечила маленькими. И ее объяснение показалось правдоподобным. Через минуту они забыли о ней, занятые спором о способе стыковки космического корабля и станции. Несколько дней назад такая стыковка произошла, на орбите действовала научная станция с космонавтами.

Она шла следом за парнями, высокими, веселыми, не ведавшими никаких страхов, и ей внезапно захотелось плакать. Отчего, сама не понимала.

Капитан Дремако, услышав у разбитой машины крик Таси, зная ситуацию, возникшую в связи с возвращением Шишки, поверил в то, что покушение на Ивана могло быть. Поднял всех на ноги: прокуратуру, милицию, экспертов ГАИ. Ни одна машина, попавшая в аварию, не исследовалась, как эта. Действительно, обстоятельства загадочные. Многоопытные эксперты, чего только не видавшие на своем веку, пожимали плечами. Работу их усложнил кювет с водой — что-то могло попасть и туда, в воду. Экскаватор ковшом вычерпал из кювета целый пласт земли, ее перебирали в руках, сытую, тут же замерзавшую. Мороз набирал силу. Сам Дремако перебирал вместе с экспертами.

Нашли медную пластинку со следами припая проволочек и подковку-магнит — из того, что не было деталью машины. Дремако придавал этим находкам значение, хотя другие эксперты, не менее

опытные, скептически отнеслись к ним. Чего только не попадает в кювет у бойкого магистрального шоссе! Да еще в таком месте, где в летнее время, когда сухо, останавливаются сотни машин и на отдых, и на ночлег. Одни кострища вокруг. А подковка явно старая — ржавая и, главное, размагниченная, не держалась на железе. Однако Дремако с величайшими предосторожностями переслал эти вещи в республиканскую лабораторию.

Но больше всего он считался с показаниями людей. Верил в мудрую крестьянскую шутку: выйди ночью, в самую темень из своей хаты, покажи куда-то в воздух кукиш, а утром обязательно найдется человек, который спросит — ты кому это вчера дулю совал? В селе свои законы ночной жизни и нет тайны, которая не стала бы явной. Дремако никого не допрашивал, а просто доверительно поговорил с людьми: со сторожами, с шоферами, с бродившей запоздно по улицам молодежью, со школьниками, которые могут вспомнить услышанный дома разговор. Важно, что думают люди на этот счет. Капитан знал, что случайно оброненное слово, какому рассказчик и значения не придаст, может протянуть ниточку, держась за которую, он весь клубок распутает.

Другие следователи отнеслись ко всей этой истории сугубо официально. У Ивана снимала показания молодая полногрудая женщина — наверно, кормящая мать. Поглощена своим, потому и не очень внимательна, спешит домой. Иван почувствовал к ней недоверие: что она сможет в этом сложнейшем деле выяснить? Но, когда следователь узнала, что за несколько часов до аварии Батрак сдал свою машину Щербе, у нее глаза загорелись: конечно же, открытие совершила, почти с полным поймала!

Стала настойчиво допытываться, почему это вдруг он отказался от рейса.

— Я не только от рейса. Я насовсем сдал машину.

— А в чем дело, собственно?

— Долго рассказывать. Да и трудно вам понять будет.

— Об этом вы не тревожьтесь. Объясните, почему сдали машину?

— Плохо себя чувствовал.

— Что значит плохо?

— Голова кружилась.

— Отчего?

— Не знаю. Я не врач. У вас разве никогда не бывает головокружений?

— Батрак! Вопросы задаю я! Выпили, наверно?

— Вы так обо всех мужчинах думаете? У вас что, муж выпивает?

Женщина вспыхнула, рассердилась.

— Я вас предупредила, гражданин Батрак. Вопросы я задаю.

Недавно услышанное от Михалевского «гражданин» взорвало Ивана, а сейчас из уст этой дамочки — ничего, даже смешно стало.

— Я рассказываю все как было.

— Вот и расскажите, почему сдали машину.

Иван вспомнил вдруг, утром позвонили о том, что Федору стало хуже. В больницу вместе с Любой поехала Тася. Ему стало горько, разлила обидная подозрительность этой женщины.

— Вы что же думаете, я мину подложил в свою машину?

Кажется, она смутилась, опустила глаза.

— Нет, я не имею оснований так думать. Но следствию необходимо знать, почему вы сдали машину.

— Бывает такое состояние, когда человек не может сесть за руль.

— Сколько лет вы водите машину?

— Двадцать.

— А раньше бывало такое состояние?

— Нет. Только когда радикулит скрутил, тогда передал машину другому водителю. Да еще когда в санаторий уезжал. Машины у нас простанвают.

Иван не знал, что допрос вела жена прокурора, иначе раздражился бы еще больше. И недоверие усилилось бы. Хотя и так мелькнуло, что не женская это работа — следователь, пускай бы домой скорей сматывалась, кормила своего малыша, о нем же думает, нервничает.

В контору совхоза в эти самые минуты прибыл и Михалевский. Он начал свой визит с Астаповича. Прокурору понравилась умная рассудительность и осторожность директора, его сомнения относительно возможности диверсии. Ни допрос сторожа, старого Матвея Репяха, клявшегося, что всю ночь не смыкал глаз — во что добранцы не поверили, — ни собака, обнюхавшая машинный двор, дорогу на всей ее протяженности до места аварии, усадьбу Шишкину, никаких результатов не принесли. Михалевский не подписал ордер на обыск у Шишковича, чего добивался Дремако. Показания Астаповича взбудрили прокурора. Он считал свой метод самым правильным, не спешить, не форсировать, не наломать дров.

Выйдя от директора, Михалевский остановился в коридоре и услышал в кабинете председателя рабочкома голос жены — она вела допрос. Узнал и голос Батрака. Он только что говорил о нем с директором, с Дремако и чувствовал себя виноватым перед этим человеком. Поэтому вопросы жены, ее излишне официальный тон были неприятны ему. Не понимает, что ли, с кем говорит?

Леонид Аркадьевич не выдержал. Вошел без стука. Лена не знала, что муж здесь, всполошилась — сразу подумала о сыне. Михалевский мягко сказал ей:

— Не надо, Лена, так, — и Батраку: — Простите, Иван Корнеевич. Пожалуйста, идите работайте. С вами хочет встретиться Дремако.

Вместе с капитаном Иван полдня отыскивал в обгоревшей машине посторонние предметы, ощущая в руках вычерпанную из кювета застывшую землю. Тогда они и поговорили, как добрые старые друзья, обо всем, что касается аварии, да и о многом другом.

Как ни странно, Ивану на следующий день, после трезвого рассуждения, не так уже верилось в диверсию, как после тех Тасиных отчаянных слов, ее вчерашнего страха. Но страх у нее не ослабевал, пожалуй, даже ширился. Это состояние жены угнетало его, вызывало постоянные тревожные мысли о ней. Сегодня он сам уже тщательно завесил окна. Неужели и ему передался страх Тасин? Нет, конечно, лишь бы не волновалась она из-за этого еще. К концу работы Тася пришла в мастерскую. Он сразу понял — чтобы проводить домой, боится что один пойдет вдоль сосняка у фермы и через ольшаник у ручья... Пуховый платок у нее на голове сбился, пуговицы пальто не все застегнуты.

В тот же вечер дома после рассказа Ивана о том, как идет следствие, Тася спросила:

— Его арестуют, убийцу этого? Должны же наконец, — у нее не было ни малейшего сомнения, что авария — дело рук Шишки.

— Не так это просто. У него алиби. — Возможно, Иван не очень точно представлял смысл этого слова. Тася не понимала его совсем.

— А что это?

— Алиби — когда подозреваемый доказывает, что он в это время не был на месте преступления, — объяснил Корней.

Слова его почему-то разозлили Тасю. Нет, пожалуй, больше разозлило то, что и отец, и сын обсуждают все, что произошло, и рассуждают об алиби этом несчастном спокойно, как о постороннем, будто лично их это не касается. Иван, конечно, так не считал, но с сыном говорил, не нагнетая ничего: зачем парню трепать нервы, нагонять страху? Достаточно, что у матери все из рук валится.

— Дураки вы! И следователи ваши идиоты, — возмущенно сказала она и поправила большой лист ватмана, что закрывал окно и который кто-то из них, не то отец, не то сын, наверно, отогнул нарочно.

Утро следующего дня принесло тяжелую весть. Умер Федор. Это было, несмотря ни на что, неожиданно. Накануне, когда Тася с Любой были в больнице, Федор еще пытался рассмешить их, и она, Тася, обрадовалась, решила, что самое страшное позади, да и врач считал, что кризис миновал. Только Люба, скупая на ласковые слова и на слезы, вдруг расплакалась в машине: «Умрет Федька. Чует мое сердце».

Известие это в дом Батраков тоже принесла Люба. На рассвете зимнего дня, когда не ушли

еще ни Иван, ни Корней, она отворила дверь, ни слова не сказав, в черном платке, с почерневшим лицом, застыла у порога.

Так и стояла молча, а Тася зарыдала вдруг. Громко, страшно, отчаянно. Три года назад, когда хоронила отца, так не плакала. Села у стола, закрыла лицо руками, и плечи ее тряслись судорожно. Даже Люба растерялась, принялась успокаивать, как обычно утешают соседки овдовевших жен, осиротевших матерей:

— Ну будет тебе, будет. Не вернешь теперь.

Корней тоже поражен был, никогда не видел, чтобы мать рыдала так. Иван дал ей валерьянки. Ему было особенно тяжело, все еще чувствовал свою вину — передал машину Федьке. Но его боль проявлялась иначе, строже: как замолчал, так за два дня не обронил и нескольких слов, разве только о том, что касалось непосредственно похорон. Когда гроб с телом Федора привезли и сняли крышку, когда увидел пожелтевшее лицо друга, на котором словно застыло мучительное удивление, закрыл глаза шапкой и долго стоял так.

На похороны собралось все село. Женщины плакали. Тася тоже плакала, но уже не так, как в то первое утро. А Люба и слезинки не уронила. Как окаменела. Старухи уговаривали ее:

— Поголоси, голубочка, поголоси. Легче будет.

Голосила дочь Федора Тамара, теряла несколько раз сознание.

Тася давала ей успокоительное, упрекала себя за то, что нехорошо думала о Любе, да и о Тамаре тоже. Женским своим чутьем угадывала: окаменела Люба не только от горя — от раскаяния, оттого, что мало давала радости Федору, в крикливой бабской ругани топила любовь свою. Что только теперь, непоправимо поздно поняла, как могла с этим человеком по-другому жить. Слушалась бы поменьше матери. Старую Гузыриху Тася в тот день возненавидела: соседка Щербина сказала ей, что вчера вечером, когда гроб с покойником стоял в доме (в день похорон перенесли в клуб), старуха потребовала пригласить для отпевания Шишку. Тамара забилась в истерике, крикнула в лицо бабке, люди говорят, что этот «святой» ее подsunул запал в машину, хотел Батрака убить. А старуха огрызнулась: Батрак, мол, знал, что машина неисправная, потому и не поехал сам, посадил Федьку, а теперь ищет, на кого вину свалить, да бог все видит и все слышит, не даст в обиду того, кто служит ему.

Рассказ этот не выходил у Таси из головы. Подумала сразу, что, если Гузыриха хотела пригласить Шишку, значит, не такой уж он хворый, как записала в истории болезни Римма Сергеевна, дала справку следователям, невольно создавая полиции то самое алиби, о котором говорил Корней.

А потом пришла другая мысль: Гузыриха непременно передаст Шишке слова внучкины — служит своему пастырю, фанатичка. А тот, узнав, что на него падает подозрение, решит: а не лучше ли удрать? Наверняка удерет.

Не понравилось и выступление Качанка на гражданской панихиде. Яшка грозился, что органы разберутся в причинах аварии. Кому он грозил?

На кладбище шли мимо хаты Шишкиной.

Тася со своей медицинской сумкой все время была рядом с Любой и Тамарой: вдруг кому из них плохо станет?

А потом отстала, нашла в толпе мужа, взяла под руку.

Взглянула на покосившуюся, с приплюснутыми оконцами хату. Иван тоже повернул голову в ту сторону. Многие смотрели на домишко этот. Тасе показалось, что к окну прикинула физиономия Шишкина. Ее зазнобило.

— Что с тобой? — тихо сказал Иван.

— Он... смотрит, — прошептала Тася, вздрогнула.

Иван понял ее состояние, крепко стиснул руку.

— Никого там нет. Успокойся. Выбрось из головы. Выбрось, прошу тебя, — произнес те же самые слова, которые совсем недавно она говорила ему.

Иван был в отчаянии оттого, что его душевная боль передалась жене. А если это произошло, значит, из дома навсегда уйдет радость. Пожалел, что так подробно рассказал Тасе обо всем — о войне, о том, что пережил, увидев Шишку в сельмаге, сидя рядом в машине и потом, в поле, когда тот побежал по озими. И про сон свой страшный... Не нужно было это ей рассказывать! Слабые у нее нервы, женские.

Вечером автобусом приехала Валя. На шоссе у сельмага узнала о несчастье, пришла домой тихая, грустная. Расспросив мать и Корнея о том, как все случилось, заплакала. Но молодость есть молодость, несмотря ни на что.

Валя приехала после того, как получила письмо от матери, сообщившее, что отец тоже не возражает против их брака, что все преграды на пути к счастью порушены и они могут приходить просить родительского благословения.

От этого письма словно крылья у нее выросли. Во всяком случае, именно с таким чувством она ехала домой, проклиная в мыслях автобус, который тащился слишком медленно для космического века. Ей не терпелось.

Часа через два Валя сказала робко, понимала, что не лучший день выпал для такого события:

— Мамочка, мы придем с Сашей...

— Сегодня? — удивилась Тася.

— Да.

— Валечка, человека же только похоронили.— Мать взглянула на нее так укоризненно, что Валя съежилась, не выдержала взгляда. Тася говорила тихо, понизив голос до шепота, они сидели в кухне, а в комнате отец с Корнеем. Но какой это был шепот! — Валечка, мы друга похоронили близкого своего. Родного человека. Он был как брат нам.

Увидев, как помрачнела дочь, успокоила ее, сказала ласково:

— Глупенькая, он же сам, Забавский в такой день не пойдет. Народные обычаи знает. Умный он.

25

Вечерело. В комнате стало уже совсем темно. День был мрачный, унылый, как и ее, Тасино, настроение. С утра шел снег, потом дождь, а сейчас все село окутала туманная промозглая мгла. Давно уже закончился прием в медпункте. Ушли домой Римма Сергеевна, медсестра. А она все еще оставалась. Придумала себе работу: по новой, вычитанной в журнале схеме расставить лекарства в шкафах, в холодильнике.

Какое-то время переставляла пузырьки, коробки с лекарствами, но сообразила, что после этой «систематизации» сама не скоро отыщет, где что стоит. Может, она все спутала? Да, наверное, спутала. После смерти Федора живет словно в тумане. Все будто сорвалось со своих обычных мест — вещи, события, люди отделились от нее, и она одна очутилась в пустоте. И в душе только страх. Сначала у него были какие-то конкретные очертания. А после похорон Щербы он вырос во что-то неопределенное, огромное, охватил не только все ее существо, но и все кругом... весь мир. Весь мир в страхе! Только люди не ощущают его. Лишь она... одна она не только чувствует, но и видит его... видит что-то скользкое, бесформенное, оно везде, оно лишает не только покоя — жизни. Самых близких, самых родных людей. Сама уже как бы отошла от жизни, ничего не боится — может пойти ночью куда угодно... на могилу Федора. К Шишке. Но стоит ей только подумать об Иване, Вале, Корнее,— все кружится в страшном красном тумане, имя которому тот же страх. Временами в сознание стучится мысль: она больна, надо пойти к врачу, психиатру. Но и эта мысль повергает в то же жуткое месиво страха.

«Я боюсь, дети! Я боюсь, Иван! Как мне спасти вас?»

Наступила ночь. Еще одна ночь. Бессонная. Чего она сидит здесь? Нужно поскорее домой, завесить окна. Валя не сделает этого, несмотря на ее строгий приказ.

«Валечка, родная, не смейся надо мной. Ты не знаешь, что это такое. Завесь окна, Завесь!» —

хотелось крикнуть так, чтобы дочь отсюда услышала ее.

Тася села на табурет за маленький белый столик и долго сидела в неподвижности.

Утром в село приехала Евдокия Мироновна Бурмистрова, инспектор облздрави. Тася знала ее уже лет пятнадцать, она приезжала, когда был еще в Добранке фельдшерско-акушерский пункт и Тася заведовала им. В первый же свой приезд Бурмистрова дала ей нагоняй за небрежные записи в историях болсэни. У Таси строился дом, были маленькие дети, болела тетка Федора. Вспомнила, как тогда, после того, как распекла Тасю, Бурмистрова поехала на телеге по деревням, вернулась, подошла к ней и спросила просто, будто ничего и не было: обедом-то накормишь меня? И Тася, обрадованная, быстренько с помощью санитарки и соседок соорудила обед, и какой еще! В не совсем достроенном доме, где только вставили рамы, настелили пол и где так пахло сосной, что Тася пьянела от этого настоя соснового, как от вина.

После того, как в селе организовали медпункт, Бурмистрова вскоре привезла им врача, представила Римму Сергеевну. Обедали опять у Таси, но уже в обжитом, уютном доме. Евдокия Мироновна похвасталась, что это она выбила им ставку врача, хотя добранцы не сомневались, что выбил Астапович. С того времени Бурмистрова приезжала по нескольку раз в год, а у областных работников такое внимание к сельской амбулатории — не очень уж частое явление. Но инспектора роднило что-то с Риммой Сергеевной, может быть, судьбы схожие: Бурмистрова была одинока, и у Риммы Сергеевны при ее нетерпимости, резкости к людям тоже личная жизнь не сложилась. Возможно, тетя Дуся, как называли Бурмистрову за глаза, жалела по-женски молодую врачиху, однажды сказала Тасе: бог дал Римме талант врача, знания, доброту, но пожалел, недодал старик женственности — этакая, чуть ли не двухметровая жердь. Где ей под пару себе найти. Но доставалось от инспектора и Римме Сергеевне, пробирала, не упускала ткнуть носом в недоделки, а их у кого только не найдешь. И Тасе казалось подчас, что тетя Дуся постарела, трудно ей забираться в дальние районы, в глухомань, вот и повадилась к ним в Добранку: и близко, и гладенько, не проселок с булыжником — асфальт, и принимают сердечно. А в командировке все равно считается.

О том, сколько ей лет, Евдокия Мироновна не проговаривалась никогда, но и так были видны годы ее по планке орденской, которую прикрепляла всегда — к любому костюму, к платью. Ясно, что перешагнула пенсионный возраст.

Обязанности свои тетя Дуся выполняла тща-

тельно. Не прощала огрехов, иногда поругивала грубовато, но и помогала: поговорит обязательно со всеми из медперсонала о новых методах лечения, о новых формах обслуживания. Лекции читала. Рассказывала, смеясь, что как-то в одной из сельских школ захотелось ей поговорить с учениками старших классов. Отдельно с девочками и отдельно с мальчиками. Завуч испугался до полусмерти, написал рапорт в районо, над которым потешались потом все медики в районо.

С утра Бурмистрова провела беседу с персоналом медпункта. Два врача (один зубной по совместительству), фельдшер, медсестра, две санитарки — вот и вся аудитория. Но Евдокия Мионовна держала речь, будто перед ней полный зал. Объявила приказ министерства о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о возможностях лечения таких больных. Целая система фронтальных мероприятий, целый комплекс. Получалось, что, выполняя этот приказ, и люди никогда болеть не будут. После таких постановлений, после новых лекарств всегда много шума, а болезни, увы, не уходят, и люди умирают. Об этом и думала Тася, слушая Бурмистрову. А потом уже и не слушала. Нет, слушала, но не слышала ничего. О своем думала. Понимала, что Евдокия Мионовна обязательно заметит ее невнимательность, обидится. Не бывало так с Тасей раньше. Но не могла пересилить себя, да в конце концов, все равно ей сейчас, что подумают о ней. Закончив, Бурмистрова сказала:

— Ты нынче в облаках витаешь, Тася. Что с тобой? — И она ничего не ответила. Нечего было ответить.

После лекции проверяли врачебную документацию, сразу обнаружился беспорядок. Нигде — ни в книге назначений, ни в истории болезни — не значилось, что больному Шишковичу сделаны предписанные врачом инъекции.

— Римма! — строго спросила Евдокия Мионовна. — Скажи мне, что вам — лень записывать или работать ленись?

На лице Риммы Сергеевны выступили красные пятна.

— Ну и лодырь!

Это относилось к Лене, медсестре. Но той уже не было, и Тася, находившаяся рядом, могла отнести эти слова на свой счет.

С Леной у них отношения были сложные. Тася числилась и фельдшером, и акушеркой, но не так уж много детей появляется на свет в последние годы. Делила с Леной обязанности медсестры. За Тасей, женщиной постарше, семейной, Римма Сергеевна закрепила Добранку, а Лене выпало обслуживать дальние села и проселки. Молодая, год назад только окончила училище, но уже возмнившая о себе, самоуверенная, Лена считала такой раздел несправедливым. У Батрачихи муж шофер, мог бы подвозить жену, а ей, бедняге,

приходится шлепать по грязи. Больше обуви снашивает, чем зарплаты получает. Конечно, не сравнится ей с Тасей — Батраки в гости приглашают врача, угощают... А когда Тася отказалась делать уколы Шишке, который жил на ее участке, и Римма Сергеевна поручила это Лене, та и все надулась — с чего бы это ей работать за других. Не обязана. Прочие же Тасины заботы старшей сестры — поездки за лекарствами, инструментами и всякие хозяйственные дела — Лена вообще не считала серьезным занятием. Подумаешь, прокатиться в город с мужем на машине, а часто и директор легковушку дает! Ей бы такое!

Но сегодня Тася не осудила Лену за то, что та не выполнила назначения. Может, не из-за лени это, а от ненависти к полицаям, от протеста, такого понятного?

Бурмистрова не скрывала возмущения:

— Министр издает приказы. Вся медицина брошена на борьбу с заболеваниями сердца, а вы не делаете уколы старому человеку, сердечнику. — Упрекнула и ее, Тасю: — А ты, фельдшер, чего смотрела? Опытный же работник! Лена ваша лентяйка, значит, иди сама сделай. Ох, давно я не гоняла вас!

Тася вспыхнула, и Римма Сергеевна встала на защиту ее:

— Тут, Евдокия Мионовна, трудный случай. Конечно, не оправдывает нас, но...

Тася не могла дальше слушать. Вышла в другую комнату. Ее не оставляло чувство, что это она, а не Лена подвела врача. Первая отказалась идти к Шишке. И сейчас, отправляясь на процедуры, решила: «Черт с ним, с гадом этим! Пойду сделаю ему инъекцию!»

Падал снег, густой, частый. Непротопанная еще дорожка вдоль хат была не скользкой. Но Тася шла с трудом. На ногах как гири пудовые, назад тянут. В голове шумит. Испугалась: не загрипповать бы. Как будто грипп — самое страшное.

В сумке позванивали банки. Нужно поставить Серпиковой Вере и вколоть биомидин внучке Даниленко. Она всегда начинала с детей. Но теперь прошла мимо Ольгиного дома. Хотелось быстрее выполнить самое тяжкое. За двадцать лет работы так трудно никогда не было.

Старалась не думать про Шишку. Думала о других людях. С нежностью — о Бурмистровой. Добрая она, хоть и строгая. Нужно будет в обед расспросить, как все же они сблизилась с Риммой. Слово дочь она ей. И вдруг вспомнила давний рассказ Евдокии Мионовны. Была она медсестрой во фронтовом госпитале. Полковнику, начальнику политотдела армии, с тяжелым крупозным воспалением легких была предписана врачом глюкоза внутривенно и строфантин. Врач написал: строфантинум 5-6 к. Имел в виду — 5-6 капель, в то время строфантин был во фла-

конах, не в ампулах, как теперь. Дуся расшифровала почему-то: 5-6 кубиков. Полковник скончался, не успела она еще выйти из палаты. Врача тут же послали на передовую, а ее санитаркой в штрафную роту. «Вот так, милые мои, думать нужно над каждой буквой, — внушала им тогда Евдокия Мироновна. — Счастье, что штрафники полюбили меня, раненую вынесли. Кровью смыла я свою вину. А потом воевала так, что видите...» — и погладила орденскую колодку на груди. Тасю это тронуло.

Вспомнив ту давнюю историю, остановилась посреди улицы, прикованная неожиданной страшной мыслью: «А если я ошибусь? Могу я ошибиться? Могу...» И почувствовала, что ноги одеревенели, тело обмякло. Голова кружится. «Боже, о чем я думаю? Надо вернуться и сказать Римме, что заболела. Как не вовремя. К свадьбе Валю нужно готовить, а я — грипповать».

Но через минуту успокоилась: в сумке у нее только одна ампула строфантина, она поможет больному сердцу.

Когда взялась за скобу калитки, снова почувствовала, как ударило в пот, подошвы ботинок прилипали к свежему снегу, как к расплавленному битуму. Но Тася уговаривала себя: «Ничего, это от гриппа, от него такая слабость».

Быстро, словно опасаясь, что болезнь свалит ее с ног тут же, на улице, отворила калитку, новую, до приезда Шишки ее не было, вход во двор загоразивали жердочки. У низкой двери даже ей, невысокой, пришлось наклониться. Без стука проникла в хату и застала хозяев врасплох.

Шишка, дородный, плечистый, в ватнике и валенках, сидел у печи на круглом чурбаке, щепал тонкую смолнистую лучину. Тася в полумраке чуть не споткнулась о него, не поздоровалась.

Шишка, охряхтя, отложил топор, поднялся и прижал руку к сердцу.

— Только нагнулся, и закололо уже, — пожаловался: — Истощила в печали жизнь моя...

Да, на больного он не похож. Это подтверждала и постель. На ней возвышалась неизмятая гора подушек. Другого места в этой маленькой хатенке, кроме кровати, для подушек не было. Анна, уходя утром на работу, сложила их, взбила. Так они и лежали нетронутыми. Значит, не было нужды у Шишки прилечь.

Хозяйку Тася сразу и не заметила. Только подойдя к столу, чтобы положить сумку, увидела Марину и ужаснулась. В самом углу под образами сидела сгорбленная беззубая старушка в белой свитке из домотканого сукна, как носили когда-то. Такую Тася помнила только на тетке Федоре, та надевала ее, когда ходила в церковь — осенью, в годовщину смерти матери, золовки, племянницы — помянуть убиенных, а с ними и брата, и всех не

вернувшихся с войны. Валя отвезла эту давнюю-предавнюю свитку в город, отдала в музей. Была Марина в черном платке, из-под которого выбивались седые пряди, совсем белые. И широко раскрытые удивленные глаза тоже показались белыми. Сухие руки ее лежали на скатерти, она беспомощно шевелила худыми скрюченными пальцами, словно хотела сжать их в кулак и не могла. Тася долго не видела ее, поражена была, что Марина так изменилась. «Несладко, видать, ей с этим выродком».

А та смотрела на Тасю, и в глазах ее был страх. От Тасиного неожиданного появления? Или от беседы, которую вели до ее прихода? Может, боялась, что услышала разговор их? Чтобы прервать тягостное молчание, Тася сказала, обращаясь к Марине:

— Снег славный какой идет.

Старая встрепенулась, обрадованная этими простыми словами, которые и не значили, в общем-то, ничего, но для нее, наверное, обрели какой-то потаенный смысл. Поддержала охотно разговор:

— Люди говорят, добрая примета, когда на Миколу снег, к урожаю его.

— Урожай теперь от химии.

— Без бога никакая химия не поможет, — отозвался Шишка, хряхтя и стелая; за спиной у Таси он расстегивал ватник, закатывал рукав у сорочки.

Но Тася затылком чувствовала, что следит за каждым ее движением: как ломает ампулы с глюкозой, со строфантином, как набирает в шприц. Ее передернуло от этого подглядывания, и она сказала сухо:

— Включите электричество.

Через крошечное слепое оконце с трудом пробивался в хату сероватый зимний свет.

Шишка даже вздохнул с облегчением, когда вспыхнула лампочка под низким осевшим потолком. И совсем уже спокойно завалился на гору дочкиных подушек. Перевязывая ему жгутом руку, чтобы найти вену, Тася удивилась, какие крепкие у него мускулы, какая гладкая молодая кожа, редко у людей его возраста видела такие руки. И ей до боли стало жалко Марину — вот кто действительно отстрадал.

Когда повернулась к столу, чтобы взять шприц, Марина, поднявшись, вдруг сказала тихо, но отчетливо, безразлично, казалось:

— Не коли ты его, детка. Здоровый он, как бугай. Это он Федю! Он! Всю ночь ковырялся... А под утро...

Последние ее слова заглушил дикий вопль, все смешалось в нем: и стон, и вой, и грязная ругань. Шишка вскочил с кровати, метнулся к Марине. Но Тася вмиг преградила ему путь, толкнула изо всех сил в грудь. Он отлетел, зацепился за полковик и грохнулся, упал затылком прямо на обух топора, воткнутого в чурбак. Какую-то минуту,

пока Тася стояла, оцепенев, рука его царапала пол, наверное, искала топор...

Вернувшись домой, Тася ничего не сказала дочери, только попросила сходить в мастерскую, позвать отца.

Оставшись одна, решила прежде всего собрать белье, чтобы все было готово. Открыла шкаф, посмотрела на платья свои, на шубу и заплакала. Рассердившись на себя, ничего не стала собирать... Потом передадут, если нужно. Только надела темно-синий костюм, в котором обычно ходила на сессии сельсовета, включила телевизор и села перед ним, будто гостя в своем доме. Показывали какой-то фильм, но вникнуть в его смысл она не могла. За окном густел снег. Это был снег жизни — будущего урожая. Да, это была жизнь, и она ощутила ее с новой, пожалуй, неизвестной до этого силой. Думала про урожай, про детей. Хорошо, что никакого гриппа у нее нет.

Все, что произошло, было так неожиданно. Римма закричала, когда она прибежала потом в медпункт, рассказала ей: «Ты должна была оказать помощь ему! Обязана!» Да, должна была. Но не смогла. Не сделала. И готова нести ответ за это. Почему такая белая стала Римма? Будто это она виновата в чем-то. Помчалась сразу же туда, к ним. Но поздно. Отказало у него сердце не от ушиба, от страха, конечно, от тех слов Марининых. А старая успела шепнуть ей: «Молчи, детка, ни слова никому, что ты толкнула. И я ни слова никому!» Нет! Нет! Она, Тася, не может так, не утаит ничего. Не позволит себе.

Думалось о разном, обо всем сразу. То и дело возвращалась к мысли о неотвратимости того, что случилось. Где-то мелькало даже: значит, судьба.

Это она покарала его. А Тася, она должна была взять на себя Иванову боль, принять ее. Теперь к нему придет другая боль — за нее. Но от этой боли ей не будет так тяжело, не будет страха за него, за Корнея, за Валью.

Одного Тася нетерпеливо ждала, чтобы пришел Иван поскорее. Напрасно так спокойно сказала Вале, эта коза поскачет, чего доброго, мимо конторы, встретит своего Сашу и забудет про все на свете. А ей хотелось, чтобы детей не было дома, когда... Чтобы один Иван.

Астапович позвонил Ивану раньше, чем за ним пришла дочь.

— Беги домой, жена твоя, брат, натворила... — но что, не сказал. — Беги скорее. Чтобы с собой не учинила чего. Всем селом придем на суд, объясним там... Передай ей.

Звонок Риммы Сергеевны ошеломил Астаповича. Не сразу он нашел в себе силы, чтобы позвонить Батраку.

Иван бежал через огороды — как только не разорвалось сердце. Вскочил в дом, увидел жену перед телевизором и остановился в дверях. Разыграли его? Но сам же Астапович звонил! Разве станет так шутить?

Тася поднялась, пошла ему навстречу, улыбнулась грустно, виновато как-то.

— Что такой испуганный, Ваня? А я... Война, она вернулась было к нам. К тебе. К детям... А я... я окончила ее, войну.

Погладила его по голове, сказала просто, житейски:

— Забавскому передай, чтобы Валечку не обижал. Он хороший. Добрый. Пускай женятся поскорее.

И тут он догадался о том, что могло произойти, обнял ее; прижал к себе, словно хотел защитить ото всех бед.

ВЕХИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

(О творчестве Ивана Шамякина)

Роман «Возьму твою боль» занимает, пожалуй, особое место в творчестве народного писателя Белоруссии Ивана Шамякина. Произведение это открывает читателю мир сегодняшнего белорусского села со всеми его житейскими, экономическими, а главное, нравственно-этическими проблемами, со всеми теми изменениями, которые внесло наше быстротекущее время в уклад современной сельской жизни.

Роман «Возьму твою боль» как бы продолжает известную книгу И. Шамякина «Тревожное счастье», в которую вошли пять повестей, продолжает и по самому охвату событий, масштабности их — военное и мирное время, — и по конкретной теме — тревожное счастье людей, трудные судьбы семьи.

Остродраматический сюжет романа развивается в двух направлениях. С одной стороны, действие происходит в нынешнем совхозе «Добранский», где вводится в строй крупный животноводческий комплекс, автоматическая система управления, возводятся новые просторные дома, люди живут зажиточно и счастливо. С другой стороны, мы видим ту же самую деревню военных лет, сожженную фашистами, холодное и голодное сиротское детство, гибель близких, — все то, что навечно вошло, впечаталось в сознание и определило нравственный склад людей — героев книги и прежде всего её главного героя, знатного комбайнера Ивана Батрака.

В устоявшуюся, счастливую жизнь признанного односельчанами умелого работника, кристально-честного, уважаемого человека, любимого и любящего мужа и отца внезапно и страшно, как обвал, врывается далекое эхо войны: в село возвращается после долгого отсутствия бывший полицейский Рыгор Шишка, тот самый, который принимал непосредственное участие в злодейском уничтожении матери и пятилетней сестренки Ивана — Анечки. Позже погиб и выслеженный полицией отец его — партизан Корней Батрак.

Иван узнает о приезде полицейского на собрании механизаторов совхоза.

« — Слышал новость? Шишка вернулся.

Занятый своими мыслями, стараясь не пропустить, что говорит

Астапович, Иван не сразу сообразил, о чем речь. Но через секунду будто обухом по голове оглушили.

— Какой Шишка?

— Тот самый. Тише ты... Считай, тридцать пять лет отмагандил. Живучий гад.

Ударила кровь в затылок, в виски, в лицо. Зазвенело в ушах. Качнулись и поплыли куда-то вдаль все, кто сидел за столом в президиуме».

Потрясенный, Иван теряет покой, его неотступно преследуют воспоминания детства, той давней трагической ночи. Отсюда и начинается весь круговорот событий.

Все теперь нарушено для Ивана — жизнь, счастье, работа. Все замкнулось на одном мучительном ощущении: как жить рядом с этим человеком, как заставить замолчать память? Ничто не радует Ивана, словно оборвалось что-то в его душе.

«Самое страшное, что жизнь, которой он только что жил, вдруг, как бы отошла, отлетела, стала маревом, нереальностью. Это было жутко! Тася, Валя, Корней, Астапович, его дом, друзья — разве это все лишь приснилось, привиделось? И ему нужно еще заново вернуться к ним сейчас оттуда — из войны, горя, небытия, сиротства?»

Нравственным испытанием, которым проверяются люди в романе, становится отношение к Шишке. Зоркий глаз писателя отмечает такие черты характера своих современников, как внутренняя бескомпромиссность, душевная щедрость, готовность взять на себя боль другого человека.

Горькие страницы этой ожившей памяти, пожалуй, самые сильные в романе, потому что боль Ивана — это и боль народа, прочно хранящего память о минувшей войне.

Иван рассказывает своей жене Тасе:

«Ты знаешь, я не помню, страшно ли было. Может, оттого, что потом немало страшного видел, тот страх не сохранился в памяти. Одно только и теперь в глазах: яркие-яркие, как молнии, вспышки, автомат бил у самого лица, вот так, у глаз. Я смотрел вверх. Молнии ослепили, оглушил грохот — он водил автоматом, бил во все стороны, пули крошили кирпич. Мне казалось, что обвалилась печь. На спину больно сыпался щебень, потому я, видимо, и пригнулся. Доносились откуда-то далекие выстрелы, будто с улицы. А потом стало тихо-тихо, ни голосов, ни скрипа сапог. И тогда я услышал Анькин голос... Даже у них не сразу поднялась рука на ребенка. Анечка не плакала, она просила. Какой это был голос, Тася! Она просила: «Дядечка, не стреляй, мне больно будет». Не смотри, не смотри так, Тася... Я помолчу».

Вокруг Ивана Батрака живут добрые, чуткие люди. Они стараются помочь ему, вывести из тяжкого душевного состояния, вернуть к прежней жизни.

Таков и директор совхоза Астапович — рачительный, дальновидный руководитель хозяйства и чуткий, душевный человек. Не случайно по всем хозяйственным вопросам люди обращаются к главному агроному, а по личным — только к нему, Астаповичу. К слову, и самому Астаповичу ежедневные доверительные беседы с людьми давали много. Он получал самую полную информацию не только о настроении людей, но

и о делах во всех семи селах и поселках совхоза, видел свою работу словно со стороны, учился мудрости человеческой.

Под стать Астаповичу и парторг совхоза Забавский, бывший журналист, полюбивший дочь Батрака Валю. Он буквально потрясен выступлением Ивана на партийном собрании, когда тот поделился с товарищами своими душевными муками. Забавский становится опорой Батраку.

Большая удача автора — образ комбайнера Щербы, друга детских лет, балагура, весельчака, верного, надежного друга. Он-то и стал последней жертвой Шишки, уже в наши дни. Желая избавиться от Батрака — прямого свидетеля его военных преступлений, Шишка подстраивает аварию, в которой по воле случая вместо Ивана гибнет Щерба.

Один из самых прекрасных образов романа — жена Батрака, Таисия Михайловна, Тася, прожившая с ним долгие счастливые годы.

Автор тонко, психологически точно и достоверно пишет о любви двух уже не очень молодых людей, любви глубокой, самоотверженной, пронесенной через всю жизнь. Именно эта любовь и рождает у Таси неотступное желание помочь мужу, разделить его страдания, принять на себя хоть часть его боли. Неожиданно для самой себя и для всех, она оказывается в какой-то мере причастной к смерти Шишки и тем самым как бы избавляет мужа от не покидающей его страшной памяти.

Роман Ивана Шамякина «Возьму твою боль» — глубокий, достоверный, приковывающий к себе публицистической страстностью, тревожностью, создающий яркую картину сегодняшней трудовой белорусской деревни. Он заставляет читателя еще и еще раз задуматься над уроками войны, над острейшими проблемами современной жизни.

Любопытно, что на читательской конференции по роману, которая проходила в колхозе имени В. И. Ленина на Гомельщине, один из механизаторов потребовал, чтобы Иван Шамякин как Председатель Верховного Совета Белоруссии взял под защиту Таисию Михайловну Батрак, не допустил, чтобы из-за бывшего полиция судили такую мужественную и добрую женщину. Зал поддержал его слова дружными аплодисментами.

В творчестве Шамякина меня всегда восхищало и восхищает тесное единство историко-революционной темы и темы остросовременной. Так, видно, и должно быть, ибо без истории нет современности, а современность не существует без заглядывания в завтрашний день. И все же это удивительное сочетание.

Я вспоминаю книги Ивана Шамякина — от «Неповторимой весны» и «Сердца на ладони» до «Атлантов и кариатид» и последних небольших повестей. Все герои его книг удивительно обыденные, простые, прочно стоящие на земле люди, все со своими плюсами и минусами, похожие на каждого из нас.

Невольно думаешь: как же с такими вот земными шамякинскими героями связать огромную популярность его книг, давно перешагнувшую не только границы Белоруссии, но и границы всей нашей многонациональной страны.

Конечно, не все равноценно в творчестве писателя, и даже в последнем романе «Возьму твою боль», но автор неизменно на передовых рубежах нашей литературы, в числе самых известных писателей страны.

Думается, секретов здесь не так уж много. Талант художника, конечно, главное.

Но не менее важно, что в каждом произведении И. Шамякина, будь то короткий рассказ или большой роман, будь то вещь современная или историческая, есть приметы нашего, нынешнего времени, есть постановка проблем, которые волнуют нас сегодня.

И в «Криницах», и в «Снежных зимах», и в «Тревожном счастье», и в «Глубоком течении», и в «Торговке и поэте», и в давнем «Добром часе», и в одном из самых первых рассказов — «В снежной пустыне» ощущаешь биение пульса нашего времени. Я очень люблю этот первый его рассказ, поскольку именно им, по-моему, автор сделал заявку на большого писателя.

И еще мне хочется здесь вспомнить «Сердце на ладони». Потому что именно этим романом Иван Петрович Шамякин вышел к всесоюзному читателю.

Тут есть о чем поразмыслить.

Не буду называть других белорусских писателей, поскольку они все на памяти, но беру на себя смелость сказать, что Иван Шамякин был одним из первых, с кого началось движение современной белорусской прозы в мир.

Я уже говорил о чувстве времени в творчестве Ивана Шамякина. Важно и другое. Оставаясь глубоко национальным, белорусским писателем, Иван Шамякин затрагивает в своих произведениях общечеловеческие, глобальные, как принято говорить, проблемы — жизни и смерти, ненависти и любви, верности, долга, чести.

В небольшой повести «Месть» нарисованы волнующие образы майора Романенко и его жены Галины, отражены сложнейшие жизненные перипетии. В моей памяти до сих пор звучат слова Романенко: «Для меня дети есть дети, хотя они и дети палача».

Шамякин по рождению селянин и хорошо знает деревенскую жизнь. В его книгах всегда есть образы баб и мужиков, стариков и детей, наконец, сельских интеллигентов. Его творчество отмечено точнейшими приметами и деталями и потому всегда сильно действует на воображение, притягивает к себе и завораживает.

К слову, и пейзаж в книгах Шамякина неповторимо прекрасен. Это и белорусские леса, и равнинные поля, и болота, и южное Полесье.

Талантливо пишет Шамякин и о современном городе. И если уж оперировать понятием «городская повесть», то можно сказать, что Иван Шамякин был одним из первых советских писателей, внесших свой достойный вклад в такого рода литературу.

Ивана Петровича Шамякина я знаю очень давно, более половины его жизни. Много дорого мне в его судьбе. С 1940 года он в Красной Армии, командир орудия, комсорг дивизиона, участник обороны Мурманска, Петрозаводска, затем — Польша и Германия. А после войны — не только активный литературный труд, но и огромная общественная деятельность. И так по сей день.

Что ж, это счастье, когда литератор так тесно связан с жизнью: в этом смысле труда каждого настоящего писателя.

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1981 ГОДА
В «РОМАН-ГАЗЕТЕ»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

- № 1. А. ИВАНОВ. «Вражда». Повесть.
- № 2. А. ПЛЕТНЕВ. «Шахта». Роман.
- № 3. Сибирские дали. Сб. повестей. [К. ЛАГУНОВ «Самотлер», В. ПОВОЛЯЕВ «Трасса», Б. ФАИН «Вахтовый поселок»].
- № 4. И. СТАДНЮК. «Война». Роман. Книга 3-я.
- № 5. А. АДАМОВИЧ. «Каратели». Повесть.
- № 6. В. СТЕПАНОВ. «Серп Земли». Повесть в новеллах.
- № 7. Н. ДУБОВ. «Родные и близкие». Повесть.
- № 8. Ю. БОНДАРЕВ. «Выбор». Роман.
- № 9. А. ЛИХАНОВ. «Благие намерения». «Голгофа». Повести.
- № 10. И. РАКША. «Весь белый свет». «Утрата». «Хозяин». Повести.
- № 11. В. КАРПОВ. Повести. [«Не мечом единым». «Портрет лейтенанта». «Двое в песках»].
- №№ 12—13. С. БАБАЕВСКИЙ. «Приволье». Роман.
- № 14. Д. ЖУКОВ. «Владимир Иванович». Повесть.
- №№ 15—16. О. ГОНЧАР. «Твоя заря». Роман. С украинского.
- № 17. Х. ГУЛЯМ. «Бессмертие». Роман. С узбекского.
- № 18. И. ШАМЯКИН. «Возьму твою боль». Роман. С белорусского.

**ОТ РЕДАКЦИИ
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»**

Напоминаем Вам, уважаемые товарищи читатели, что подписка на «Роман-газету» проводится только местными отделениями связи и агентствами «Союзпечати» в соответствии с установленным тиражом издания.

Редакция «Роман-газеты» подпиской не занимается.

Иван Петрович Шамякин

ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ

Р о м а н

Редактор **С. ГЛАДКОВА**

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Г. Володина* и *Л. Лобанова*
© Фото П. Захаренко

Сдано в набор 23.06.81. Подписано в печать 05.08.81. А08562. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 13,44 усл. печ. л. 14,28 усл. кр.-отт. 17,179 уч.-изд. л. Тираж 2 540 000 экз. (1-й завод 1—500 000 экз.). Заказ № 1982. Цена 82 к.

Адрес редакции: ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

**К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»**

С 1 января 1982 года в связи с увеличением стоимости бумаги для печати, затрат на полиграфическое исполнение, расходов на подготовку рукописей и художественно-графическое оформление цена за каждый экземпляр «Роман-газеты» устанавливается в среднем 1 руб. 10 коп.

Общая сумма годовой подписки — 26 руб. 40 коп.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ (заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ

